

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER KONTINENT

Оно несло одно бревно,
Куда несло — не знало, но
Их, как единое звено,



Оправдывало то
бревно.
Их было четверо в кино:
И каждый был из них
бревно,
А в совокупности —
одно,
Но эпохальное бревно.

Слава Лен

Буксует воздух. Человек отбросил
на город свой прозрачный силуэт,
почти достигнув выдуманной тверди.
Теперь оттуда вид-
но — смерти нет.
Чего ж ты все по-
прежнему о смерти?
Ведь словно стрел-
ки на часах совпали
все вертикали и го-
ризонталы.

*Александра
Петрова*



— Да, при открытии этого
памятника мне была пре-
доставлена честь разре-
зать символическую
ленточку. Там же, обра-
щаясь к присутствующим,
я сказал, что это только
начало, необходимо сде-
лать следующий шаг. Не-
совместимо на одной и той
же площади оставлять два
памятника — палачу и
жертвам... Но вот что по-



разительно, хотя у нас в
печати появилась свобо-
да слова — газеты никак
не отметили этого моего
выступления. Оно оста-
лось словно незамечен-
ным... Думаю, нужно
поторопиться, чтобы уб-
рать повсюду обломки
марксистско-ленинского
мусора, все то, что еще
символизирует идеи зла.

Олег Волков

— При чем тут это? Есть документы. В них
сказано, я читал: отец освобожден из ла-
герь в сорок девятом, а вы вышли замуж
за Заруденского ле-
том сорок пятого.
Отец еще сидел и,
конечно, жениться
не с руки ему было...
А вы говорили всегда,
что расписались с
Заруденским только
в ответ на женитьбу
отца.



Александр Поляков

Переоценить то, что сделано «Новым
миром» Твардовского, трудно. Недо-
оценить эмигрантскую линию рус-
ской творческой
мысли — тоже. Но
в тени не должна
оставаться вся
широта спектра
общих прогрес-
сивных усилий
русской (и не
только, кстати!)
интеллигенции.

Владимир Огнев



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев
Николас Бетелл • Александр Блок • Иосиф Бродский
Владимир Буковский • Армандо Вальядарес
Игорь Виноградов • Галина Вишневская
Георгий Владимов • Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский • Пауль Гома
Милован Джилас • Пьер Дэкс • Эжен Ионеско
Фазиль Искандер • Оливье Клеман
Роберт Конквест • Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов • Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный • Амос Оз • Булат Окуджава
Ярослав Пеленский • Норман Подгорец • Андрей Седых
Виктор Спарре • Витторио Страда • Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём • Юлиу Эдлис

Корреспонденты «Континента»

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti
via C.Hajech 10
20129 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward D.Losansky
3001 Veazey Terrace, N.W.
Washington, D.C. 20008 USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку
по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «Континент» © В.Е.Максимова



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

69

Париж — Москва
1991

КОНТИНЕНТ CONTINENT

Revue trimestrielle

Dates de la parution:

debut du janvier, d'avril, du juillet et d'octobre

Publiee par l'Association des Amis

de la revue "Continent"

16, rue Lauriston

75116 PARIS, France

Prix 60 francs

Directeur de la publication

Vladimir Maximov

Континент © В.Е.Максимова

Содержание

Вадим Месяц — Стихи	7
Евгений Козловский — Водовозовъ & сынъ (Повесть отъезда)	13
Геннадий Молчанов — Из тетради «Советские концлагеря»	85
Анна Дубчак — Капитан Димыч	92
Александра Петрова — Стихи	137
Александр Поляков — Снег утренний, дневной, вечерний. Рассказ	142
Слава Лён ... Луна что твой генсек в параличе. Стихи	155
Георгий Пряхин — Привели к Адаму Еву. (Глава из романа)	161
КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ	
Эрик Пустынин, Петр Межурицкий, Борис Никитин, Игорь Болычев	200
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Владимир Леус — От чего предостерегает Оруэл	218
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Михаил Комар — Восточная Европа	242
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Джаб Наминов Бурхинов — Последствия калмыцкой депортации 1943—1957 гг. в наши дни	254
ИСТОКИ	
Владимир Огнев — Амнистия таланту Или до и после «Нового мира»	263
ИСКУССТВО	
Михаил Заборов — Мона Лиза и монолица (Об искусстве Олега Целкова)	314

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Дмитрий Пригов — Нельзя не впасть в ересь	320
---	-----

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Солженицын сегодня	326
-------------------------------------	-----

НАША ПОЧТА	330
-----------------------------	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Л.Я.Зиман — «Сжить себя в людской беде» . .	338
--	-----

Елена Степанян — «Этого домика нет...» . .	344
---	-----

КОРОТКО О КНИГАХ	351
-----------------------------------	-----

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ

Майя Кучерская — Новое платье литературы	358
---	-----

НАША АНКЕТА

«Карфаген должен быть разрушен». Беседа с
писателем **Олегом Волковым**.

<i>Ведет журналист Виталий Амурский</i>	366
---	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Василий Бетаки — «Я не струсил, д'Артаньян!»	374
--	-----

АНГЛИЙСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

По пристанищам длинным гурьбой сдвигая кули —
На холопых горбах синева мукомольного дыма.
И в разбитое русло прохладно идут корабли
На российский порог, исполинского берега мимо.

В померанцевом сумраке мягких ночных колымаг,
Где углы истекают глухою ореховой смолкой,
На точеном стекле уместается весь зодиак,
Навсегда замороженный вашей державною челкой.

Вы слабы и роскошны, как зимний в дурмане цветник,
Только властное сердце приучено к мерному стуку —
И трепещет во сне изувера хмельного кадык,
И германец не смеет разинуть щербатую скуку.

Так и должно вершить тишиной повороты ключей,
Если глушь постоянства раскинута далью рябою.
И по черному голубю грубо равнять лошадей,
Наезжая в спокойную стужу кулачного боя.

Так и должно хранить безучастного Севера рост,
Если призрак державы в нас горькой отчизною брошен.
И не ведать упрека на зыбком распутии звезд,
Где молитвенный путь, как и каменный дом, невозможен.

И опричную кровью летящих на твой камелек,
Вечной памятью каждой отчаянно райской дороги,
Мне мерещится верность ласкающих рыжий чулок
И самой Катарини больные солдатские ноги.



Что на море тихо и в памяти нету былого,
Беглянка шептала и город названия Таллинн,
Как мальчик на ялике был старомодно печален,
Дразня огоньками излучину мира иного.

И мы проходили большие послушные воды,
Навек расставаясь с привычною болью земною,
И где-то под звездами легкие птиц перелеты
Мне часто казались затейливой шуткою злою.

Но я был владелец изысканно скрученной розы,
И, словно взирая ребенка дикарского юга,
В животном ее аромате толпились матросы
И, чисто дыша, тяжело согревали друг друга.

А утром мелькали червленые туфли по сходням,
И медные стрелы горели на выбритых скулах,
И сто фотографий заморских красоток в исподнем
Ломились губами в моих крокодильих баулах.

А вы все шептали и кутались в нежную гриву —
Я знала, что счастье теперь никогда не вернется,
Запомнила только, что музыка — это красиво,
А хлеб из печи на холеных ладонях не жжется.



Чердачною мышью к ночи
Забейся в сухой золе.
Душа моя, Свят Сыночек,
Любила в другой земле.

Как прежде, мне сердце сводит,
Глядит в меня ясный страх.
Великие гости входят
В дома из кедровых плах.

Великие дни встречая,
Ворота скользят в дыму.
И свадьбы как волчьи стаи
Беззвучно летят во тьму.

Где, мыкая злую долю
В мерцанье людского дна,
На радость пустому полю
Кренится к земле луна.

* * *

Чумное городище ранних зал.
Гора шинелей, сваленная в детской.
Пылает грог. И холодом мертвецкой
Сквозит высокий утренний кристалл.

Все целованье жемчуга со лба.
Все те же игры в куколки да прятки.
Как на цепи, по кругу, без оглядки
Широкая гусарская ходьба.

Крупленный сахар. Чистая зола.
Волшебных рук далекие посулы.
Смирение свело сухие скулы.
И легкий бархат сняли со стола.

Приносили в горницу дары:
Туеса березовой коры,
Молоко, тяжелое, как камень.
Я смотрел на ясное крыло,
Говорил — становится светло,
Голову поддерживал руками.

Мама в белой шали кружевной
Пела и склонялась надо мной.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ II

Толкая холод, бьется монгольфьер.
Смотри, — какая тщательная мука.
Смотри и ты, влюбленный до испуга,
Мой мальчик, вожденный офицер.

И этот сладко выпрямленный рот
В рыдающем изяществе отваги
И золотой эфес короткой шпаги —
В ней сам Господь о Корсике поет.

О Корсике, где в горестной пыли
Живая белозубая свобода
Еще ласкает бедра скорохода
И не дыша считает корабли:

Как рано в наших детских голосах
Отечество волнами отшумело.
И только звонко-крепнущее тело
Осталось в засыпающих глазах.

И, возвращаясь снова, мчится сон
И узнавание грезится любовью,
И к нежному плебейскому надбровью
Спокойно вещей холод поднесён.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ I

Еще надеюсь, лезвием шурша,
И грежу дальним островом на карте.
Неплаканный звереныш Бонапарте,
Заморских скул сверкнувшая душа.

Ему мерзит от снега под крыльцом,
Дыханье женщин чудится помойкой.
Какая тьма в стекле за длинной койкой,
Какая глушь под войлочным чепцом!

С утра шаги просторней и опять,
Пока язык так лакомо послушен,
Злым корольком в чулане умирать,
Шептать — не верь, я жив, я равнодушен.

Я узнавал как будто впопыхах
Исходы каждой следующей битвы
И начерно сговаривал впотьмах
Сухие белозубые молитвы.

И был готов, раскаявшись до дна,
Припасть к руке в обряде поцелуя,
Восславить Бога, грянуть аллилуйя
Под плеск знамен, под вечный рокот сна.

В чистом небе легким птицам нет числа.
 Прошлогодний под ногами мнется лист.
 Знает только половецкая стрела:
 Наша жизнь — всего лишь долгий свист.

Знает только москворецкая хула,
 Что мне сердце без печали не болит.
 Улыбнешься ли — привстань из седла,
 А по Волге лед уже летит.

МЕСЯЦ Вадим Геннадиевич. Родился в 1964 году в г.Томске. По образованию физик. Кандидат физико-математических наук. Литературные публикации стихов и прозы — в журналах: «Студенческий меридиан», «Урал», сборник «Порыв. Новые имена», «Юность». В 1991 году в издательстве «Советский писатель» готовится выход книжки стихотворений.

ВОДОВОЗОВЪ & СЫНЪ

Повесть отъезда

Ангел сказал: не поднимай руки
твоей на отрока и не делай над ним
ничего; ибо теперь Я знаю, что боишься
ты Бога и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, для Меня.

Бытие, XXII, 12

Карету мне, карету!

У е з ж а е т .

А.Грибоедов

1. ВОДОВОЗОВ

Ровно в шесть я повернул ключик; заурчал, заработал мотор — увы, не тот мотор, о котором я мечтал вот уже лет десять — не паровой на угольной пыли, с полным сгоранием, не керамический, который в прошлом, кажется, году начали выпускать японцы, хотя первым придумал его, конечно, я, а обычный карбюраторный, правда, мощный и отлично отлаженный — заурчал, заработал, готовый плавно снять логово с места и медленно двинуть его рядом с капитаном Голубчик: она вот-вот должна была появиться в высоких двустворчатых дверях ОВИРа, забранных матовыми, переплетенными в своей толще проволокой стеклами. Третью неделю поджидал я капитана на этом месте, третью неделю провожал по извилистым, один переходящим в другой переулкам до перекрестка, но не дальше: там она всегда сворачивала налево, к метро, а я за нею следовать не мог: белая стрела внутри гигантского горящего голубого круга беспрекословно указывала в противоположную сторону. Оставить же логово и пойти за капитаном пеш-

ком не имело смысла: в густой вечерней московской толпе, в самом центре столицы похищение без помощи автомобиля не удалось бы ни в коем случае.

И все же каждый вечер дежурил я у inferнальных дверей, то ли надеясь, что наберусь однажды смелости и попробую взять капитана еще в переулке, битком набитом расходящимися по домам ее коллегами, то ли — что она сама обратит наконец на меня внимание, возмутится, потребует объяснений, заведет разговор, то ли — что свернет однажды направо, в разрешенную для нас с логовом сторону. Во всяком случае, терять мне было нечего, свободного времени — хоть отбавляй, а дело мое с места не трогалось, разве назад, и я не сумел выдумать другого способа себе помочь, кроме как похитить Голубчик, отвезти ее на крившинскую дачу, связать, запугать, потребовать, а если все же откажет — взять обыкновенный медицинский скальпель и аккуратно перерезать ей горло. После этого дело мое передадут, вероятно, кому-то другому и оно наконец решится. А труп закопать в клубничную грядку.

В полторы минуты седьмого капитан Голубчик вышла из учреждения, пересекла переулочек и пошла по тротуару в сторону роковой стрелы. Несколько отказников, человек пять или шесть, сопровождали капитана, и на их лицах означена была мольба: остановись на мгновение! всмотрись в наши измученные жидовские морды! выслушай нас! мы ведь люди, хоть и изменники родины, и в каждом заключен пусть плохой, пусть гниловатый, пархатый, недостойный Твоего, Капитанского, но космос! Капитан Голубчик, статная, стройная, сильная, белокурая, с высокою грудью, теснящейся под нежным коричневым бархатом югославской дубленки, шла, помахивая сумочкою, и словно распространяла вокруг себя некое силовое поле недостижимости, перемещающийся меловой круг Хомы Брута, и вся эта жидовская не-

чисть не смела переступить черту, плелась в хвосте и жалобно, заискивающе глядела вслед капитану, отставая и рассеиваясь во тьме Колпачного переулка.

Перекресток, а с ним и неизбежность очередного расставания, неумолимо приближались к нам; вот и горящий голубой круг, отмеченный боковым зрением, выплыл из-за излома шестиэтажного здания — пока еще маленький и не грозный, но обещающий в считанные секунды вырасти до подавляющих размеров — и тогда, раздраженный бессмысленными этими провожаниями, я решил — будь что будет! — *н е с м о т р е т ь* на круг, а просто повернуть навстречу густому потоку машин улицы одностороннего движения — *наши ноги... и челюсти... быстры...* Почему же, *Вожак*, дай ответ, — *мы затравленно... мчимся на выстрел... и не пробуем... через... запрет?!* — круто заложил руль налево и придавил акселератор.

Визг тормозов, лязг чьего-то — покуда не моего — столкновения, ругань, свистки обрушились на меня. Нога непроизвольно дернулась к тормозной педали, но я *н е р а з р е ш и л* ноге это движение и, не сводя с капитана Голубчик глаз, продолжал путь. Всем телом я ждал удара, но в мозгу торжествующе вертелось: *я из повиновения вышел... за флажки... жажда жизни сильней...* Капитан остановилась — остановился и я — и впервые за три недели взглянула на логово. Это уже было половиною победы. Логово обступил народ, милиция — *только сзади...* я радостно слышал... удивленные крики-и-и-и-и... людей... — чужие пальцы тянулись к дверным ручкам, грозили кулаки, мотировка мелькала над лобовым стеклом — и вдруг по мановению шуйцы Голубчик всё стихло и успокоилось. Сквозь раступающуюся толпу капитан обошла логово (двигатель дал нелогичный, необъяснимый сбой) — кто-то услужливо распахнул дверку — и оказалась на сиденье, рядом со мною — я слышал ее дыхание, бархат дубленки цепко

касался правого моего рукава. Поехали, сказала желанная пассажирка. Ты заслужил. Разворачивайся, и поехали, и я, врубив передачу, тронул с места в развороте так, что только взвизгнули правые колеса, и логово по дороге, расчищенной пробкою, стрелую понесло нас вперед, вдаль, в сторону Разгуляя.

На Садовом, у небольшого домика прошлого века, красная вывеска над полуподвальной дверцею которого гласила: *Пионерский клуб «Факел»*, я — по команде капитана — заглушил двигатель. Голубчик протянула мне руку ладошкою кверху и нежно, даже, пожалуй, застенчиво сказала: Настя. А как зовут тебя? Да вы ж знаете! — не выдержал я. Вы ж тысячу раз читали мои анкеты и характеристики, вы ж трижды принимали меня в своем кабинете! но капитан Голубчик, как бы ничего и не слыша, досконально копируя собственную интонацию и не отнимая руки, повторила: Настя. А как зовут тебя?

Волк, смиренно ответил я. Волк.

2. КРИВШИН

Волком Водовозова назвал отец, человек, чью жизнь можно было бы определить как фантастическую, если упустить из виду время, на какое она пришлась, время, наделившее не менее фантастическими биографиями добрую долю поколения Дмитрия Трофимовича. Младший совладелец известной русской самокатно-автомобильной фирмы «Водовозовъ и сынъ», инженер, учившийся в России, Германии, Бельгии, а позже прошедший стажировку на заводе Рено, боевой офицер русской армии, кавалер двух, одного из них — солдатского — Георгиев, начавший военную карьеру в июле четырнадцатого консультантом по водовозовским броневикум и окончивший ее на Дону, в армии Антона Ивановича Деникина, эмигрировавший с остатками последней, ока-

завшийся в Париже... Надо думать, именно относительная жизненная устроенность в эмиграции — у Рено помещались кой-какие капиталы водовозовской фирмы, да и инженером Дмитрий Трофимович был действительно дельным, так что работал не из милости и имел неплохие деньги — высвободила время и душевные силы на чтение Карамзина и Ключевского, на размышления о судьбах России и ее (его, Водовозова) народа и, главное, на тоску по ностальгическим березкам — роскошь, какую многие водовозовские однополчане, выбивающиеся из сил ради куска хлеба, озлобленные, позволить себе не могли. Водовозова же березки, вопреки многочисленным свидетельствам и предостережениям, привели в конце концов к дверям советского посольства — как раз разворачивалась широкая кампания за в о з в р а щ е н и е, — и сквозь дубовые эти двери замаячила родина.

Россия... Не могла она — верилось Дмитрию Трофимовичу — долго ходить под жидами, торгующими ею, не мог русский могучий дух не сбросить с себя чужеродное иго, не окрепнуть в испытаниях, не отместить прочь ленивую шваль, голытьбу, шпану, которая так нагло и бездарно хозяйничала в восемнадцатом на водовозовском заводе. Не своего завода было Дмитрию Трофимовичу жалко, то есть не было жалко именно как с в о е г о — грусть, боль и пустота отчаяния появлялись в душе от этой вот бездарности и бестолковщины — боль врожденная, возникающая рефлексивно при виде того, как люди разрушают более или менее совершенные создания мысли и рук — хотя бы даже заводную какую-нибудь куклу или бессмысленную хрустальную вазу. И гибель отца в чекистском подвале, и голодную смерть матери, и собственные мытарства — всё прощал Водовозов родине: сами, сами виноваты они были перед народом за долгую его тьму, нищету и невежество, за подспудно копящуюся злобу — и тем, может, более виноваты, что совсем недавно изо тьмы этой и нищеты выбились: всего лишь

Дмитрия Трофимовича дед, которого внук хорошо помнил, больше полужизни пробыл в крепостном состоянии и только за год до шестидесяти первого выкупился на волю; а после, когда ставил велосипедное свое д е л о, не иначе, как очень крепко народ этот прижимал — по-другому и не поставилось бы оно в столь короткий срок, вообще, может, не поставилось бы, — словом, всё прощал инженер Водовозов, всё оправдывал и, главное — верил в свою Россию, несколько даже экзальтированно верил: воспоминания о распаде армии в семнадцатом, об ужасах трех лет людовоедской гражданской войны — воспоминания эти требовали, чтобы перебить, заглушить себя, довольно значительной экзальтации — верил и ехал отдать опыт, силы, талант на укрепление могущества раскрепощенного народа, на развитие отечественной промышленности, о бешеных темпах которого писали не одни советские газеты. В Нижний — в Горький, как нелепо о н и его переназвали, но и это переназвание Водовозов готов был им простить — собирался Дмитрий Трофимович, на гигантский автозавод-новостройку и оставлял в Париже жену и шестилетнюю дочь Сюзанну, настоящую француженку, по-русски не говорящую, всю в мать.

Однако вместо Горького в первую же неделю своего возвращения Водовозов, не успевший наслушаться вдоволь русской речи на улицах, в трамваях и недавно открытом метро и едва успевший пройти по ностальгической набережной, обсаженной березками, оказался в ГПУ и, проваландавшись в тюрьме около четырех месяцев, был бессрочно сослан в одну из отдаленных деревень Сибири, в Ново-Троицкое, верстах в четырехстах на северо-восток от Красноярска, в деревню, где не то что завода — никаких даже мастерских не было, одна кузня, как у деда, да — снова — редкие березки в прогалах тайги — где жил поначалу буквально подающим, ибо работы найти себе не мог. Впрочем, в значитель-

ной мере освобожденный от парижских иллюзий, Дмитрий Трофимович, хоть и поражался нелепости, не в годности для государства такого распоряжения судьбою квалифицированного инженера, признавал, что ему еще крупно повезло, что вполне мог бы он стать к стенке или загреметь в лагерь, куда-нибудь под Магадан, где в первый же год и издохнуть от алиментарной дистрофии; повезло тем более, что со временем все так или иначе устроилось: неподалеку от Ново-Троицкого организовалась МТС, куда Водовозова и взяли сперва чернорабочим, а потом и слесарем, да еще и возникло любовное знакомство с молоденькой сиротой, дояркой Лушей, и завершилось браком, ибо сорокашестилетнему мужчине в столь тяжелой, непривычной обстановке выжить в одиночку, пожалуй, не удалось бы.

Когда началась война, Водовозов стал рваться на фронт, пусть хоть и в штрафбат и рядовым, но его не взяли, а по нехватке специалистов и просто мужчин назначили механиком и, фактически, директором МТС. Итак, защищать Россию с оружием в руках Водовозову не доверили, но любить ее наперекор всему запретить пока не смогли, и, получив казенные полдомика, переехав туда с беременной женою и, наконец, дождавшись рождения сына, Дмитрий Трофимович назвал его не в честь отца своего, скажем, или деда, а одним из древнейших русских имен, красивым и несправедливо, на взгляд Дмитрия Трофимовича, забытым, гораздо более русским и красивым, чем, например, расхожее Лев. Назвал вопреки робкому ужасу собственной жены и самой натуральной угрозе, звучавшей в голосе предсельсовета Попова, когда последний прямо-таки отказывался записать подозрительное имя в регистрационную книгу, а потом, все же записав, нажаловался уполномоченному НКВД старшему лейтенанту Хромыху, и тот вызывал Дмитрия Трофимовича и запугивал.

Подозрительное имя, кроме славянофильской отрыжки эмиграции, действительно содержало и некий эмоциональный заряд, некий смысл, посыл, который, словно досмертный талисман, хотел передать отец Волку: установку на жестокость, на жесткость, на собственные силы — словом, на выживание — и Волк это чувствовал и с самого детства категорически не желал отзываться ни на материнские, опасливо обходящие нехристианское, дьявольское имя ласковые прозвища, ни, тем более, ни на каких вовочек, волечек и володь, с которыми непрощено пыталась прийти на помощь незлая сама по себе учительница Зинаида Николаевна, прийти на помощь, ибо нетрудно представить, до чего семилетние коли и пети могут довести мальчика Волка, придравшись к тому одному, что он Волк; если даже сбросить со счетов положение е в р и к а , ф а ш и с т и к а и в р а ж о н к а н а р о д а , в котором автоматически, по рождению, оказался младший Водовозов, — положение тяжелое до того, что один из волковых одноклассников (по простому имени Василий), племянник известного некогда, позже расстрелянного сталинского наркома, так был затравлен в школе, что не оправился и до сих дней и, попав несколько лет назад за диссидентство в Лефортово, раскололся и заложил всех товарищей, а девочка Валя, двумя годами старше Волка, в пятом классе, буквально за три недели до пресловутого марта пятьдесят третьего, покончила с собою, повесилась; впрочем, может, просто т а к и е они были люди.

3. ВОДОВОЗОВ

Пока я запирал логово, Н а с т я терпеливо ждала меня, потом взяла под руку, крепко прижалась, так что сквозь свою куртку и ее дубленку почувствовал я резиновую упругость грудей, и, сведя меня на тротуар, набрала несколько кнопочек на кодовой панели замка.

Соленоид щелкнул за дверью, и, та, подпружиненная, медленно распахнулась, приглашая войти. Небольшой вестибюль: стенгазета, доска приказов, гипсовый бюст на фанерно-сатиновой тумбе, гардероб со швейцаром. Приветик, дядя Вася! Девочек еще никого нету? спросила Настя. А ты не видишь? поведя глазом по пустым вешалкам, ответил с ласково-фамильярной грубоватостью дядя Вася, герой-инвалид — грудь в медалях, деревяшка вместо ноги. А младенчика доставили? Не волнуйся, Настенька, все как в аптеке. Ну-ка показывай, показывай, кого привезла сегодня! и уставился на меня.

Настя расстегнула кнопочки на моей куртке, потянула молнию — тут только я разобрался в странности обыденной на первый взгляд обстановки: *Шабаш!* Название стенгазеты — с профилем, как положено, с положенною же цитатою — было *Шабаш*. И еще: рядом с санбюллетенем *Профилактика венерических заболеваний*, на котором разные бледные спирохеты под микроскопом и все прочее, висела доска почета — тоже на первый взгляд самая обычная: *Мы придем к победе коммунистического труда* или что-то в подобном духе, но большие цветные фото представляли исключительно женщин и выглядели куда непристойнее, чем снимки разных герлз на японских и шведских календарях: туалеты всех этих дам, номенклатурных, начальствующих, о чем свидетельствовали, кроме выражения лиц, депутатские значки, красные муаровые ленты через плечо, ромбики, многочисленные колодки правительственных наград, — туалеты были изъянны, незавершены, расстегнуты, распахнуты, оголяя, где совсем, где кусочком, срамные места. Капитанский китель Насти, например, надет был на фотографии внакидку прямо на тело, муаровая лента поздравляльщицы из ЗАГСа шла между обнаженными обвислыми грудями, к одной из которых, прямо к коже, пришпилена медалька за доблестный труд — и далее в том же роде. Меня аж передернуло от

пакостности, но ничего, решил я. Раз уж такая цена — придется платить не торгуясь, а в вестибюль уже прибывали дамы с фотографий, и каждая, отдав дяде Васе шубу и охорошившись у зеркала, подходила ко мне, а Настя знай представляла: Волк. Вера. Волк. Леночка. Волк. Галина Станиславна... и были среди них и молоденькие комсомолочки, и партийки в самом соку, вроде Насти Голубчик, и недурно сохранившиеся под пятьдесят, и даже одна совсем юная девочка, лет двенадцати или тринадцати, но попадались и совершенные старухи: седые, полулысые: фиалки, соратницы Ильича, персональные пенсионерки союзного значения, и, хоть и набралось последних сравнительно немного, от них прямо-таки воротило с души. Дядя Вася, а что у нас сегодня в кино? спросила уже представившаяся поздравляльщица, и дядя Вася ответил: *Молодая гвардия*. О-о-о-о-о! понеслось восторженное из укрытых покуда грудей, словно шайбу забили на стадионе, и мне стало гаже прежнего, потому что я никогда не мог переносить единодушия больших масс людей, пусть даже таких относительно больших, как скапливалась в вестибюльчике.

Впрочем, все, наверное, были уже в сборе, потому что дядя Вася выполз из-за гардеробной стойки и, стуча копытом, распахнул широкие двери, и кинозал — в подушках, сшитых в огромные прямоугольники и разрозненных, в коврах, в диванчиках, в софах, в тахтах, в широких креслах, уставленный подносами с питьем и закусью, мягко освещенный — принял нас в свое чрево. Недолго думая, я прилег на подушки и стал посасывать ломтик салами с ближайшего подноса, а свет принялся лениво гаснуть, и экран замерцал титрами той самой картины, которую я не раз видел в Ново-Троицком, в детстве, с отцом еще и с мамою, и в юности, в Горьком — и дамы зашевелились, зашуршали одежками, и чьи-то жирные пальцы потянулись ко мне, лаская, расстегивая пуговицы, молнии, — я держался изо всех

сил, понимая, что вынужден быть послушным, — держался, стараясь сосредоточить внимание на экране: там все шло, как и должно идти, и на меня даже накатила некая ностальгическая волна, но тут неожиданная панорама с серьезных лиц клянувшихся молодогвардейцев открыла голые их — ниже пояса — тела, блудящие, похотливые руки — все это под торжественные звуки торжественных слов — а потом и губы, произносящие слова, оказались в кадре, но уже опустившись в него сами, и тянулись к волосающимся пахам, и пропускали между собою язычки, и те, жадные, начинали облизывать, обрабатывать набрякшие гениталии того и другого пола, и клятва, уже и прежде понемногу терявшая стройность, пошла вразброд, вовсе сошла на нет, сменилась тяжелым, прерывистым, эротическим дыханием... Я много пересмотрел в свое время французских порнографических ленточек и слишком хорошо знал, что действуют они только первые минут десять, а потом однообразие происходящего начинает навевать необоримую скуку, но тут и первые десять минут на меня не действовали — разве обратным порядком, — и я с тоскою подумал, что не сумею, пожалуй, расплатиться за право выезда, окажусь некредитоспособным, а глаза, привыкшие к полутьме, разглядывали в мелькающих отсветах экрана старинный, за кованой решеткою, погасший камин в углу; бюстики основоположников, по семь каждого, один меньше другого, словно слоники, на мраморной его полке; ужасного вида щипцы и, наконец, метлы, целую рощу метел, прислоненных к каминному зеву: ручки никелированные, с разными лампочками и кнопками; попутно глаза замечали и дам, которые, потягивая датское вино и фанту, посасывая сервелат, разоблачались в разных углах, переползали, перекатывались по полу, так что образовывали текущие, меняющиеся группки, перешептывались о какой-то ерунде, чу-

ши: Мария, где трусики-то такие брала? А, Мария? В пятьдесят четвертом. В каком-в каком? В пятьдесят четвертом...

4. КРИВШИН

В пятьдесят четвертом ссылка отменилась, и Дмитрий Трофимович, как ни уговаривали его остаться в МТС (что, может, и было бы в каком-то смысле правильно для него и хорошо) забрал с собою сына, не забрал — до времени, пока устроится — жену и переехал в Горький, где наконец, с опозданием на добрые пятнадцать лет, и поступил на ГАЗ, в техбюро, на девятьсот пятьдесят рублей оклада. Жилья раньше, чем через три-четыре года не обещали — пришлось куда снимать комнату в одном из деревянных окраинных переулков, в полдome, что принадлежал речнику-капитану, второй год умирающему от рака легких, и жене его, Зое Степановне, пятидесятилетней женщине, курящей папиросы *Беломорканал* и выпивающей, некогда, надо полагать, весьма красивой. Другие полдома занимали е в р е и, мать с сыном, Фанечка и Аб'гамчик, как, с утрированным акцентом и, возможно, вопреки истине, звала их Зоя Степановна. О Фанечке и Аб'гамчике, то есть об их национальных особенностях, на русской половине время от времени происходили не вполне понятные Волку разговоры, в результате которых соседи в его представлении окутались некой таинственной дымкою, и, когда Волк видел их в саду, отделенном от сада Зои Степановны негустым, невысоким, однако глухим, без прохода, без калиточки, забором, любопытство хорошенько разглядеть их боролось в Волке с почти на грани суеверного ужаса стеснением. Сад у Зои Степановны был большой, росли там яблони, пара вишен, кусты юрги, малины, крыжовника, черной смородины, и много цвело цветов, но двух только, крайне парадных, громоз-

дких разновидностей: гладиолусы и георгины. Ближе к осени, когда полуживой, высохший капитан жадно впитывал нежаркое солнце и строил планы на будущее лето, «когда поправится», Зоя Степановна собирала ягоды и яблоки — Волк помогал ей с большой неохотой, по приказу отца, а из цветов составляла гигантские, уродливые, похожие на башни нижегородского кремля букеты и носила продавать на угол Кузнечной улицы. Еще в саду было несколько огородных грядок, глубокий погреб со льдом, помойная яма, компостная куча и водопровод.

Зимою, когда капитан наконец умер, Волк с абсолютной ясностью понял то, что, в общем-то, смутно чувствовал и прежде: отец никогда не выпишет мать — и дело вовсе не в Зое Степановне, вернее, как раз в Зое Степановне, но место ее могла занять любая другая зоя степановна — просто эта оказалась ближе других, как пятнадцать лет назад ближе других оказалась мать. Впрочем, Волк отнесся к этому едва ли не равнодушно, отмечая только, что Зоя Степановна вкусно готовит на электроплитке яичницу-глазунью: тонким слоем растекающийся, прорезаемый по мере приготовления белок успевал прожариться, пока желтки оставались еще совсем почти холодными.

В эмиграции — трезвенник, в Ново-Троицком, приблизительно с рождения сына, Дмитрий Трофимович начал пить и, чем дальше, тем пил больше и чернее, и речи его становились все злобней и несвязнее. Теперь ежевечерней компаньонкою стала ему Зоя Степановна — Волк забирался в такие часы в отцовский сарайчик и что-нибудь мастерил. Через пару лет отец вышел на пенсию, Зоя Степановна, доверху нагрузив высокую двухколесную тележку на велосипедном ходу своими икебанами, отправляла его на угол Кузнечной, и Волк, возвращаясь из школы, шел дальними переулками, чтобы, не дай Бог, не наткнуться на Дмитрия Трофимовича, оборванного, небритого, торгующего цветами. По-

следние месяцы перед смертью отец уже, как говорится, не просыхал, и из-под его трясущихся рук в сарайчике-мастерской выходили какие-то нелепые механизмы: механизмы-монстры, механизмы-химеры, механизмы, применения которым не нашел бы, пожалуй, и самый безумный мозг.

Умер Дмитрий Трофимович неизвестно от какой болезни: от сердца, от печени ли, от чего-нибудь еще — от всего, короче, — тем более что к бесплатной медицине относился с пренебрежением. Зоя Степановна сильно плакала, сильнее, чем по мужу, и сообщила на ГАЗ, на бывшую Дмитрия Трофимовича работу, оттуда приехало несколько профсоюзников и с готовностью и профессионализмом, изобличающими призвание к этому делу и многолетний опыт, занялись устройством похорон. Дмитрий Трофимович лежал в обитом красным сатином гробу, заваленный георгинами и гладиолусами, и Волк не сводил глаз с трупа отца, напряженно разбираясь, как сумело уместиться в одном этом человеке и то давнее — почти невероятное, сказочное, петербургское, ростовское, парижское, о котором он когда-то много рассказывал, — прошлое, и прошлое сравнительно недавнее, деревенское, в котором он, когда был трезвым, представлялся сыну самым красивым, самым могучим, добрым, умным, умелым человеком на свете, и прошлое совсем, наконец, недавнее, почти что и не прошлое: жалкое, пьяное, полубезумное, вызывающее гадливость, которой Волк теперь стыдился.

Мать подросла к самому выносу — Волк по настоянию Зои Степановны вызвал ее телеграммой, хоть не очень и представлял зачем, да и не верил, что приедет: чтобы поспеть, непременно надо было самолетом, а Волку думалось, что ни за что в жизни робкая, консервативная мать на самолет не сядет. Она оказалась тихой богомольной с т а р у ш к о ю — Волк помнил ее молодой, да и знал, что ей не так много лет и теперь: тридцать пять, не то тридцать шесть. Она огорчилась, что отца не

отпели в церкви (Зоя Степановна, партийная, набросилась на мать), и на другой после похорон день отстояла панихиду. Волк не пошел, потому что к церкви относился с брезгливостью, отчасти распространившейся и на мать. Та звала Волка с собою в Ново-Троицкое, он сказал, что не может никак, что ему на будущую осень в институт, что он все равно собирается работать и переходить в вечернюю, чтобы не потерять год из-за дурацкой хрущевской одиннадцатилетки, и что-то там еще. Мать слушала, склонив голову к плечу, покусывая кончик черной косынки, и лицо ее было скорбным и тоскливым, как четыре года назад, когда отец сообщил ей, что они с Волком уезжают, вернее, сообщил п р и н е й Волку. На вокзале Волк боялся, что мать захочет поцеловать его, как целовала при встрече: прикосновение ее маленьких морщинистых губ было ему неприятно. Мать совала Волку завязанные в платок сторублевки, он отказывался, она уговаривала, упрашивала, и он вынужденно на нее прикрикнул, как прикрикивал в свое время отец, и она сразу же сникла, спрятала деньги и поцеловать сына на прощанье не решилась. Слава Богу, подумал Волк, пронесло. Он не знал еще, что это — последняя их встреча.

На другой день Водовозов устроился на завод и переехал в общежитие и с тех пор к Зое Степановне не зашел ни разу, и только много лет спустя, на пятом уже, кажется, курсе, как-то, гуляя с девицею, забрел в те края. Тихий, заросший травой непроезжий тупичок, объединившись с соседними, превратился в асфальтированную улицу, застроенную пятиэтажными панельными корпусами, и один такой корпус стоял на том как раз месте, где прежде стоял деревянный домик, росли юрга, малина, гладиолусы, где жили Зоя Степановна и еврей Фаня с Аб'гамчиком. Отцовскую же могилу Волк навещал (не чаще, впрочем, раза в год, пару лет, кажется, и вовсе пропустив) и стоял подолгу, глядя на некогда зе-

леную, проржавевшую насквозь пирамидку заводского памятника, на приваренную к ней пятиконечную звездо-дочку да на две березки, растущие рядом.

5. ВОДОВОЗОВ

Полыхала биржа труда, Сережка Тюленин, прицепив знамя к какой-то кирпичной трубе, мочился — крупным планом — прямо на него, голая Любка Шевцова танцевала перед голыми же онанирующими немцами, недострелянные молодогвардейцы занимались в могиле — в предсмертных судорогах, мешая их с судорогами любви, — любовью, а я чувствовал, понимал, я уже з н а л т о ч н о, что окружающие меня дамы совершенно, абсолютно, стопроцентно фригидны, что раздевались они со скукою, по привычке, по чужому чьему-нибудь заведению, а возбуждения от этого испытывали не больше, чем в бане, что им еще безусловнее, чем мне, до феньки вся эта занудная идеологическая порнушка и что, если и способны они покончить, причем так покончить, что весь этот домик прошлого века, весь этот пионерский клуб *Факел* содрогнется и уйдет под асфальт Садового, оставив по себе одну струйку легкого голубоватого дыма, — то уж совсем от другого, и вот это-то категорическое несоответствие интересов присутствующих происходящему с ними — словно партсобрание идет — раздражало меня до крайности, и я снова не выдержал, вскочил, заорал: хватит! Погасите белиберду! Давайте уж к делу! Ну?! Чего вы от меня потребуете, чтобы отпустить из поганого вашего государства?! и, что интересно, экран тут же потух, и свет загорелся, и голые дамы — совершенно невыносим был вид фиалок, соратниц Ильича, с их висящими пустыми оболочками высохших грудей, с реденькими кустиками седых лобковых волос, — голые дамы уставились на меня эдакими удивленно-ироническими взглядами: ишь, мол, какой

шустрый выискался! — взглядами, подобных которым немало перевидал я за свою жизнь в разных начальственных кабинетах. Чего мы от тебя потребуем? презрительно выпела одна, молоденькая и хорошенькая комсомолочка с налитыми грудями, но и она, я знал точно, была не менее фригидна, чем остальные, вид только делала. Чего мы от тебя потребуем, того ты нам все равно дать не сможешь! и, перекатившись ко мне по ковру, тряхнула, подбросила на ладошке мои совершенно тряпичные гениталии — это дамы так издевались надо мною, хотели унизить мужское достоинство — но мне и достоинство до феньки было, особенно перед ними; я отлично знал про себя, что, когда надо, все у меня окажется в порядке, и Настя это почувствовала и ударила побольнее.

Не в том дело, товарищи, сказала она и вышла к камину, локтем белым, полным на полочку, как на трибуну, оперлась, потеснив пару основоположников, не в том дело: стоит или не стоит! А в том, что не стоит, как вы убедились, н е о б р е з а н н ы й! В то время как владелец его вот уже около года пытается уверить нас, что он еврей! Дамы тут же неодобрительно зашевелились, зашикали с пародийным акцентом: ев'гей! ев'гей! ай-ай-ай как нехо'гошо! ай-ай-ай как стыдно! аб'гамчик! ев'гей! и тут мне точно стыдно перед ними стало, потому что припомнил я стандартный текст заявления, адресованного в ОВИР: все документы пропали во время войны, а теперь меня разыскал старший брат моей матери, Шлоим бен Цви Рабинович... — текст, собственноручно написанный, собственноручно подписанный, текст отречения от мамы, от отца, от деда, прадеда, от собственной, как говорит Крившин, крови, а Настя уже ставила вопрос на голосование: ну что? будем считать гражданина необ'гезанным ев'геем? Конечно! завопили дамы, словно снова в ворота влетела шайба. Раз он сам этого захотел! Раз ему ев'геем больше нравится — пусть!

пусть! Единогласно, резюмировала Настя и начала излагать постыдную мою историю: как заказал я через знакомых в ы з о в, как стал проситься к вымышленному этому Шлоиму бен Цви, как единственного сына своего, Митеньку, решил оставить на произвол судьбы — и тут в капитановых руках оказался кружевной платочек, и у дам по платочку — откуда они их повытаскивали? из влагалищ, что ли, или из прямых кишок? — а только запахло духами, отдающими серою, и дамы завсхлипывали, засморкались, запричитали: Митенька, Митенька, маленький Митенька, бедненький Митенька, бледненький Митенька, Митя несчастненький, Митя уж-жасненький!.. — словно кому-то из них действительно было дело до маленького моего мальчика — *не на равных... играют с волками... егеря... но не дрогнет рука... обложив нам... дорогу флажками... бьют уверенно... на-вер-р-р-р-ня-ка!* Да, товарищи, продолжила Настя, на произвол жестокой судьбы! Жестокой! заголосили дамы. Ой как жестокой! Без папочки! Сироткою! В нищете! И нет, чтобы оставить младенчику денюжку на яблочки, на молочко, этот ев'гей, этот, с позволения сказать, отец-подлец выманил у бывшей своей жены — не знаю уж как — видно, пользуясь мягкостью женского нашего сердца, и капитан Голубчик помяла ладошкой левую грудь, выманил у нее бумажку об отказе от алиментов, и если бы нам не просигнализировали, а мы, в свою очередь, не проявили соответствующей случаю бдительности, бедный сиротка Митенька, тут снова пахнуло серными духами, снова возникли кружевные платочки, бедный Митенька мог бы остаться в цветущей нашей стране совсем без молочка и совсем без яблочков... и Настя буквально захлебнулась в рыданиях. Ай-ай-ай, закачали головами дамы. Ох-хо-хо! запричитали, ц-ц-ц... зацокали. Без молочка... без яблочков... И

он хочет, пусть даже и ев'гей, чтобы после этого мы его отпустили?! патетически воскликнула унывшая рыдания капитан. Он на это надеется?!

Вот е-если бы, сладко, змеею, вползла в разговор одна из фиалок, старуха, соратница Ильича, мать ее за ногу! вот если бы не-е было Ми-и-теньки — тогда другая картина, тогда катитесь, г'гажданин ев'гей на все четы'ге сто'гоны, 'гожайте там себе маленьких ев'гейчиков и не мешайте нам ст'гоить коммунизм! Как же! завопила одна из молоденьких. Родит он там кого-нибудь! У него ж вон смотрите: не стоит!.. Или уж алименты заплатите, все сполна, до совершеннолетия, четырнадцать тысяч согласно среднему заработку и двадцать четыре копейки! подкинула реплику поздравляльщица — с лентою между грудями. Да где он их возьмет, четырнадцать-то тысяч?! понеслось со всех сторон. В п о д а ч е ! Без работы! Нищий! И в долг ему никто не поверит, изменнику родины! Ев'гею необ'гезанному!..

Это они были, конечно, совершенно правы — четырнадцать тысяч, хоть себя продать, взять мне было неоткуда: я, дурак, понадеялся на альбинино слово и затеял отъездную галиматью, а Альбина, вишь, забрала свой отказ от алиментов обратно! — и тут словно открытие совершая, словно эврику крича, выскочила самая юная девочка, та, двенадцати или тринадцати лет, с едва наливающимися грудками, с едва заметным рыжим пушком внизу живота — выскочила и отбарабанила заранее заученный текст: так ведь он же, коль едет, сыночка-то своего все равно больше никогда не увидит, разве на том свете. Сыночек-то для него и так точно мертвенький! Конечно! уверенно подтвердила Настя. Точно мертвенький. Дело техники. Чистой техники, и, повысив голос, скомандовала в сторону дверей: давай, дядя Вася! клиент — готовый!

Несмотря на гаерскую атмосферу, которую вот уже с полчаса поддерживали дамы, я заметил, как все они напряглись в этот момент, поджались, задрожали внутренней дрожью, некоторые потянулись за пустыми бокалами — и тут растворились двери, и дядя Вася в белом — заправский санитар — халате вошел, копытом постукивая, в руках стерилизатор держа — небольшой такой, знаете, в каких шприцы кипятят для уколов, возьми, произнес эдак добродушно-приказательно и открыл крышку. В стерилизаторе лежал медицинский скальпель, ужасно похожий на тот, каким собирался резать я на крившинской даче капитана Голубчик, если бы мне удалось похитить ее, а она отказала бы в визе — может, даже и тот самый, извлеченный из бардачка логова, и я вдруг, припомнив давешнюю, у гардероба, наstinу фразу про м л а д е н ч и к а, уже, кажется, начал догадываться, в чем дело, какие цели маскировали дамы бардаком своим скуловыворачивающим — и действительно: в другом, рядом с камином, конце зала оказались еще одни двери, и за ними открылась, белизною и бестеневым светом сияя, операционная, и дамы, обступив, повлекли меня туда. На высоком столе, под простынкою, сладко спал мой Митенька, и шейка его вымазана была йодом, как для операции дифтерита, а дамы шептали мне в уши со всех сторон: он под наркозом, он и не почувствует, он ведь для тебя все равно как мертвенький... мертвенький... мертвенький... ты ж не торгуясь собирался платить, не торгуясь... а дядя Вася мягко, но настойчиво совал и совал в мою руку скальпель.

Не следовало, конечно, и думать на эту тему, и все же я на мгновение прикрыл глаза, и глупая моя, бессмысленная, н е п р о и з в о д и т е л ь н а я и бесперспективная жизнь промелькнула в памяти, а воображение подкидывало заманчивые американские картиночки: всякие там конвейеры, заполненные новейшими мо-

делями автомобилей, крохотные фабрички и лаборатории с полной свободой творчества, эксперимента — и уже ощутила сжимающаяся моя ладонь теплый после кипячения металл рукоятки зловещего медицинского инструмента, как вдруг на одном из воображенных конвейеров почудились мне вместо автомобилей метлы, такие точно, как стояли в соседней комнате, у камина, и я вспомнил слова Крившина, что техническая мощь человека — дело пустое, суетное, дьявольское, что все это гордыня, морок, обман — я никогда не соглашался с ним прежде, спорил до посинения, а тут, метлы эти поганые увидев, поверить — не поверил, а все-таки скальпель отбросил с ужасом, схватил Митеньку на руки и побежал вон из операционной, из кинозала, из этого домика на Садовом, и, помню, страшно мне было, что вот не откроются двери, что дамы припрут меня к стенке, что лезвие, опрометчиво выпущенное из рук, окажется в следующую секунду между моих лопаток — *тот, которому я... предназначен... улыбнулся... и поднял... р-ружье...* — впрочем, что уж — пусть и окажется — все равно тупик, полный, безвыходнейший, проклятый тупик — однако, похоже, насильно никто нас здесь держать не собирался: двери открылись и одна, и другая, и третья, и я, сам не заметив как, оказался на улице с пустой простынкою. Митенька растаял по дороге: естественно, ничего другого не следовало и ожидать: настоящий, разумеется, спит преспокойно в своей кровати, а этот — символ, наваждение, морок.

Холодный ветер, снежная крупа обожгли меня: я ведь был совсем голый — я и забыл об этом, а сейчас, на морозе, вспомнилось поневоле: голый, как и они! но пути назад уже не существовало, дверь захлопнулась, кода я не знал и — без ключей — вынужденно высадил кулаком стекло-триплекс логова — кровь прямо-таки брызнула из руки — открыл изнутри дверцу, вырвал из-под панели провода, зубами (скальпеля в бардачке не

оказалось!) ободрал изоляцию, скрутил медь — только искры посыпались — и погнал машину по ночному пустынному Садовому: мимо американского посольства, мимо МИДа, мимо Парка культуры и отдыха... Мерзлый дерматин сиденья впивался в тело, крупа хлестала сквозь выбитое стекло, кровь лилась, пульсировала, липла на бедрах, но, главное, разворачиваясь, я заметил, как из трубы, одна за другою, высыпали на метлах мои дамы, не все, но штук пятнадцать или даже двадцать их было! и полетели за мной, надо мною, вслед, вдоль, над Садовым, через Москву-реку — и я понял, что, добровольно явившись в маленький этот домик, уже никогда не отделаюсь от ведьмино го эскорта, и будет он сопровождать меня до самых последних дней.

6. КРИВШИН

И до самых последних дней не научился Волк воспринимать свое имя привычно-абстрактно, как некое сочетание звуков, на которое следует отзываться или произносить при знакомстве, — до самых последних дней эмоциональный смысл имени, его значение все еще довлели... И тут я ловлю себя на том, что рассказываю о Водовозове как о покойнике, только что не прибавляю: царствие ему небесное. А оно ведь и на деле едва ли не так: у е з ж а ю т - т о безвозвратно, и мир по ту сторону государственной границы становится миром натурально п о т у с т о р о н н и м, откуда вестей к нам доходит не больше, чем при столоверчении и прочих спиритических штуках, и встретиться с его обитателями можно н а д е я т ь с я, только переселившись со временем т у д а, то есть уже не т у д а, а Т у д а с большой буквы, во всамделишные, так сказать, эмпиреи, если они есть, — другой надежды нынешние порядки, пожалуй, и не оставляют. И должен ли я теперь казниться, что всеми силами, всеми средствами, казавшимися мне

действенными, хоть, может, и не Бог весть как нравственными, препятствовал волкову переселению: ведь мы всегда стараемся спасти самоубийцу, хотя спасение это вроде и идет против его воли? Не знаю, нет, право же, я не знаю, не знаю ровным счетом **н и ч е г о...**

Итак, Волк, и повзрослев, все ощущал себя волком, и это часто принимало смешные формы: например, пятидесятилетний самодельный свой автомобиль (который вот уже четвертый год — с отъездом хозяина — мертво ржавеет под моими окнами) он упорно звал логовом и даже не поленился словечко выфрезировать из легированной стали и укрепить на капоте — но, сколько бы подобным номерам я ни улыбался, в неизменной преданности Водовозова имени мне всегда слышался и некий трагический серьез. Надрывающийся голос барда, *кровь на снегу и пятна красные флажков* — все это было безусловно и неподдельно водовозовским. Прямой связи тут, конечно, не отыскать

= ни в памяти:

= ни в Сибири, в ссылке, охоты на волков не существовало — такую роскошь могли позволить себе где-нибудь в России, в степях, в Воронежской, скажем, или Тамбовской области, где зверь редок, а в Ново-Троицком от волков скорее **о б о р о н я л и с ь** (однажды ночью Водовозов возвращался с отцом в кошевке через тайгу с дальней заимки, и волки сперва страшно выли, окружая, а потом увязались за ними, и отец хлестал лошадь что есть мочи — даже берданки какой-нибудь старенькой ссылкой иметь не полагалось! — и выскочили, можно сказать, чудом) — и, когда волки слишком уж нагнали, устраивалась на них, как на беглых эзков, облава, побоище, и во главе вооруженного районного начальства шел старший лейтенант Хромых, весь увешанный винтовками, штыками, кинжалами и с пистолетом в руке, и все равно неизвестно еще было, кто кого...

= ни в метафорическом смысле:

— в отличие от большинства сверстников, от поколения, про которое писана песня, не *всасывал* Водовозов в детстве: *нельзя за флажки!* — отец, едва только Волк стал способен понимать человеческую речь, разговаривал с ним вполне откровенно и обо всем — то ли плохо еще учен был парижанин Дмитрий Трофимович, то ли полагался на чутье сына, верил, что ни при каких обстоятельствах, ни от каких случайностей тот не предаст, не проговорится, то ли, может, так и не в силах очухаться от встречи с родиной, подсознательно ждал предательства, искал гибели — той самой алиментарной дистрофии в том самом магаданском лагере...

— и тем не менее, Волк справедливо чувствовал, что бард хрипит про него, и про него, и я вполне допускаю, что после этой песни, после надрывного хрипа, милые, мелодичные, изысканно зарифмованные альбиныны описки могли показаться Волку не просто бесцветными и не про то, но и раздражить вплоть до разрыва и развода. Ну, разумеется, исподволь уже подготовленных.

Я никогда не верил в прочность этого брака и даже, что не в моих правилах, пытался Волка от него предостеречь, отговорить. Нет, я вовсе не антисемит, хотя евреев в России немножко, по-моему, много, то есть немножко много на видных местах и, главное, в культуре. Я понимаю: свободная конкуренция, но ведь все государства ограждают пошлинами свою промышленность от иноземной конкуренции, а культура куда важнее промышленности — вот и тут бы какую пошлину, что ли, выдумать, необидную. Неофициально она, конечно, существует, но, судя по результатам, недостаточная. Мандельштам, безусловно, гений, но это не русские интонации, а они ведь заполняют сейчас нашу поэзию, здешнюю и тамошнюю, и их обаянию, действительно, не поддаться трудно. Я, повторяю, вовсе не антисемит, но как-то не очень я верю в совместимость разных рас: знаете, иная кожа, иная кровь. Иной запах.

Я помню наш разговор — мы тогда совсем недавно были знакомы, полгода, что ли, не больше, — он происходил ранней-ранней весной, еще снег повсюду лежал и только начали таять сосульки. Мы гуляли неподалеку от издательства, где как раз в ту пору шла моя книга *Русский автомобиль* с огромной главою про водовозовских прадеда и деда, про их д е л о — неподалеку от издательства, по узенькой кривой улочке, еще до революции замощенной и обставленной деревянными двухэтажными домами, давно готовыми на снос, прогнившими, но все почему-то обитаемыми, обвешанными со всех сторон пеленками и прочим барахлом. Заложенные в булыжник отполированные, блестящие на весеннем солнце рельсы подрагивали под тяжестью трамвайных поездов, которые то и дело катились со скрежетом в одну и другую сторону, и скрежет мешал разговору, придавал ему ненужно раздражительный характер. Я сам немец по бабке! возражал Водовозов: действительно, одним из прадедов Волка, отцом матери Дмитрия Трофимовича, был Владимир Карлович Краузе, механик, потомок обрусевших еще в царствование Петра Алексеевича немцев. Я сам немец по бабке! — а я по возможности мягко отвечал, что это, дескать, совсем не то: немцы, французы... что немцы, проведя две тысячи лет в рассеянии, никогда не сохранили бы такого единства, такой общности, ни черта бы не сохранили! что сознания избранности хватило бы им разве на век и все такое прочее, и, главное, я повторил: раса. Другая раса, другой запах. Но человек, когда ему что-нибудь втемяшится в голову, не то что принять — услышать противоположные доводы не в состоянии: Волк свел разговор к шутке: знаешь, сказал, у нас евреи бывают трех видов: жида, еврей и гордость русского народа — это мне Альбина сама говорила. Так вот она — безусловно, гордость русского народа. Ты увидишь ее, послушаешь, и тебе все станет ясно. Хорошо, в бессилии

ответил я. Хорошо. Я послушаю. Мне все станет ясно. Это очень и очень вероятно. Но у нее ведь есть р о д с т - в е н н и к и, клан... Волк снова не захотел меня понимать и подчеркнуто переменял тему.

Полный комплект родственников я имел удовольствие наблюдать на свадьбе, которая случилась месяца через четыре после нашего разговора. И теща-гренадер, детский патологоанатом, Людмила Иосифовна, кандидат медицинских наук, и вдвое меньший ее размерами тесть, Ефим Зельманович, директор какого-то бюро, кажется, по организации труда, да и все прочие, исключая, пожалуй, делегатов из Одессы и Кишинева, — все они казались людьми весьма интеллигентными, европейскими, без этой, знаете, местечковости и специфического акцента. Мы сидели за огромным, из нескольких составленным, дорого накрытым столом в ожидании молодых, которые решили устроить сразу после регистрации часовое свадебное путешествие по Москве на лодке, круг по Садовому, — мы сидели за столом и вели с в е т с к у ю беседу, и за этот час я окончательно уверился, что, несмотря на отсутствие в них местечковости, Водовозову с новыми родственниками не ужиться ни при каких обстоятельствах — иначе он просто не был бы Водовозовым, — а Альбина — еще не видя ее в глаза, я знал точно — на разрыв с ними не пойдет, мужа не предпочтет, и браку, празднуемому сейчас, не удержаться ни на каком ребеночке.

Появились молодые. Невеста (жена уже) действительно была хороша очень: худенькая, хрупкая, с длинными темными волосами (непонятно почему названная Альбиной — Беляночкой, еще бы Светланой назвали!) в красном — по древнеславянскому (!) обычаю — свадебном платье, в красной же фате, с букетиком темных, едва не черных роз на невысокой, но соблазнительного абриса груди. После нескольких «горько», когда осетровое заливное съелось подчистую, а гигантское блюдо

из-под него, занимавшее центральное место в композиции стола, унеслось Людмилой Иосифовною на кухню, Альбина глубоким, красивым голосом спела под огромную, казалось — больше ее самой — кремену несколько собственных песенок: про витязя, умирающего на Куликовом поле, про идущую замуж за царя Ивана Васильевича трагическую Марфу Собакину, еще про одного русского царя — про Петра Алексеевича, посылающего сына на казнь, про юродивую девку на паперти — несколько прелестных песенок, которым недоставало разве некоторой самородности, мощи таланта, и я, помню, в заметной мере расслабленный алкоголем, чуть не задал Альбине бестактный вопрос: зачем она, дескать, берет т а к и е темы? сочиняла бы лучше про свою жизнь или что-нибудь, знаете, о Давиде, о Юдифи, о Тристане с Изольдою на худой конец — я был, разумеется, не прав: у волковой жены и про то, про что сочиняла, выходило неплохо — слава Богу, удержался, не задал.

Альбина на свадьбе была уже беременна. Глазом это практически не замечалось: восьмая или девятая неделя всего — но Волк мне проговорился, что беременна, потому что уже, кажется, и тогда это представлялось ему главным, потому что уже, кажется, и тогда в глубине души прояснилось ему, что женится он не столько п о л ю б в и, место которой занимал вполне понятный и вполне искренний восторг яркою, даровитой девочкою, сколько — чтобы завести ребеночка, сына: Водовозовъ и сынъ, — по которому он так тосковал все годы, когда жил с первой своей супругою, Машей Родиной: у той мало что имелся ребенок от другого мужчины — еще этот ребенок оказался д е в о ч к о ю.

7. ВОДОВОЗОВ

Подобно комете с хвостом голых ведьм, неслось логово по столице, а на душе моей было так же гадостно и невыносимо, как в другую ночь, когда Альбину увезла «скорая», а я остался в квартире наедине с тещею, Людмилой Иосифовной, потому что тесть как раз отъехал в Ленинград, в командировку, делиться опытом, как организовывать чужой труд.

Митенька родился в одной из привилегированных больниц под личным присмотром профессора не то Кацнельсона, не то Кацнельбойма, которому, сверх клановой общности и личного с тещею знакомства, заплачено было двести рублей деньгами, а сама теща в коротком застиранном халатике, готовом под напором мощных телес, отстрелив пуговицы, распахнуться на шестого номере бюсте, ходила возле меня кругами, неприятно интимным тоном рассказывала подробности, какие, мне казалось, теще рассказывать зятю — наедине — несколько непристойно, вообще непристойно: про то, как рожала она Альбину: я, знаешь, намучилась, устала, заснула или забылась, что ли; а она, знаешь, в это время из меня как-то в ы п а л а, я и не заметила как; если б врач не зашел, она б у меня там, между ног, и задохлась, бедненькая, и еще всякие подробности одна гаже другой — ходила кругами, рассказывая, облизывалась на меня, и я не знал, куда деваться от похотливой этой, накануне климакса, горы мяса, запертый с нею вдвоем на пятидесяти пяти метрах полезной, девяноста двух — общей — площади. Я до сих пор удивляюсь, как Король-старшая не изнасиловала меня в ту ночь, впрочем, впечатление осталось, будто изнасиловала, и, когда, около пяти утра, позвонили и сказали: мальчик, рост, вес, состояние матери хорошее, у меня возник импульс выскочить из душного дома, провонявшего свинными почками, которые в скороварке через два дня на третий —

впрок! — варила теща, — выскочить, сесть в логово, забрать своего получасового сына и вот так же, как сейчас, погнать, уехать с ним на край света, чтобы никто из них не сумел нас найти, ибо к женщине, которая в п а л а из моей тещи и едва не з а д о х л а с ь меж могучих ее лядвий, я начинал чувствовать тоже что-то вроде гадливости.

Позже, когда Митенька уже прибыл домой — Боже, как они все не хотели называть его Митенькой, Аркашей хотели, хотя Водовозовым (при том, что Альбина осталась при собственной фамилии: Король) — Водовозовым записали с удовольствием, — позже гадливость несколько поутихла, рассосалась, по крайней мере по отношению к Альбине, однако и по отношению к Альбине касалось это только дня, потому что ночью, в постели, гадливость всегда возвращалась и прогрессировала. Альбина, оправившись от родов, все чаще и властнее заявляла на меня супружеские права, и одному Богу известно, чего стоило мне — и чем дальше, тем больше — удовлетворять их. Неотвязно, неотвязно, осязаемо мерещился в такие минуты отвратительный прыщавый негр с вывернутыми серыми губами, серыми ладошками и подушечками пальцев и серой, должно быть, головкою стоящего члена — первая, до меня, альбинина романтическая любовь, впрочем, не вполне романтическая: с дефлорацией — и я только теперь понял, как права была ненавистная Людмила Иосифовна, когда выговаривала дочери за излишнюю со мною откровенность: этот эпизод действительно лучше бы Альбине от меня скрыть. Негры, евреи, время от времени ловил я себя на нехорошей мысли, негры, евреи — одно похотливое, потное, вонючее племя.

Митенька рос, и, Боже! с каким напряжением вглядывался я в него, едва не каждое утро опасаясь, что на маленьком личике начнут проявляться чужие, ненавистные черты: тестя, Людмилы Иосифовны, — но, к сча-

стью, нет: Митенька оказался совсем-совсем моим сыном: белокурым, с серыми глазками, и вполне можно было ошибиться, глядя на мою ново-троицкую фотографию сорок четвертого года, будто это не я, а он, и многие ошибались. Правда, дальше внешнего сходства дело пока не шло: сколько ни таскал я ему из *Детского мира* самых дорогих и мудреных заводных, электрических, радиоуправляемых игрушек: автомобилей, железных дорог, луноходов, сколько ни изобретал сам, сколько ни пытался играть с ним — увлечь Митеньку не умел: сын больше любил листать книжки, без картинок даже, в полтора года знал наизусть *Айболита* и *Кошкин дом*, а то и просто сидел, задумавшись, уставя удивительные свои глаза в окно, в котором ничего, кроме неба, не было. И еще очень любил слушать альбинины песни, которые она ему сочиняла каждую неделю новую. Я жевал своего Мишля, = пока мама не пришла... Но, честно сказать, я и сам в свое время любил слушать альбинины песни.

А за ту, родильную, ночь теща мне отплатила сполна: когда я пришел в ОВИР, чтобы забрать должные уже быть готовыми документы, капитан Голубчик со злорадным сожалением развела руками и сказала, что у бывшей моей жены появились ко мне материальные претензии, алименты, так что мой в ы е з д становится под вопрос, и мне тут же все сделалось абсолютно ясно, я даже не поехал к Альбине, про которую понимал, что она — фигура десятая, а напрямик направился к Людмиле Иосифовне, и та, брюзжа слюною ненависти, добрые полчаса припоминала мне и все свои подарки: рубашки там разные, зимние югославские сапоги за восемьдесят рублей, браслет для часов, и устройство в Минавтолелгтранс, и кооператив, и, главное, — обманутое свое доверие, а я, хоть и терпел ее монолог, с первого же мгновения встречи сознавал отчетливо, что приехал

зря, что объясняться и просить бессмысленно, что номер тут окончательно дохлый и никакой реанимации не под-
лежит...

Как-то вдруг, сразу потемнело кругом, и я понял, что логово вынесло меня за кольцевую: я вел его машинально, не думая куда, и, естественно, его потянуло за город, на крившинскую дачу, где я, оставив кооператив Альби-
не с Митенькою, жил последние месяцы, все месяцы после п о д а ч и, но сейчас ехать туда было самоубий-
ственно: чтобы не заболеть, не издохнуть, мне следовало залезть в горячую ванну, которой на даче не было, сле-
довало выпить аспирина и аскорбинки, следовало, нако-
нец, одеться во что-нибудь и, кроме всего, — на даче могла ночевать Наташка, крившинская дочка, которая
слишком часто в последнее время повадилась туда ез-
дить и, кажется, без ведома родителей; предстать перед этой семнадцатилетней девочкою в том виде, в каком я
пребывал, даже прикрывшись митенькиной простын-
кою, я позволить себе не мог. Я остановил машину, выглянул, вывернув голову, в разбитое окно: что там летучие мои курочки, мои ведьмочки, выются ли роем, не отвлеклись ли на что, не отстали ли? но было темно, ни черта не видно, и, плюнув на них, я резко развернул логово и погнался назад, в столицу нашей родины, на Каширку, к единственному дому, где меня приняли бы в любое время, любого. К дому, где жила первая моя жена Маша со своей тоже семнадцатилетней девочкою, кото-
рых — ради Альбины, ради Митеньки — обеих я бросил, потому что машина девочка была д е в о ч к а и н е м о я.

Боже! бедный Волчонок! сплеснула руками старень-
кая, заспанная, со свалывшимися волосами Маша, и уменьшение моего имени, прежде так раздражавшее меня, показалось сейчас необходимым, словно без него я не отогрелся бы никогда. От Маши пахло парным молоком и жаркой постелью. Маша Родина. По мере

того, как тепло горячей ванны проникало в меня, я все отчетливее чувствовал, насколько замерз, все сильнее меня колотило, и зуб в буквальном смысле не попадал на зуб. Окончательно я не отогрелся и под огромным пуховым памятным мне одеялом, и, едва задремал, обняв уютную, словно по мне выкроенную Машеньку — затрещал будильник: ей на работу, и я сквозь полусон смотрел, как Маша причесывается, одевается, и впечатление создавалось, будто вернулось то невозвратимое время, когда я студентом-дипломником приехал из Горького на практику в Москву.

8. КРИВШИН

Когда Водовозов студентом-дипломником приехал из Горького на практику в Москву, на АЗЛК — в ту пору еще МЗМА, — он в первую же неделю сумел прорваться к главному конструктору и заставил его выслушать свои идеи, накопленные за годы учебы: и про общую электронную систему, и про паровой двигатель, и про керамические цилиндры — все это с эскизами, с прикидочными расчетами, — и Главный, человек пожилой, порядочный и добрый, признал в Волке и талант, и техническую дерзость, но тут же разъяснил неприменимость этих превосходных качеств в данных конкретных условиях: при современном, дескать, уровне мирового автомобилестроения пытаться выдумать что-то свое равносильно изобретательству велосипеда; прежде следует освоить уже существующие на Западе конструкции и технологию, а надежды и на это нет никакой, потому что никто не даст денег; правда, купили вот, кажется, завод у Фиата, но пока солнышко взойдет — роса очи выест, так что, если Волк намерен реализовывать свои идеи, пусть отправляется в оборонную промышленность, на я щ и к — там тебе и валюта, и все возможности применить талант (нет, сказал Волк.

Я не хочу работать на войну. Я буду заниматься исключительно легковым автомобилем. Это принципиально!), но что он, Главный, готов дать Волку кой-какие — мизерные, разумеется, пусть Волк не обольщается — возможности, что мелкие волковы улучшения он попробует в конструкцию иногда вносить, хотя и это дело неприятное: машины народ берет и так, а перестраивать держащуюся чудом технологическую цепь весьма рискованно — но Волк должен сам — тут Главный ему не помощник — уладить вопрос с пропискою и жильем.

Вопрос уладился довольно скоро через брак с Машею Родиной, чертежницей техотдела, женщиною, на шесть лет старше Волка, ответственной съемщицею восемнадцатиметровой комнаты в квартире г о с т и н и ч н о г о т и п а, матерью-одиначкою. Маша была хороша мягкой, неброской, но глубокою красотою чисто русского типа и с поразительным мужеством, в котором вряд ли отдавала себе отчет, т а щ и л а дом; к Волку она относилась нежно, совершенно по-матерински, и, если б не машина девочка, к которой Волк мало что проявлял обычную свою суховатость — которую никак не умел полюбить — то есть полюбить нутром, не рассуждая, прощая все, как любила его самого в свое время мать, как любила Маша, — совместная жизнь их продлилась бы, возможно, много дольше, чуть ли не до смерти, и никакой Альбины не появилось бы, и никакой даже эмиграции, хотя связь между эмиграцией и Альбиною Волк категорически отрицал.

За несколько лет относительной свободы, предоставленной Главным, Волку удалось получить около полусотни авторских свидетельств, кое-что запатентовать, кое-что даже внедрить, защитить кандидатскую и выстроить логово. Главный доброжелательно наблюдал за Волком и часто, за чашечкою кофе, приносимого секретаршею, болтал с Водовозовым, так, ни о чем, и, грустно глядя, похлопывал его по плечу.

Когда Волк женился на Альбине Король, проблема жилья снова стала во весь рост. В свое время завод дал Маше и Водовозову, собственно — Маше, но числилось, что и Водовозову, вместо гостиничной комнатки двухкомнатную квартиру на Каширке, и размещивать ее теперь оказалось неизвестно как, да и непорядочно, ожидать же от завода другую площадь раньше, чем к началу следующего века, представлялось глупым идеализмом. Но жить дольше с тестем и тещею!.. Тем более что последняя, всех меряя по себе, сильно опасалась, как бы Волк не развелся с Альбиною и не стал бы делить их квартиру — и вот деятельная, всезнающая Людмила Иосифовна разнюхала, что в Минавтолеттрансе запускается кооператив, и нашла ходы, чтобы зятя взяли в Минавтолеттранс на службу и в кооператив записали. Сопротивляться теще — дело бессмысленное, и Волк стал чиновником министерства. Поначалу, со свежа, это показалось даже и ничего себе, но шли месяцы, и отсутствие конструкторской работы, складываясь с домашними неурядицами, сказывалось все сильнее, и Волку становилось неважно. Но, по крайней мере, до сдачи кооператива о смене службы думать было нечего.

Кооператив наконец сдали, но сдали, кажется, слишком поздно: отношения Волка с женою дошли до того уже, что ему не по себе становилось представить, как останутся они наедине в пустой квартире, наедине, потому что теща собиралась на пенсию и внука оставляла в своем доме. Переезд затягивался, затягивался, затягивался.

Волк попытался прощупать почву по поводу возвращения на завод, в КБ, на старое место, но там уже установились другие порядки: Главный умер, его место занял человек, с которым у Волка отношения сложились ниже средних, да и прежняя работа с временного отдаления потеряла былую привлекательность: все это, конеч-

но, не годилось утолить творческий его аппетит, в последние годы сильно выросший, все это было — голодный, в обрез, паек. Карцерный рацион.

В феврале семьдесят девятого Волку исполнилось тридцать семь, и, лежа в постели, глаза в потолок, после маленького торжества, устроенного Людмилой Иосифовной согласно семейной традиции, хоть и вопреки желанию его виновника, Волк ощутил вдруг совершенную безвыходность собственного положения, ощутил время, безвозвратно проходящее сквозь тело, сквозь мозг, уносящее жизнь, и, растолкав сладко от полубутылки шампанского спящую супругу, сказал: мы должны уехать отсюда. Альбина не поняла: да-да, конечно, буркнула, мы ж договорились: после праздников, подсадовала, зачем разбудил, и, коль уж разбуженная, полезла маленькой своей, сильной, сухощавой ручкою с мозолями на пальцах от струн, к волкову паху. Водовозов отстранился и пояснил: уехать о т с ю д а. Из Союза. Уехать в Америку.

Конечно же, разговоры об о т ъ е з д е в этом доме, как и в большинстве еврейских московских домов, как и во многих нееврейских, шли постоянно, и даже шансы Волка на успех т а м взвешивались, и все такое прочее, но было это простым чесанием языков, так что теперь Альбина даже испугалась. Нет! вскрикнула. Ты в своем уме?! Действительно, здесь она со своими песенками приобретала все большую популярность, разные престижные НИИ приглашали ее выступать за неплохие деньги, она ездила то в Ленинград, то в Киев, то еще куда-нибудь, три ее стихотворения появились в толстом журнале с предисловием знаменитости, и скоро предстоял концерт на телевидении, и тщетно стал бы Волк доказывать ей, что время песенок прошло, что она со своим специфическим талантом опоздала родиться лет на пятнадцать, что все это похмелье, отрыжка хрущевская, что все это уйдет в трубу и никому в конечном

счете не принесет радости — да он и не очень рвался доказывать, потому что если и звал Альбину с собою, то для того только, чтобы вывезти сына. Хорошо, ответил Водовозов. Тогда мы с тобою разводимся, я становлюсь евреем и уезжаю один. Один означало для него без Митеньки, но что же, думал Волк, выйдет хорошего, если я загублю свою жизнь ради сына, а он — ради своего сына, и так продлится без конца. Дурная бесконечность. Кольцо Мёбиуса. Змея, кусающая собственный хвост. Уезжай, ответила Альбина: у нее, кажется, кто-то уже был, какой-нибудь негр, иначе так легко она Волка не отпустила бы. Я оставляю тебе квартиру, сказал Водовозов, а ты, я надеюсь, не станешь требовать с меня алименты. Ты ж знаешь: деньги, какие были, я вколотил в первый взнос, и теперь все равно взять с меня нечего. Но ты не волнуйся: Митенька — единственная моя привязанность на земле, и я, разумеется, стану посылать вам оттуда и доллары и вещи. Я надеюсь, ты не научишь его меня забыть, и со временем мы увидимся. Хорошо, утвердила Альбина. Я согласна. Когда подаем на развод? Завтра, уронил Водовозов. Завтра.

9. ВОДОВОЗОВ

Как выяснилось позже, я пролежал в беспмятстве с легкой формой менингита больше десяти суток; врачи, оказывается, сильно опасались если не за мою жизнь, то, во всяком случае, за мой рассудок: при таких заболеваниях в мозгу образуются какие-то спайки, водянка, в общем, черт знает что, и кора, говорят, может разрушиться необратимо. Я, слава Богу, ничего этого не понимал, а находился в одной бесконечно длящейся ночи, которую некогда, лет пять назад, прожил в натуре, а сейчас проживал и проживал снова, одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же, и, должен заметить, очень натурально проживал, по этой натуральности, может, толь-

ко и догадываясь временами, что тут бред, но так ни разу до конца и не прожил: сновидная память, словно игла в перекошенном звукоснимателе, то раньше, то позже срывалась с ночи, как с пластинки, на ее начало, и снова, в сотый, в тысячный раз я — за рулем логова — отыскивал чертову дорогу к законспирированному горкомом комсомола лугу, где должен был произойти чертов ночной слет бардов и менестрелей, КСП, как называли они, клуб самодеятельной песни, и мы то и дело проскакивали нужные повороты, хотя Альбина, уехавшая раньше на горкомовском автобусе, честно старалась объяснить все в подробностях — и мы проскакивали повороты и останавливались, и то я сам, то Крившин, то крившинская двенадцатилетняя Наташка, которую он взял с собою, голосовали, пытаюсь выяснить у проезжающих водителей, куда свернуть на чертов луг, но наконец, добрый десяток раз проскочив и развернувшись, мы выехали на нужную дорогу, проселочную, разбитую, раскисшую от недавних дождей, по которой то тут, то там попадались севшие на кардан «Жигули» и «Москвичи», завязшие по самые оси мотоциклы, и в довершение всего возник перед нами овраг, через который перекинуто было несколько разъехавшихся, скользких бревен, и в щели между ними легко провалилось бы любое колесо, и никто, естественно, не решался преодолеть на машине или мотоцикле этот, с позволения сказать, мостик, а оставляли транспорт на обочине, на примыкающей полянке, в леске и шли дальше пешком, таща на себе палатки, магнитофоны, гитары — один я, вспомнив раллистское прошлое, рванул вперед и проскочил, и потом снова проскочил, и снова, и так сотни, тысячи раз — вероятно, в пластиночной бороздке образовался какой-то дефект — но минут через пятнадцать все же появился перед нами законспирированный горкомовский луг с наскоро выстроенным, напоминающим киношный эшафот помостом, с лихтвагеном и автобусами, проехавши-

ми сюда как-то, надо думать, иначе, другой дорогою — с огромными прожекторами, с палатками, то тут, то там растущими прямо на глазах, и в сотый, в тысячный раз мы разбивали с Крившиным нашу палатку, и уже темнело, и народ прибывал, и вопреки всей горкомовской конспирации становилось его видимо-невидимо: десять тысяч, сто тысяч, я не знаю, я не умею считать эти огромные человеческие массы, я не люблю мыслить в таких масштабах, — и вот уже глухо заурчал лихтваген, изрыгая черные клубы солярочного дыма, и зажглись прожектора, и на помосте, перед целым кустом микрофонов, появилось несколько человек с гитарами — Альбина среди них — и запели хором, фальшиво и не в лад: *возьмемся за руки, друзья, = чтоб не пропасть поодиночке*, и потом какие-то горкомовцы снова и снова говорили одно и то же, одно и то же, одно и то же, а потом начались сольные выступления, и Альбина пела свои чрезвычайно милые песенки: *а нам что ни мужчина, = то новая морщина* — каково слушать это мужу, да еще так публично?! — и тут в сотый, в тысячный раз мелькнула синяя молния электрического разряда: кто-то по пьянке ли, по другой ли какой причине перерубил ножом кабель от лихтвагена, и прожектора погасли, микрофоны оглохли, усилители онемели, стало темно, шумно; крики, песни — все слилось в невероятный галдеж, и горкомовские функционеры бегали с фонариками и кричали, пытаясь навести хоть какой-нибудь порядок, хоть иллюзию какого-нибудь порядка, и, не преуспев, преждевременно пустили намеченное на потом факельное шествие: зарево показалось из-за леска, километрах в полутора, и я посадил крившинскую Наташку на крышу логова и влез сам: черная змея со светящейся кожей приближалась к нам, извиваясь, это выглядело эффектно и жутко, и функционеры в штормовках защитного цвета шли впереди, и комсомольские значки, поблескивая красной эмалью в свете чадающих факелов,

светились, словно змеинные глазки... Боже! как я устал от бесконечной этой душной ночи, все пытающейся, но не умеющей добраться до середины своей, до перелома, до предутреннего освежающего холодка и первых рассветных проблесков, когда вокруг раскиданных по лугу костров уже затухали, догорали песни, живые и магнитофонные... *рвусь из сил, из всех... сухожилий...* Боже! как я устал, как устал, каким облегчением стало открыть наконец глаза и увидеть лицо, так часто мелькавшее в бреду, но увидеть реальным, повзрослевшим на несколько лет, похорошевшим: лицо крившинской Наташки, которая, оказывается, все девять суток, почти не отходя, продежурила у моей постели.

Не сегодня завтра меня обещали выписать. Наташка порылась в моих вещах, хранящихся у ее отца, и принесла во что одеться. Заходили проведать то Крившин, то Маша с дочерью, еще мне сказали, что, когда я лежал без сознания, навещала меня одна женщина, непонятно кто, я подумал, что Альбина, но и капитан Голубчик вполне могла соответствовать весьма общему описанию, данному косноязыкой нянечкою. Целыми днями я поедал принесенные в качестве гостинца апельсины и яблоки и, глядя в потолок, вспоминал пионерский клуб *Факел* (ни на мгновение не возникла у меня идея, что тот просто привиделся, прибрелся, хотя тайну хранить, разумеется, следовало!), размышлял о своей ситуации, и неизвестно откуда: из мрака ли тронутого воспалением мозга или извне, из *Факела*, стала являться мне мысль о подарке. Скальпель я отверг, разумеется, правильно, тут и думать нечего, но подарок — то ведь не скальпель. Подарок это подарок. А и м вдруг покажется, что и все равно...

Когда меня выписали, логово стояло у подъезда — Маша пригнала и ключи принесла заранее; и дверные замки, и замок зажигания, и стекло — все очутилось целым, сверкало: попросила, наверное, кого-нибудь на

заводе отремонтировать. Крившин звал, пока окончательно не оправлюсь, пожить у него дома, но из-за подарка это невозможно было никак: до митенькиного дня рождения не оставалось и недели, и, значит, мне срочно требовался сарайчик с инструментами, со старым моим хламом, мне требовалось некоторое уединение, и я, не поддавшись уговорам, двинул на дачу. Наталья, однако, настояла сопровождать меня, помочь, так сказать, обжиться: с дровами там, с продуктами. Меня и правда едва не шатало.

Крившину наташкина затея не понравилась, но он, как всегда интеллигентно, промолчал. Наташка сидела в логове рядом со мною и была удивительно хороша: я это заметил вдруг, словно не много лет ее знал, не с детства, а впервые увидел.

10. КРИВШИН

Впервые увидел я Волка вот при каких обстоятельствах: подходили, почти проходили сроки договора с издательством на мой *Русский автомобиль*, а я все никак не мог остановиться в дописках и переделках, все никак не мог завершить труд: отнесясь к нему поначалу как к одному из способов немного заработать, благо тема нейтральная, не паскудная, а, с другой стороны, — вполне в духе тогдашнего русофильства Молодой гвардии, — я, закопавшись в старые газеты, журналы, книги, увлекся двадцатипятилетием, поделенным надвое рубежом веков, нынешнего и минувшего, и пытался как можно полнее, достовернее воспроизвести это время в своем воображении: занятие, разумеется, пустое, иллюзорное, ибо прошлое, пройдя, исчезает навеки, и мы, беллетристы, историки ли, копаясь в нем, не более чем сочиняем волшебные сказки или басни с моралью — каждый свою — в меру

собственных талантов и отношений со временем, в которое живем; сочиняем сказки, басни и строим на песке карточные домики.

Колода, из которой строил я, имела на рубашках трехцветный — бело-сине-красный — крап, с лица же большинство карт представляло собою изображения самых разных транспортных устройств той далекой, сказочной эпохи. Я часто прерывал возведение непрочной постройки и часами как замороженный рассматривал то огромный, словно цирковой, велосипед: гигантское, в человеческий рост, переднее и сравнительно с ним мизерное заднее — колеса, плавная дуга рамы, ежащаяся штырями подножек, без которых не добраться до вознесенного на двухметровую высоту сиденья, ослепительный блеск солнца на начищенном руле и латунных змейках педальных креплений — стройный и вместе какой-то нескладный, он напоминал мне гумилевского изысканного жирафа; то сорокасильный автомобиль с деревянной рамой и спицами, с рулевым рычагом вместо баранки, с расположенными овалом литыми выпуклыми литерками на капоте: Водовозовъ и сынъ — автомобиль, пахнущий газойлем, смазочным (сказочным) маслом, натуральной кожей сидений; то приземистую мотоциклетку или аэроплан... Милые эти монстры непременно вызывали легкую улыбку, словно детские — голышом — фотографии, и никаких сил не хватало убедить себя, что они — первые представители наглого, бесконечного, неуничтожимого стада механических чудищ, обрушившихся на нынешний мир и грозящих сжечь весь кислород, предназначенный для дыхания, отравить легкие смрадом выхлопов, искорежить психику, убить в людях Бога, выхолостить души, поселив в них гордыню. С другой же стороны, мне никак не удавалось взглянуть на эти картинки, как смотрю сегодня на фото, скажем, «боин-

га» или последней модели «мерседеса»: ненавидящим ли, гордым ли и восхищенным, но непременно серьезным взглядом современника.

Мелькали в колоде и портреты самих современников: современников-создателей, современников-потребителей — так называемые фигуры: крепкие старики в поддевках, в круглых, оправленных сталью очках — основатели дел; их валяжные, по-парижски одетые, с чеховской грустью во взгляде дети; их внуки в гимназических кителях, в гимнастерках реальных училищ, в студенческих тужурках и фуражках, на черных бархатных околышах которых скрещиваются серебряные молоточки; прогрессивные ученые, всякие павловы, менделеевы там, тимирязевы, вызывающие, победоносно, демонстративно вертящие в аллеях общедоступных парков — на глазах фраппированной публики — педали экстравагантных чудищ; государственные деятели, вольно полужающие с сигарою в зубах на сиденьях лакированных лимузинов, под на треть опущенными, бархатными с исподу складными гармошками тентов... Разглядывая портреты, я пытался увидеть за ними живых, реальных людей, живых и реальных даже не настолько, как я сам, а хотя бы как мои знакомые — и не умел: верно, люди, творцы прошлого, так же исчезают, уходя, как и время — главное их творение.

И все-таки я не отчаивался, не опускал рук, строил, рушил, тасовал колоду и снова строил, но материала не хватало, я, например, чувствовал недостаток в портретах совершенно неясных мне мастеровых людей, так называемого простого народа, с непредставимым выражением лиц теснящегося у ворот маленькой грязной фабрички, когда из них выкатывает первый автомобиль, — сам фабрикант в коже, в крагах за рулевым рычагом, — чтобы совершить дебютный трехверстный круг по покуда сонному городу, по упруго-мягким от пыли, словно каучуковые шины, улицам. Я понимал,

что мастеровые эти — люди в деле производства вторые, даже пятые, то есть действительно ни в коем случае в ф и г у р ы не годятся, что не их мыслью и волею оживает металл, но знал, как многое перевернется вверх дном при прямом их участии, — и вот мне не хватало их портретов для завершения моего здания. Я строил, помня одно: то время, те двадцать пять лет были временем ни с чем не сравнимой в истории нашей страны свободы, то большей, то несколько ущемленной, но — несравнимой свободы, которую из сегодня невозможно представить даже приблизительно. — однако, чем больше свободы допускал я в постройке, тем скорее и вернее последняя рушилась, что, впрочем, только доказывало ее сходство с прототипом.

Словом, я никак не мог освободиться от т о г д а, не хотел возвращаться в т е п е р ь, а в издательстве торопили, и, чтобы успокоить их, чтобы, не дай Бог, книга не вылетела из плана, я носил им относительно готовые клочки рукописи, и кто-то из издательских ребят, прочитав, сказал мне, что, кажется, встречал на АЗЛК, на *Москвиче*, инженера Водовозова — не потомок ли, дескать, тех, о которых идет речь в моей книге? По моим сведениям водовозовский род прекратился с гибелью на фронте в 1915 году Дмитрия, единственного сына того самого вальяжного инженера с грустным взглядом, Трофима Петровича, который, в свою очередь, являлся единственным сыном основателя фирмы, бывшего крепостного кузнеца Петра Водовозова, — и все же надежда на невозможное: оживить хоть две-три фигуры колоды — погнала меня на *Москвич*. Надежда, впрочем, слабая: если бы инженер Водовозов каким-то чудом даже и оказался не однофамильцем, а действительно потомком — чего ожидать от него? разве что повода к идеологическому эпилогу о преемственности поколений! Я ведь и по себе, и по многим, с кем сталкивался, знал, что народ сейчас пошел какой-то отдельный, самодостаточный, без роду-

без племени, и хорошо еще, если имеет человек отдаленное представление о том, кем был его дед, а то и о деде ничего не знает, не говоря уже о более далеких предках.

Волк знал. У него, правда, не сохранилось ни метрических выписок, ни фамильного архива, ни старинных портретов или фотографий: все, что не погибло в революцию и гражданскую войну, осталось в Париже или лубянских подвалах, — но Волк берег в памяти и в записях рассказы своего отца, человека, хранившего прошлое. Когда Волк услышал, что я пишу книгу о его семье, точнее — главу в книге, он, вопреки моему самонадеянному ожиданию, не выказал благодарности, не разулыбался, не почувствовал себя польщенным — напротив, с холодным раздражением огрызнулся, словно я был главным виновником того, что столь долго пребывал в несправедливом забвении славный его род, что собрались выпустить книгу только сейчас, и неизвестно еще, что это выйдет за книга. Я оставил Волку экземпляр рукописи. Позвоню вам, сказал Водовозов. Если рукопись не вызовет у меня отвращения — позвоню. Если не позвоню — не надо больше меня искать и встречаться со мною.

Этот человек, хоть сегодняшней — явно годящийся в колоду — носитель странного, непривычного имени, понравился мне с первого взгляда внутренней своей силой, индивидуальностью, наверное — и талантом, понравился, хоть и немало смутил почти базаровскими грубостью и независимостью — качествами, небывалыми в моих знакомых. По мере того как шло время, я все яснее понимал, что Водовозов не позвонит мне, что рукопись, которая умалчивает о трагической судьбе деда, обрывает — пусть по авторскому неведению — это не аргумент! — жизнь отца на добрые сорок пять лет раньше срока, не на добрые — на недобрые, на страшные сорок пять лет, — такая рукопись понравится Волку не

может, — и я отправил ему длинное покаянно-объяснительное письмо, после которого он позвонил, мы встретились еще и еще и в конце концов стали приятелями.

Время массовых песен и *Ивана Денисовича*, время, когда появлялись то в *Новом мире*, то в *Москве* мемуары репрессированно-реабилитированных партийцев, — смутное это время давно миновалось, и надеяться выпустить другую, правдивую книгу о Водовозовых — вернее, и в этой не содержалось намеренной лжи, а скажем: книгу с полной информацией, — надеяться выпустить такую книгу было нелепо, но я все-таки пообещал себе и Волку ее написать. Зачем? Чтобы издать ее там? Для кого? Нелепость! Но — пообещал и стал добирать материалы, долгие вечера просиживая с Волком на его кухоньке, и, благодаря удивительной, тихой его супруге Марии, разговоры наши обставлялись не голым, плохо заваренным грузинским чаем, как в большинстве московских домов, а и всякими доисторическими излишествами в виде изумительно вкусных пирожков, расстегаев, блинчиков с разнообразными начинками и всего такого прочего.

Книга, понятно, осталась ненаписанною, да и *Русский автомобиль* вышел в сильно пощипанном виде, и я поначалу опасался, как бы Волк не заговорил обо всем этом; но он не заговаривал, и молчание его, вместо ожидаемого облегчения, селило во мне досаду на моего приятеля, грусть по той, первой, искренней грубости, которой теперь он себе со мною не позволял.

11. ВОДОВОЗОВ

С тех пор как в обмен на требуемую ОВИРом характеристику с места работы у меня взяли заявление об увольнении по собственному желанию и я, ткнувшись туда-сюда, понял, что обойти всеведущий Первый Отдел и устроиться куда-нибудь на новое место не так-то

легко, тем более что и с него со временем потребуют справку, — я стал искать другие формы заработка. Я заезжал по вечерам и выходным в гаражные кооперативы и помогал незадачливым автолюбителям: кому — перебрать движок, кому — отрегулировать карбюратор или прокачать тормоза, кому — еще чего-нибудь — и получал за выходной от червонца до сотни — когда как потрафится, но в сумме неизменно значительно больше, чем на государственной службе. Кроме того, пользуясь дефицитом такси после полуночи, я развозил по городу публику, собирая тройки и пятерки. Однако такая сравнительно обеспеченная жизнь тянулась недолго: в гаражах стала неожиданно появляться милиция, проверяла документы, запугивала ОБХССом, грозилась привлечь за тунеядство и нетрудовые доходы; гаишники все чаще останавливали меня, когда я кого-нибудь вез, штрафовали неизвестно за что, кололи в талоне дыры, предупреждали, что конфискуют логово — правда, у них пока не имелось никаких доказательств “использования личного транспортного средства в целях наживы”: я никогда не торговался с пассажирами, не заговаривал о деньгах, пока не довозил до места, да и тогда, впрочем, не заговаривал и уезжал порою ни с чем. Однажды логово остановил мужичок лет пятидесяти, подчеркнуто непримечательный, и спросил, сколько будет в Теплый Стан. Нисколько, ответил я, носом почуя в мужичке провокатора. Нисколько. Мне туда не по пути. А было б по пути — подвез бы бесплатно. Словом, меня обкладывали со всех сторон, и, опасаясь потери логова и прочих неприятностей, я притих, и денег почти не стало. То есть натурально не стало: не стало на бензин, не стало на что есть. Меня поражало до нервического смешка, как много сил и времени тратит огромное это государство на мелкую месть тем, кто захотел выйти из его подчинения, по-детски, по-женски оно обидчиво, невеликодушно, однако смехом сыт не будешь, особенно нервическим, и я все

чаще брал в долг у Крившина — единственного человека, не считая нищей Маши Родиной, первой моей супруги, к которому я мог обратиться с такой просьбой. Но нельзя же бесконечно брать в долг, даже твердо рассчитывая возместить все логовом и посылками из Штатов, тем более что и Крившин был богат весьма относительно и уже имел мелкие неприятности, так сказать, предчувствие неприятностей, оттого что приютил меня: почти год я бесплатно жил на его даче — нельзя!

Вот и сейчас — у меня не было несчастной тридцатки, двадцати девяти рублей сорока копеек, если точнее, позарез нужных для п о д а р к а, не было денег, не было Крившина под рукою, почти не было бензина в баке логова, и я вынужденно попросил Наташку раздобыть эти несчастные рубли где угодно (у того же отца — где же еще?!), съездить в Москву, в *Детский мир*, и привезти сюда педальный автомобильчик. Наташка, не задавая вопросов, словно сладким долгом ей казалось исполнять любую мою прихоть, отправилась на платформу к электричке. Тем временем я, порывшись в хламе, сваленном в углу сарайчика, извлек на свет Божий действующую модель парового двигателя на угольной пыли с полным сгоранием — любимого моего детища. Несколько подержавевшая, она, вообще говоря, оказалась в порядке, только пропал куда-то, потерялся при одной из перевозок агрегат, размельчающий уголь, и я добрые два часа бросал в мелкий стакан электрокофемолки куски антрацита, запасенного на зиму для обогрева дачи. Когда топлива набралось достаточно, я без особого труда запустил мотор и несколько минут сидел неподвижно, прислушиваясь к ровному его шуму и в тысячный, в сотысячный раз не п о н и м а я, почему и он, и десяток других моих изобретений оказались никому не нужны в обидчивом этом государстве.

Появилась Наташка, таща на себе громоздкий, некрасивый, покрытый мутно-зеленой краской автомобильчик с маркою АЗЛК на капоте — с маркою завода, где проработал я без малого двенадцать лет, наиболее творческих, наиболее энергичных лет моей жизни. Я смотрел на зеленого уродца и вспоминал ново-троицкое детство, рассказ отца, что, дескать, где-то там, в б о л ь - ш о м м и р е, существуют такие вот педальные автомобильчики и что, если бы он каким-то чудом попался нам в руки, мы непременно приладили бы к нему мотор, и я раскатывал бы по деревне, пугая пронзительным треском уличных собак и заставляя старух, сидящих на завалинках, креститься мелким крестом. Чуда, конечно, не произошло, и, хотя отец смастерил-таки мне самодвижущуюся ледянку, летом превращающуюся в маленький мотороллер, педальный игрушечный автомобиль так и остался до самого сегодняшнего дня нереализованной мечтою, символом счастья. Мне иногда казалось, что и сына я себе заводил чуть не исключительно затем, чтобы было кого одарить таким подарком, было с кем пережить обретение мечты — но прежде моему намерению резко противились и Альбина, и тесть с тещею, а, главное, самого Митеньку ни велосипеда, ни самокаты нисколько не интересовали. Сейчас я надеялся, что ситуация изменилась: мое дело — обойти запреты, а Митенька д о л ж е н сесть за руль из любви к своему папе Волку (как он с легкой руки Альбины меня называл), — из любви, обостренной редкостью наших встреч, которым бывшие мои родственники всеми силами препятствовали, особенно в последнее время, когда у меня почти не стало денег.

Весь следующий день я упикивал свой паровик, то одним, то другим углом выпиривший наружу, в узкое пустое пространство багажника, ладил передачу, сцепление, водяной бачок, и перед моими глазами все стоял отец, мастеровивший мне мотоледянку. Ледянками там, в

Сибири, назывались нехитрые сооружения, состоящие из широкой доски, залитой с исподу льдом, и другой, под острым углом к ней прибитой дощечки с поперечиной для рук — род зимнего самоката, который, отталкиваясь ногою, удавалось разогнать настолько, чтобы два-три метра проехать по инерции. Едва выпадал первый снег, все п а ц а н ы Ново-Троицкого выкатывали на улицу. Имелась такая ледянка и у меня, и вот отец принес как-то из своих мастерских велосипедный моторчик, приспособил его вертеть два колеса с лопастями из старых покрышек, и они, опираясь на снег, толкали вперед это трескучее, дымящее сооружение. Больше всего мне понравилось тогда и запомнилось до сих пор, как остроумно решил отец идею сцепления: двигатель, подвешенный снизу к пружинящему дырчатому металлическому сиденью от старой сенокосилки, начинал вращать колесный вал, едва я на это сиденье взбирался, прижимая собственным весом маховик к оси. Ледянка лихо носилась по единственной длинной, укатанной санями, желтеющей пятнами лошадиной мочи улице Ново-Троицкого, я лихо восседал, и все мальчишки, и так-то не особенно меня жаловавшие, сходили с ума от зависти, но желание прокатиться оказывалось сильнее всех прочих желаний и страстей, и ко мне подлизывались и кланчили.

Еще один день я посвятил механизмам, которые, собственно, и должны были решить дело: тормозной тяге, рулевой передаче, тросику регулировки давления. Нет, разумеется, я, отбросивший в свое время скальпель, грубо не шулерничал, играя с судьбою, не подпиливал рычаги, не разлохмачивал тросик: вся механика, такая, какую выходила она из-под моих рук, могла бы преспокойно проработать себе и год, и два, и десять — просто зазоры я делал на верхнем пределе, натяги — на нижнем: ОТК пропустил бы без разговоров, но если бы всемогущему случаю под управлением голубчиковой

шоблы захотелось вмешаться в эту историю, он нашел бы за что зацепиться: наперерез крохотному зеленому автомобильчику, ведомому шестилетним ребенком, понесся бы грузный, заляпанный цементом самосвал, и ребенок бы жал на тормозную педаль — но она проваливалась, пытался сбросить давление — но тросик заедало в оболочке, крутил, чтобы увернуться, баранку — но колеса не слушались бы руля, и вот подарок п а п ы В о л к а сминается, плющится в лепешку тоннами веса самосвала, десятками тонн кинетической его энергии, и плотоядно улыбается сквозь правую половину ветрового стекла лицо Насти, капитана Голубчик. Впрочем, я довольно легко справился с ужасным этим видением, потому что, посудите сами: слишком уж невероятно, чтобы и самосвал подвернулся, и колеса заклинило, и тросик давления не сработал, и тормоза — все это вдруг, одновременно: невероятно, слишком невероятно!

На четвертое утро, в день митенькиного рождения, подарок мой оказался полностью готов. Последний штрих — уж не знаю, зачем он мне понадобился, — я нанес с помощью ножниц и эпоксидки: разыскал в крившинском кабинете экземпляр *Русского автомобиля*, из плотного листа иллюстрации аккуратно вырезал фотографию расположенных овалом литых выпуклых литёрок прадедовской фирмы: Водовозовъ и сынъ — и заклеил этим кусочком бумаги марку АЗЛК. Наташка раздобыла у соседей ведро бензина, я приварил логово, привязал к крыше грязно-зеленый автомобильчик и направился в Москву. Я верно подгадал время: тесть с тещею на работе, Альбина, может, и дома (как оказалось впоследствии — действительно дома), но, занятая сочинением песенок, отправила Митеньку гулять с восьмидесятилетней бабой Грушею, старухой, вот уже лет шестьдесят живущей у Королей, вынянчившей и бывшую мою тещу, и бывшую мою жену, и вот теперь нянчащей моего сына.

Баба Груша — я и это заранее взял в расчет — относилась ко мне особенно хорошо, как к славянской родственной православной душе, затерявшейся в клане иноверцев, и часто, нарушая приказы хозяев, позволяла мне общаться с Митенькою. Вот и сегодня, сын, едва увидав логово, побежал к нему, ко мне, а баба Груша приветливо улыбнулась, кивнула, сказала *здравствуйте вам* — и отошла к лавочке, где уже сидели двое ее ровесниц. Митенька, захлебываясь, рассказывал о каких-то важных событиях шестилетней своей жизни, декламировал новые выученные стихи, и, хотя обычно родной его лепет занимал все мое внимание, сегодня мне было вовсе не до митенькиных рассказов.

Когда я отвязал и снял с крыши зловещий свой подарок, Митенька, изо всех сил изображающий радость, с наигранным удовольствием втиснулся в сиденье автомобильчика и стал внимательно слушать, как и что следует нажимать, а у меня прямо-таки не хватало терпения объяснить ему до конца, я раздражался от его непонятливости, покрикивал, раз даже обозвал идиотом, но Митенька все сносил терпеливо и ласково, словно понимая ужасное мое состояние.

И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли д а л е е оба вместе.

Наконец мотор был запущен, я сказал: ну, покатайся, отошел к логову, и Митенька поехал кругами по выходящему на улицу двору, пытаясь всем своим видом показать, как ему все это нравится, хотя я видел: не нравилось, было неприятно и даже, наверное, пугало. И тут в конце улицы показался самосвал, такой точно, как представлялся в недавних видениях: голубой, заляпанный цементом, и я уже не мог не оборачиваться к Митеньке, заранее зная, что на личике его появилась рас-

терянность, означающая первый отказ — вероятно, руля. Не помня себя бросился я наперерез автомобилю, пытаюсь, надеюсь остановить его, но, словно споткнувшись о натянутую веревку, упал и, как ни тянулся руками — не достал, не успел — правда-правда, я очень старался, изо всех сил, всех сухожилий, но просто не успел! — и дело продолжало идти, как ему предназначено, а после — угадано мною: все, что могло и не могло, — заклинивалось в положенные сроки, стопорилось, ломалось, и были расширенные митенькины глаза, и лязг металла, и ничем не останавливаемая энергия весовых и кинетических тонн — только я не успел заметить, сидела ли рядом с водителем Настя, капитан Голубчик.

Когда я пришел в себя, улицу забил народ, гаишный и санитарный «рафики» мигали синими маячками, кто-то что-то мерил рулеткою, билась головою об окровавленный асфальт Альбина, а милицейский лейтенант заканчивал диктовать сержанту черновик протокола: ...труп на месте... Написали? Труп на месте.

Это у них такая терминология.

12. КРИВШИН

Я перевел взгляд из ниоткуда на Водовозова: тот цепко держал обеими руками руль и, подав вперед голову, всматриваясь в дорогу, гнал машину на пределе возможностей. Лицо, как рампою на картинках Дега, было освещено нижним светом приборной доски: свет периодически перебивался яркими движущимися лучами фар встречных автомобилей, и тогда на лице появлялись резкие, непроработанные тени, как бы провалы в ничто.

Пять вечера, а уже совсем темно: мрак упал на землю как-то мгновенно. Еще полчаса назад низкое серое небо освещало пьяных, в сальных, измазанных глиною телогрейках людей, насыпающих над крошечной могилою

трехгранную усеченную призму первоначального холмика — а сейчас только запад подрагивал в зеркальце заднего вида мутно-зеленой полоскою, светлой на темном фоне. Когда в ночь на первое октября стрелки часов перевели назад, на законное их место, то время вдруг сломалось, дни превратило в вечера, утра и вечера упразднило вовсе, а тут еще вечная пасмурность и — несмотря на начавшийся декабрь — незамерзающая слякоть. Бесснежная полярная ночь.

Сегодня я переночую у тебя, не поворачивая головы, не скосив глаз в мою сторону, сказал Водовозов, сказал без тени просьбы или вопроса, п р о и н ф о р м и р о в а л. Куда мне сегодня на дачу! Даже и эта фраза, по смыслу похожая на извинение за бесцеремонность, никаким извинением на деле тоже не являлась и, как и первая, ответа от меня, в сущности, не требовала. Волк включил мигалку, почти не сбросил скорость, резко переложил руль направо, и логово, отвратительно визжа резиною, оторвав левые колеса от асфальта — я изо всех сил уцепился за скобу над дверцею — влетело с кольцевой в клеверный лепесток развязки и под изумленным наглостью водителя взором гаишника покатило по Ярославскому шоссе, ярко-желтому от холодного огня натриевых ламп. Гаишник не засвистел вслед, и ни один из попавшихся нам после не попытался перехватить логово — то ли были они парализованы волнами злобного раздражения, исходящего от Волка, то ли просто принимали экстравагантный автомобиль с забрызганными грязью номерами за нечто дипломатическое.

Если по пустынной кольцевой машина шла сравнительно ровно, хоть и с бешеной скоростью — здесь, в городе, виляя из ряда в ряд, резко тормозя у светофоров, а срываясь с места еще резче, сворачивая на всем ходу то направо, то налево, она как бы напрашивалась, нарывалась на аварию, на крушение, на дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами — труп на месте! —

и уж конечно, знай я Водовозова чуточку меньше — давно перетрусил бы, наложил в штаны, потребовал бы остановиться, чтобы выйти, — а так — ехал, почти не обращая на все эти пируэты внимания, только мертво держался за скобу, и спокойствие мое объяснялось не столько тем, что Волк был в свое время классным раллистом, мастером спорта и так далее, сколько уверенностью, что он, в сущности, слишком холоден и жесток для самоубийства, особенно такого неявного и эмоционального. Куда же его положить? думал я. Ведь ко мне сегодня напросилась ночевать Наташка. Похоже, что сговорились заранее. Неприятно... Но, с другой стороны, — как откажешь в приюте человеку, только что похоронившему единственного сына? Был у меня один знакомый — он умел прямо сказать: если ты, дескать, останешься у меня — мне придется ночевать на вокзале: я не переносу, когда в моем доме спит кто-то чужой — у Волка, наверное, такое тоже получилось бы, а я — не умел. Можно, конечно, попросить у соседей раскладушку, продолжал я размещать в двухкомнатной лодке волка, козу и капусту, и положить гостя в кабинете... А, черт с ним! пускай устраивается на диване. Наташку — в спальню, а я посижу ночь за столом, поработаю. Раньше ведь как хорошо получалось: часам к трем посещает тебя какая-то легкость, отстраненность, оторванность от мира, и слова возникают не в мозгу, а словно сами по себе стекают из-под шарика ручки, и назавтра смотришь на текст, как на чужой, и ясно видишь, что в нем хорошо, что плохо. Или отправить Наталью домой, к бабушке?..

Наталья, издалека распознав характерный шум логова, встречала нас на лестничной площадке, в проеме открытой двери, и мне не очень понравились взгляды, которыми обменялись они с Волком. Нет-нет, хотел было я ответить на наташкино предложение, хотя под ложечкою и посасывало. Нет-нет, спасибо, Наташенька —

какой же может быть после всего этого обед? но, едва открыл рот, Волк, из-за которого я, собственно, и деликатничал, опередил, сказал: да, спасибо, с удовольствием, и даже не удержался от стандартного своего каламбура, сопровождаемого губною улыбкою: голоден как волк. Когда ж ты успела сварить обед? спросил я. Опять не ходила в институт? А на первом курсе это... А!.. — махнула рукою Наталья, тоже мне обед... Финская куриная лапша из пакетика, пельмени, сыр, колбаска, растворимый кофе на десерт — приготовление всего этого действительно не требовало много времени и сил.

Скорбно и деликатно молчали только за супом, потом все же разговорились. Почему ты покупаешь растворимый? начала Наташка. Это ж бурда! Ни вкуса, ни запаха, и пошла болтовня о том, что наш кофе вообще пить невозможно, что, дескать, еще в Одессе, не распечатывая мешков, погружают их в какой-то специальный раствор, и весь кофеин из зерен извлекается на нужды фармацевтической промышленности... А может, и правильно, что болтаем? главное только — чтобы не о веревке в доме повешенного, подумал я и сам же, не заметя, а когда заметил — поздно было останавливаться, еще не деликатнее — о веревке и заговорил, припомнив услышанный на днях случай, который запал в память жутким своим комизмом и буквально символической характерностью: якобы в некоем харьковском НИИ разгорелась борьба за долгосрочную загранкомандировку, и якобы один из претендентов, член партии, кандидат наук и все такое прочее, пустил про другого претендента, члена партии, доктора наук и тоже все такое прочее, слушок, будто тот, доктор, есть тайный еврей по отцу, и слушок дошел куда надо, и у доктора что-то заскрипело с документами, затормозилось, и он, взъярясь, убил кандидата прямо на глазах изумленных сотрудников. *Se non è vero, è ben trovato*, козыряя первыми крохами изучаемого в институте итальянского, за-

ключила мой рассказ Наталья. Если это и неправда, то, во всяком случае, хорошо выдуманно. Да, сказал Водовоз. Сейчас-то уж, надеюсь, о н и меня выпустят.

Я понимал, что, как ни подавлен Волк смертью Митеньки, мысль об исчезновении единственной преграды к эмиграции не могла не являться в его голове, пусть непрошенная, самовольная, ненавистная, — и все-таки, услышав ее высказанную вслух, я гадливо вздрогнул. Нехорошая сцена на кладбище встала перед глазами, и я подумал, что в каком-то смысле не так уж Альбина была и неправа, набросившись на Волка, колотя его крепенькими своими кулачками, крича: убийца! Вон отсюда! как ты посмел приехать?! то есть, разумеется, и права не была, да и не шло ей это, и все же какие-то, пусть метафизические, едва уловимые основания у нее имелись. Волк схватил Альбину за волосы, оттянул голову так, что лицо запрокинулось к серому небу и обнаружился острый кадык на хрупкой шее, и хлестал бывшую жену ладонью по щекам, наотмашь, не владея ли собою, не найдя ли другого способа обороны, просто ли пытаюсь остановить истерику, и тут Людмила Иосифовна, теща-гренадер, джек-потрошитель, бросилась на защиту своей кровинки, но поскользнулась на кладбищенской глине и растянулась в жидкой грязи, юбка и пальто задрались, открыв теплые сиреневые панталоны с начесом, доходящие до колен, панталоны, как-то дисгармонирующие с представлением об интеллигентной еврейской женщине, кандидате медицинских наук. Маленький тесть, Ефим Зельманович, не знал в растерянности, куда броситься: защищать ли дочку от бывшего зятя, поднимать ли стодвадцатикилограммовую свою половинку, а та, пытаясь встать с четверенек, скользя по мокрой коричневой глине коленями и ладошками, пронзительно орала: оттащите мерзавца! оттащите же мерзавца!! убейте, убейте его!!! и крики ее накладывались на визг

дочери и хлопки водовозовских пощечин, и глина выдавливалась между пальцами эдакими тонкими змеяющимися лентами.

После кофе мы с Волком закурили, Наталья стала убирать со стола, мыть посуду. Что же теперь? думал я. Позвать их в кабинет, натужно выдумывать темы для разговора?.. Или телевизор включить, что ли? На часах — самое только начало восьмого... — и тут Наталья, оторвавшись от раковины, выручила меня, но так, что лучше бы и не выручала: я покраснел, готовый сквозь землю провалиться от ее бестактности: папочка, мы с Волком Дмитриевичем сходим, пожалуй, в кино. Тут у нас какая-то новая французская комедия — *Никаких проблем!*.. Надо же ему немного развеяться! Как, Волк Дмитриевич, идемте? Я думал: Волк сейчас убьет ее на месте, убьет — и будет прав, но он только улыбнулся — снова одними губами — и сказал: что ж... если новая... Ты с нами не хочешь? Не прийдя еще в себя, я пробормотал, что лучше, пожалуй, поработаю, и они с облегчением пошли одеваться.

Хлопнула дверь за их спинами — я остался в квартире один. Зажег обе настольные лампы, задернул плотную штору — где-то внизу, далеко, взревело мотором логово и смолкло, укатив. Последние годы я совсем плохо переносил пасмурную московскую осень, вернее, ее дни: болела голова, слабость и лень растекались по телу, невозможно, казалось, заставить себя ни взяться за что-нибудь, ни выйти на улицу, но, едва опускалась на город полная тьма, скрывая низкие, задевающие за шпили сталинских небоскребов тучи, ко мне обычно возвращалась бодрость, работоспособность, и окна я завешивал по привычке, а не из желания отгородиться от погоды. Сейчас, конечно, было не то: никакая работа в голову не шла, я тупо перебирал на столе листы неоконченной статьи для *Науки и жизни*, а сам думал о Волке, о его отце, о его сыне, обо всей этой кошмарной истории.

Наконец, отодвинув статью в сторону, я достал из дальнего уголка нижнего ящика хрупкие, пожелтевшие по краям заметки к ненаписанной книге, и передо мною пошли в беспорядке; тесня друг друга, ее запахи, ландшафты, интерьеры, ее герои... Рвались рядом с поручиком Водовозовым, копающимся в моторе броневика, немецкие бомбы и выпускали желтоватый ядовитый газ; теснились толпы на севастопольской пристани, давя людей, спихивая их с мостков в узкую щель подернутого радужным мазутом моря; где-то на Больших бульварах полковник-таксист исповедовался бывшему своему подчиненному в грехах и горестях парижской жизни и просил денег; высокие дубовые двери советского посольства пахли распускающимися почками весенних берез, но этот запах перебивался запахами пота и переполненной параша, которыми шибала в нос под завязку набитая людьми лубянская камера; предводимая старшим лейтенантом Хромым, безжалостно сжимала кольцо вокруг оголодавшей волчьей стаи облава — *тот, которому я предназначен... усмехнулся... и поднял... р-р-р-ужье...* — и зимняя тайга потрескивала под пятидесятиградусным безветренным морозом, но, в первоначальных, шоковых слезах и народной скорби, приходил-таки март, и, с огромным, правда, замедлением — почти год спустя — радость и надежды этого марта выплескивались на праздновании никого в Ново-Троицком не волнующего воссоединения с Украиной, и висели по улицам древнерусские щиты из фанеры с цифрами 1654—1954, и трепыхали флаги, и раскатывали веселые, украшенные еловыми лапами и цветами из жатой бумаги поезда саней, и шла в клубе «Свадьба с приданым». *Хорошо нам жить на свете, = беспокойным, ма-а-ла-а-дым...* пела артистка Васильева через повешенный на площади колокол. Но и праздник кончался — одно похмелье тянулось бесконечно, и в едком его чаду плыли, покачиваясь, лица Зои Степановны и умирающего от рака отставного

капитана-речника; лица Фани с Аб'гамчиком; лица распорядительных профкомовцев, несущих к автобусу заваленный георгинами и гладиолусами гроб с телом георгиевского кавалера; и лицо Гали-хромоножки, молоденькой фрезеровщицы с ГАЗа, первой волковой женщины, оставленной им через четыре месяца после того зимнего вечера со снежком, синкопированно похрустывающим под ногами, лица...

Снова хлопнула дверь — я так увлекся, что и не слышал подъехавшего логова, — и Волк с Натальей проскользнули на цыпочках в спальню, словно бы для того, чтобы не мешать мне работать. Теперь онемела и ненаписанная книга, и единственное, о чем я мог думать: что? что происходит за увешанною чешскими полками стеною, за тонкой дверью из прессованных опилок? Только думать: постучать, позвать, войти туда — на это я не решился бы никогда.

Наверное, с час просидел я за столом, тупо уставясь на узкую полоску ночного неба, проглядывающего в створе штор, потом лег, не раздеваясь, на диван, лицом к спинке, и — самое смешное — заснул.

13. ВОДОВОЗОВ

Наталья хорошо умела пользоваться положением единственной и любимой дочери разошедшихся и не поддерживающих отношений родителей, обоих — журналистов с частыми командировками — и, говоря отцу, что она у матери, а матери, что у отца, распоряжалась собою, как считала нужным. Вот, например, Крившину, спросившему у нее, не пропустила ли она институт, и в голову, вероятно, не могло прийти, что Наталья почти полную неделю прожила со мною на даче — правда, должен заметить — вполне целомудренную неделю, целомудренную, несмотря на влюбленный восторг, с которым неизвестно почему ко мне относилась, и вопреки

моему умозрительному представлению о современных акселератках, вдобавок так вольно воспитывающихся. Однажды, правда, я попытался ее поцеловать в расчете на удовольствие не столько для себя, сколько для нее, но она вспыхнула вся, задрожала, отпихнула меня и заплакала — это при том, что поцелуя и, может, даже большего, чем поцелуй, в глубине души, безусловно желала: организм, девственный ее организм бунтовал сам по себе. Не могу сказать, чтобы ночами, проведенными вдвоем с Натальей на даче, меня не посещали эротические видения, порою довольно сильные, но с искушением встать с постели и подняться в мансарду я справлялся сравнительно легко, потому что ясно понимал бесперспективность для себя, а стало быть — невыносимость для нее — такого романа. Не знаю, справился бы с собою, если б она спустилась ко мне, но к этому она там, на даче, казалась еще совершенно не готовой. Три же дня назад, со смертью Митеньки, в Наталье, по-моему, произошла некоторая перемена: ее посетило интуитивное прозрение, что я не просто осиротевший отец, а еще и намеренный виновник собственного сиротства — то есть она разглядела во мне у б и й ц у. Это, надо думать, прибавило мне привлекательности в ее глазах — бабы падки на соленькое, — и Наталья, кажется, решила с организмом своим все-таки совладать и меня не упустить ни в коем случае. Мы сидели в кино, и она сначала робко, не зная, как я отреагирую, а потом, когда узнала — все смелее и настойчивее ласкала мою руку, но прикосновения мягких, нежных подушечек ее пальцев, резко отличающихся от мозолистых, загрубевших подушечек гитаристки Альбины, отнюдь не отвлекали меня от экрана, и я с интересом следил за героями картины, которые, не зная, куда пристроить случайный труп, долго возили его в багажнике машины и, наконец, устанавливали снежной бабою с метлою в руках и кастрюлькою на голове где-то в горах, в Швейцарии. *Была я баба*

нежная, пела некогда Альбина, а стала баба снежная. В общем, фильм оказался милым чрезвычайно, из области черного юмора — даже странно, что его крутили у нас: Никаких проблем!..

В логове, после кино, Наталья провоцировала меня целоваться, губы ее были так же нежны и мягки, как подушечки пальцев, и так же мало производили на меня впечатления. Человек довольно холодный от природы, я никогда в жизни — даже в шестнадцать — не терял головы от женских прикосновений и поцелуев, никогда не отключался полностью, никогда не доходил до бесконтрольности — но сейчас меня самого удивила степень моего безразличия: дыхание не сбивалось, кровь не прилиwała к голове, и, главное, не... ну, словом, не происходило основной физиологической перемены: индикатор возбуждения пребывал в абсолютном покое. Удивила, но покуда особенно не встревожила: мало ли что — похороны, устал. И только часом позже, в крившинской спальне, когда Наталья завела руки за спину, под свитерок, щелкнула пряжкой лифчика и, закатав свитерок вместе с лифчиком под горло, выставила мне для обозрения, для поцелуев, для ласк свои крепкие, довольно большие груди, а я снова ничего, в сущности, не испытал, — только тогда я дал себе ясный отчет, не поддаваясь больше искушению объяснить мой индифферентизм особым состоянием после смерти сына и похорон, после долгой, наконец, болезни, что с э т и м д е л о м отныне для меня кончено, что вот оно — мое наказание, плата за отъезд, за свободу жизни, за свободу творчества — и похолодел от ужаса. Бог с ними, мне не жалко э т и х радостей — я попользовался ими довольно, но, оказывается, убивая Митеньку, я хранил глубоко в душе надежду, что, уехав, сотворю где-нибудь там, в Америке, нового сына, другого, потому что должен же быть у меня сын, должен быть кто-то, кто переймет мою жизнь, мое д е л о — Водовозовъ и сынъ — как

же иначе?! Я смотрел на наташкину грудь, гладил ее пальцем, проходя по нулевому меридиану, через сосок, который, давно взбухший и напряженный, в секунды прикосновений напрягался еще, казалось, сильнее, вздрагивал, — из последних сил отчаянья пытался я возбудить себя, но не получалось, и только всплывала в памяти другая грудь, которая могла бы выкормить — но не выкормила — другого моего сына, грудь, выпростанная не из французского лифчика, купленного в *Березке* на чеки Внешпосылторга, а из полотняного, за тринадцать рублей семьдесят копеек в старом масштабе цен, с тремя кальсонными, обшитыми белой бязью, пуговками — грудь Гали, фрезеровщицы с ГАЗа, первой моей женщины.

У нее было нежное, немного осунувшееся лицо, покрытое патиною страдания — прекрасное лицо с огромными глазами, — и я, студент-первокурсник, полтора года вынужденный по хрущевской задумке работать в вонючем цехе у вонючего станка, — я отрывал взгляд от суппорта и долгими десятиминутками смотрел, ничего в страдании покуда не понимая, на эти темно-серые глаза, опущенные к оправке, в которую, одну за одну, безостановочно, бесконечно, с автоматизмом обреченности, вгоняла она гайки, чтобы прорезать коронный паз — я смотрел на Галю, а она, казалось, не обращала на меня никакого внимания. Девочек в цехе работало много: веселых, доступных, часто — недурных собою, и я не раз, зайдя во второй смене, ближе к концу ее, к полуночи, в инструменталку взять резец, заставлял Люську-инструментальщицу, сладострастно пыхтящую с отсидевшим три года слесарем Володькой Хайханом за полусквозным, неплотно уставленным ящичками стеллажом, или кого-нибудь еще, или даже несколько пар сразу, подпITYх, подкуренных, — но к Гале не подходил, не клелся никто, и я поражался этому, потому что даже

тогда понимал, что никакому природному целомудрию не выстоять под ежедневным — годами — напором окружающей социальной среды.

Как-то зимою, после второй смены, я встретил Галю на остановке и, сам не ожидая от себя такой смелости, сказал: пойдем вместе. Я провожу. Пронзительно-трогательным было покорное ее согласие, и мгновенье спустя я понял причину вынужденного целомудрия Гали: она сильно, заметно хромала. Ну и что ж, пытался я оправдать свое невнимание, ибо отступать уже казалось неудобно. Ну и подумаешь! не в хромоте дело! а снег поскрипывал под нашими ногами в неровном, синкопированном ритме.

За тонкой перегородкою ее комнатки — вот как сейчас Крившин — похрапывали бабка и мать, и патина страдания исчезла, стиралась с галиного лица, видного мне даже в полной тьме жарких наших ночей, и мне удивительно, неповторимо хорошо было тогда, и я преисполнялся гордости, едва Галя вытягивала губы, чтобы шепнуть в самое ухо: ты первый! Ты у меня первый и единственный! и я до сих пор злюсь на себя за то, что, всякий раз, когда вспоминаю ее, в голову непрошено и неостановимо лезет старый анекдот про прекрасную лицом, но безногую кассиршу, которая приводит мужика — вернее, он ее, держа за руку, п р и в о з и т на тележке в укромный уголок, к забору, где у нее заранее приколочен гвоздь: мужик для удобства сексуального контакта вешает кассиршу по ее просьбе за специальную петельку, пришитую к вороту, на этот гвоздь, а, когда все кончается и он водружает кассиршу назад на тележку, кассирша, рыдая, начинает причитать: ты первый, ты первый! — и на его удивленный взгляд поясняет: ты первый с н я л м е н я с г в о з д и к а!

Я помню себя, дурак дураком стоящего на тротуаре, мнущего в потном кулаке жухлые стебли цветов, которыми, пытаюсь успокоить совесть, встретил я Галю у

больницы после аборта и которые она отказалась принять, — стоял и смотрел, как удаляется она, особенно сильно прихрамывая, и, хоть и не обернулась ни разу — ясно вижу удивительное ее лицо, удивительное и отныне абсолютно, невозстановимо для меня чужое. Но мог ли я поступить по-другому, мог ли снять ее с гвоздика? — у меня были планы, идеи, у меня было д е л о, и, если угодно, не сам я его себе выбрал, выдумал — Бог призвал меня к нему, не знаю зачем, но, видно, понадобились Ему не только души, но и железная эта рухлядь, автомобили, раз вложил Он в меня именно такой талант, а не Он ли Сам и говорил: жено, что Мне до тебя? не Сам ли говорил: оставьте все и идите за Мною! — так что я просто н е и м е л п р а в а так рано, так опрометчиво связывать себя. Не исключено, что у меня достало бы сил пережить хромоту Гали, которою, вероятно, безмолвно упрекал бы меня каждый встречный до самой смерти, но Галя была из другого круга, из другого существования, была из тех, кто обречен всю жизнь провести у станка или конвейера, и хотя с гуманистической, личностной точки зрения оправдать такую пытку, бессрочную такую каторгу невозможно — с точки зрения профессиональной, инженерской — без этих людей стало бы производство, то есть, чтобы я мог творить, чтобы мои автомобили, радуя глаз и душу, радуя Бога, в конце концов! разбегались по путаной паутине дорог, нужны миллионы галь-хромоножек, годами, десятилетиями прорезающих одни и те же пазы в коронах одних и тех же гаек...

Наталья находилась уже во власти необоримого возбуждения, когда море по колено и подай что хочу, возбуждения, впрочем, неподдельного, невыдуманного, и всем поведением требовала, чтобы я в з я л ее — а я бы и рад, но не мог, н е ч е м! — а Наталья бормотала, объясняя, что она ничего не боится, ничего от меня не требует, что отец спит и не услышит, и я, не сказав ни

слова, потому что не знал, что выдумать, а правде она бы не поверила, вырвался от нее, выбежал из квартиры, из дома, завел логово и, скрипя зубами, гонял на нем весь остаток ночи по Москве, имея за спиною обиженную женщину, не ставшую женщиной, еще одну врагиню мою на всю жизнь. —

Задолго, часа за полтора до открытия и за два до рассвета, стоял я у ОВИРа, поджидая Настю, капитана Голубчик, и вот она появилась в коричневой своей дубленочке, помахивая сумкой, и приветливо качнула рукою — у меня камень с души свалился, — здороваясь и приглашая войти. Оказавшись в ее кабинете, куда она привела меня под завистливыми взглядами целой ватаги ожидающих решения евреев, я протянул свидетельство о смерти Митеньки — Голубчик схватила бумажку жадно, словно изголодавшийся — кусок хлеба, и, не выпуская из руки, другою нашарила в ящике заполненный бланк разрешения, датированный днем рождения-смерти моего сына.

У самых дверей настиг меня оклик: капитан Голубчик протягивала мне пакет, такой, какие обычно выдают в прачечных и химчистках. Я машинально взял его и вышел наружу. В логове я развязал шпагат, развернул бумагу, догадываясь уже, что я увижу под нею. Действительно: вычищенная, выстиранная, выглаженная, лежала там моя одежда, несколько недель назад оставленная при позорном бегстве из домика на Садовом.

14. КРИВШИН

Когда я проснулся наутро после митенькиных похорон, Наталья преспокойно спала в моей постели, а Волка уже не было: он явился позже, часов в одиннадцать. А покуда я с пристальностью маньяка вглядывался в подушку, пытаюсь угадать на ней отпечаток второй головы, и так и не

угадав, но и не уверившись в его отсутствии, долго исследовал потом, когда Наталья ушла на занятия, простыню в поисках разгадки тайны минувшей ночи.

Возбужденный, словно в лихорадке, Волк принес, сжимая в руке, как голодный — кусок хлеба, бумажку разрешения и стал второпях кидать в чемодан те немногие свои вещи, что хранились у меня. Попросил денег на билет и на визу — мы еще прежде с ним уговаривались — и сказал, что попробует улететь послезавтра, благо с таможеню почти никаких дел. А к матери? удивился я с оттенком укора. Ты ж собирался съездить к матери, попрощаться. Не могу, ответил Волк. Не успеваю. Со дня на день начнется следствие, и тогда уж меня не то что з а границу — переместят в точку, равноудаленную ото всех границ вообще. Ты что, сбил кого-нибудь? Волк отрицательно мотнул головою и на полном серьезе, тоном не то исповеди, не то заговора пустился рассказывать про домик на Садовом, про стенгазету «Шабаш», про дядю Васю с деревянным копытом, про «Молодую гвардию», про Настю Голубчик, про то, как готовил он и осуществлял сыноубийство и все такое подобное. Ах, вот оно в чем дело! — случайный виновник трагической гибели своего ребенка, которой, конечно же, всерьез никогда не желал, сейчас Водовозов платил бредом, кошмаром, безумием за неподконтрольные промельки страшных мыслей, страшных планов, — вот оно в чем дело! — и я по возможности осторожно и до идиотизма убедительно принялся разуверять Волка, объяснять про последствия менингита, про результаты гаишной экспертизы, про то, наконец, что наше сугубо трезвое, до дураковатости трезвое государство в принципе, по определению, не может держать на службе ведьм и прочей нечисти; потому что никакую романтику и чертовщину оно у себя не потерпит, — но Волк только ухмылялся, глядя как на сумасшедшего на меня, а потом и сказал: ну хорошо же, смотри, я принесу тебе вещественные доказательства. И убежал вниз, а я,

опасаясь, не наделает ли он чего, не бежать ли за ним вдогонку, я, кляня себя за вчерашнее против него, больного человека, раздражение, перебирая в голове имена знакомых: нет ли у кого с в о е г о психиатра, — сидел растерянный посреди кабинета. Водовозов вернулся, держа в вытянутых руках заплатанные джинсы, ботинки, носки, еще что-то — трусы, кажется, — протянул мне все это с победной улыбкою: дескать, теперь-то ты видишь, в своем я уме или не в своем? — но я не стал расспрашивать, какое отношение имеют бебехи к тому, что он мне рассказывал, — у меня просто не осталось уже сил выслушивать суперлогичнейшие его объяснения.

Так он, кажется, и у е х а л: убежденный в своей преступности и в существовании ведьм. А ведь когда-то он говорил о Боге, говорил, что Бог — это талантливый Генеральный Конструктор, и, творчески разрабатывая узлы и агрегаты Его замечательной машины, хоть до конца ее и не понимаешь, подчиняешься Его идеям, Его воле с истинным наслаждением, с наслаждением и удовольствием еще и от сознания, что в своем-то узле, в своем агрегате разбираешься лучше, чем Он Сам, и без твоей помощи, без таких, как ты, Генеральный, может, просидел бы над чертежами Своей машины так долго, что они устарели бы много прежде, чем реализовались в материале.

Из Вены Водовозов позвонил, из Рима прислал пару открыток, письмо и цветные фотографии себя на фоне Колизея и Трояновой колонны, из Штатов тоже прислал пару открыток с интервалом месяцев, кажется, в семь и посылку с джинсами для меня и для Натальи — на этом корреспонденции его закончились. Время от времени доходили слухи о нем, противоречивые, как всякие слухи вообще: то ли он устроился где-то инженером, то ли, продав несколько своих изобретений, основал небольшое покуда, но собственное д е л о, впрочем, кажется,

не целиком автомобильное, а только моторное или чуть ли не карбюраторное, впрочем, может, это и обыкновенная ремонтная мастерская. И еще: будто бы он собрался жениться, но не смог из-за импотенции и будто все свободное время и все деньги тратит на походы к врачам — к психоаналитикам и прочим; во всяком случае, у одного из психоаналитиков, русско-еврейского эмигранта, он вроде бы был точно.

И зачем так манит свет иных земель? — еще две тысячи лет назад горько спросил Гораций. От себя едва ли бегством спасемся.

15. ПОСЛЕСЛОВИЕ КРИВШИНА

А впрочем, я не знаю. Ничего не знаю. Не имею понятия. Надо уезжать, не надо уезжать... Хотя вопрос на сегодняшний день почти академический, ретро-вопрос: выпускать-то, в сущности, перестали. И все-таки — каждый представляет собственный резон, с каждым поневоле соглашаешься. Даже с теми, кто перестал выпускать.

Вот недавно прошла у нас картина. Немецко-венгерская. *Мефистофель*, по Клаусу Манну. Там прямо и однозначно утверждается, что в тоталитарном государстве о с т а в а т ь с я безнравственно, что это приводит к гибели, духовной или биологической. Им-то хорошо утверждать сейчас, исторически зная, что национал-социалистической Германии отпущено было всего-навсего тринадцать лет — срок, с человеческой жизнью соизмеримый. А ежели позади более полувека интернационал-социализма и неизвестно сколько впереди?..

Одна итальяночка-славистка, специалистка по русскому аргю, моя приятельница, посидев на московской кухне и наслушавшись этих вот споров и бесед, приподняла свои южноевропейские бровки и тихо, на ухо, чтобы непонятных славян ненароком не обидеть, шепнула:

что за вопрос? У вас ведь ж р а т ь нечего! Конечно, надо с м ы в а т ь с я . С в а л и т ь да переждать. Переждать...

Не-ет! Мы, русские, если даже и евреи, — мы люди исключительно духовные, мы так, по-западному прагматично, проблему ни ставить, ни решать не можем, мы погружаемся во тьму метафизики, оперируем акушерско-гинекологическим понятием родина, словами национальность, свобода, космополитизм и поглощаем при этом огромные количества бормотухи за рубль сорок семь копеек бутылка. Нам заранее грезятся ностальгические березки, которых, говорят, что в ФРГ, что во Франции, что в Канаде, — хоть завались, да ночная Фрунзенская набережная. Я вот тут однажды, излагает толстенькая тридцатилетняя девица, на которой чудом не лопаются по всем швам джинсы «Леви-страусс», я вот тут однажды четыре месяца в Ташкенте провела — так по Красной площади соскучилась — передать нельзя. Приеду, думала, в Москву — первым делом туда. Ну и как? Что как? Красная площадь. Да какая там площадь! До площади ли? Закрутилась. Дела.

Евреям хорошо, евреям просто, философствуем мы. Евреям е х а т ь можно. Им даже нужно е х а т ь. Особенно кто к себе, в Израиль, воссоздавать историческую, так сказать, родину. Это и метафизично, и благородно, и высоко. Высоко?! Да что вы об Израиле знаете? Егупец! Касриловка! Провинциальное местечко хуже Кишинева! Ладно-ладно, успокойтесь! Если и не Израиль — тоже и можно, и метафизично: вы ведь тут, в России, все равно гостили. Двести—триста лет погостили т у т, следующие двести—триста погостите т а м, а дальше видно будет. Могилы предков? А в какой стране их только нету — могил еврейских предков?! И потом: дедушка ваш где-нибудь, скажем, под Магаданом похоронен (это если повезло, если знаете, что под Магаданом и где именно под Магаданом). Так ведь до Магадана-то что из

Москвы, что из Парижа — приблизительно одинаково. А из Калифорнии — так, пожалуй что, еще и ближе. А что из Парижа или из Калифорнии не в п у с т я т — так из Москвы и сами не поедете: дорого, да и глупо. Закрутитесь. Дела.

Не скажите! Это если вы торговый, положим, работник, ну, врач на худой конец, инженер там, архитектор — а если писатель? артист? Мефистофель, словом? Ведь существуют же язык, культура, среда! К у л ь т у р а ?? З д е с ь ?! Ради детей, ради детей надо ехать! И что, что писатель? Писатель может работать и в эмиграции. Даже еще и лучше. Возьмите Гоголя, возьмите Тургенева! А Бродский! А С о л ж е н и ц ы н !! Для будущей свободы! Работали уже в эмиграции для будущей свободы, знаем. Такую свободу устроили — шестьдесят шестой год не можем в себя прийти...

И тут у каждого из кармана фирменного вельветового пиджака или (смотря по полу) из березочной сумочки появляется потертый на сгибах конверт с иностранными марками, а то и пачка конвертов, и наперебой, захлеб зачитываются опровергающие друг друга цитаты из письма Изи, из письма Бори, из письма Эммы... что, дескать, во всем Нью-Йорке ни одного такого шикарного кинотеатра нету, как *Ударник*, но что зато, наоборот, круглый год и почти даром всякие бананы и ананасы, однако, увы, грязь, мусор, шпана — прямо Сокольники двадцатых годов, и от негров и пуэрториканцев не продохнуть... пока кто-нибудь безапелляционно не изречет всепримиряющую мудрость: те, кто едет туда — тем там плохо, а те, кто уезжает отсюда — тем другое дело, тем там отлично...

Ах эти московские кухоньки! Может, их-то больше всего и боятся потерять немолодые наши философы — не березки (разве *Березки*), не Красную площадь и не Фрунзенскую набережную, а вот именно кухоньки, на которых — будь за стеною хоть пятикомнатная кварти-

ра — по почти генетической коммунальной привязанности проводят они в разговорах долгие темные ночи, и снег танцует где-то далеко внизу, в желтом свете одинокого заоконного фонаря, и дождь гулко барабанит по жестяному подоконнику, и бесконечно бубнит радио: универсальное средство против вездесущих подслушивающих устройств зловещего кэй-джи-би, которому, разумеется, только и дела, что интересоваться занудными разговорами — может, их, эти кухоньки, больше всего и боятся потерять наши философы. А может, и не их. Я не знаю.

Я, повторяю, не знаю! Надо уезжать, не надо... До сих пор не могу составить окончательное мнение, действительно ли спасти пытался Волка, намекая Людмиле Иосифовне, чтобы она нажала на дочку в смысле алиментного заявления в ОВИР, или поддался власти каких-то темных, отвратительных сил, которые, несомненно, присутствуют в моей психике. Во всяком случае, действовал я безусловно искренне, хоть, может, скажу еще раз — не Бог весть как порядочно, — но вот счастливее ли жилось бы Водовозову, сохрани он сына, останься на родине, или нет — я не знаю. Не знаю. Не имею понятия.

Несколько дней назад позван был в гости на и н о с т р а н ц е в хозяйкою известного светского салона Юной Модестовной. Стол ломится: икра, рыбка, все такое прочее. Бастурма из «Армении». Водка с в и н т о м из Розенлева — холодная, запотевшая. Белая лошадь. Камю Наполеон. Иностранцы: новый французский культуратташе с женою. Бездна обаяния, живо-сти: прямо Жан-Поль Бельмондо и Анни Жирардо. По-русски чешут лучше Юны Модестовны. Выясняется исто-рия: семья Бельмондо сто двадцать лет прожила в России, в эмиграции — от своей революции до нашей. С какими-то русскими даже роднились; с французами — с соотечест-венниками, так сказать — воевали дважды: в двенадцатом

и в пятьдесят четвертом. Восемьсот, разумеется. Кто-то из боковой линии в кружке Буташевича-Петрашевского состоял, после чего был разжалован в солдаты и погиб на Кавказе. А Жирардо ни много ни мало — внучка того самого Голицына. Наполовину русская, наполовину... представьте, еврейка. Вот так. Такая вот эмигрантская история. Ну, и чего тут поймешь? Надо ехать, не надо...

А водовозовский случай рассказал я вам потому только, что был ему свидетелем. Рассказал просто так. Без выводов.¹

1983г.

¹ В повести содержатся цитаты из Книги Бытия, из песни В.Высоцкого «Охота на волков», из «Старинной студенческой песни» Б.Окуджавы, из песен В.Долиной.

Геннадий Молчанов

Среди множества рукописей, вывезенных мною из Москвы, оказался и сборник стихов Геннадия Молчанова с размашистой надписью наискосок через всю первую страницу: «Владимиру Максиму от уральского тунейдца, уголовника, автора этого сборника, на добрую память. Москва. 16.4.90.»

Профессиональные ценители мне могут сказать, что к поэзии как таковой это не имеет никакого отношения. И будут правы. И не правы! Ибо чувствуется в этих незамысловатых тюремных виршах такая боль, такая выстраданность, такая разрывающая душу самоирония, какие заставляют думать: сложись у этого человека жизнь по-иному, из него, может быть, в конце концов состоялся бы настоящий поэт.

Но я предлагаю читателю судить самому.

Владимир Максимов

Из тетради «СОВЕТСКИЕ КОНЦЛАГЕРЯ»

«Не судите, да не судимы будете;
Ибо каким судом судите, таким будете судимы;
И какою мерою мерите, такую

и вам будут мерить».

Евангелие от Матфея, гл.7, ст.1—2

«Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время,
в котором пусты лагеря...»

Е.Евтушенко. «Наследники Сталина»

ВОПРОС

Я очень уважаю
поэта Евтушенко.
Стихи его о Сталине
мне душу рвут не зря.

Но есть вопрос: пожалуйста,
скажите откровенно,
когда
и где
видали Вы
п у с т ы е лагеря?

17.12.87 г.
г.Орск

* * *

«...а я простой советский заключенный,
и мне товарищ — серый брянский волк».
Юз Алешковский

Тебе, братан, судьба — одна, а мне — иная:
ты часто вверх взлетал, я часто падал вниз.
Трудился честно ты для родины, я знаю,
и твердо верил в то, что строил коммунизм.

Помнишь ты Комсомольск-на-Амуре,
Днепрогэс и Магнитку, мой брат,
целину, космодром в Байконуре;
помнишь БАМовский громкий парад.

Я повидал совсем не те картины жизни,
исколесив страну великую мою;
я также вкалывал на стройках коммунизма:
об этих стройках в ваших песнях не поют.

Помню я лагеря на Урале,
ночь колымскую, Ванинский порт,
грязь и кровь в Беломорском канале,
где дружка расстреляли в упор.

Я, как умею, разрешу свои заботы.
Ты в этой жизни счастье сам себе куешь...
Есть в Бухенвальде где-то надпись на воротах—
она проста, братуха, — «КАЖДОМУ СВОЕ».

март 1989 г.
г.Орск

МОРАЛЬНЫЙ КАЛЕКА

Я под луной с любимой не гулял,
не слушал песен настоящих соловьиных,
я в губы девушек совсем не целовал,
и лишь в мечтах я раздевал своих любимых.

Мне совершеннолетие справляли
в колонии несовершеннолетних:
и кулаками, и пинками поздравляли,
и вышибали иллюзии последние.

Я не ходил с любимой девушкой в кино,
не спал с любимой звездными ночами,
я по утрам не провожал ее домой,
и никогда мы с ней рассветы не встречали.

Недолго таяли надежда, вера к людям,
но идеалы рушились годами.
Мою мораль мне вытравили судьи,
а «педагоги» веру выбили ногами...

июнь 1987 г.
г.Орск

(В нашей стране, в тюремных камерах, радиодинамики вмонтированы в стену и закрыты металлическими щитами с просверленными дырками. Администрация тюрем по своему усмотрению включает и выключает радиотрансляцию.)

ДАЙТЕ МНЕ МИКРОФОН

Здесь, в камере, радио слишком речисто,
его не отключишь, вещает весь день.
Приходится слушать и песни артистов,
и строгие речи господ коммунистов,
и лидеров партии, то есть вождей.

Поют о героях труда, о природе,
поют о любви: все знакомый мотив.
Толкуют в речах о правах, о свободе,
о счастье, о мире, твердят о народе,
о том, что отчизна на верном пути...

.

А мне микрофон бы. Сказал бы все сразу —
об этом по радио не говорят, —
при наших «гуманных» законах, указах,
с е г о д н я все тюрьмы полны до отказа,
и так же набиты битком лагеря.

Сегодня советского права машина
людей, словно мусор, сгребает гурьбой;
мешает всех в кучу — виновных, безвинных
и, судей растлив, растлевает судимых,
штампуя моральных калек и рабов.

И песню свободы на траурной ноте
я спел бы, оставив тюремный жаргон.
Уже правовая реформа « на взлете»,
слова «демократия», «гласность» в почете,
но мне, как всегда... не дают микрофон.

08.08.88 г.

г.Орск

* * *

По всей стране который год подряд
гуляют о свободе разговоры.
Лишь у меня на сердце лагеря
и черные колючие заборы.

Полжизни пролетело в тех местах;
душа и память сплошь в татуировках:
наколоты и каждый мой этап,
и каждая моя «командировка».

Я помню: мы шагали, как слепцы,
из «воронка» под дула автоматов;
конвойные натасканные псы,
оскалив пасти, нас встречали матом;

какой-то мальчик звонко прокричал:
«Смотри-ка, мам, ведут куда-то пленных!»
Мальчишка тот мне снится по ночам,
и тот же крик я слышу неизменно.

И мне ночами снятся до сих пор
все приговоры с самой малолетки;
большой пустой тюремный коридор;
свет фонарей вдоль лагерной запретки.

*13.08.89 г.
г.Орск*

ТАМ НЕДАЛЕКО...

Мечтали в детстве мы о синих океанах,
о путешествиях на самый край земли,
но не судьба нам — разъезжать по разным странам:
недалеко нас и надолго увезли.

Судьба и Время засыпают под забором
в неотдаленных и неблизких тех местах,
где телеграфная прогнившая опора
преображается в Распятого Христа.

Там вечерами шум: то песенки, то ругань;
днем визг пилы, что бревна режет на бруски.
Там люди рвут куски из глоток друг у друга,
бывает, убивают за куски.

Там вдоль гнилых опор, похожих на распятия,
путь на работу завершают, как обряд,
слова, застывшие на стареньком плакате:
«Ведет к свободе нас дорога Октября».

.

...и прозвенел звонок: я вроде на свободе.
Я снова здесь, — но что-то здесь, как там.
При выходе опора иль при входе?..
...преображенная в Распятого Христа.

И здесь кругом плакаты, лозунги и флаги.
смотрю. И кажется мне, что у них в руках
вся наша Родина — один большой концлагерь,
а весь народ — один большой ЗК.

1976 г. п/я ЮК

1987 г. г.Орск

КАПИТАН ДИМЫЧ

Как часто случается: встретишь на улице знакомое лицо и долго пытаешься вспомнить, где же его видел, а вспомнив, понимаешь, что уже поздно, человек уехал, ушел или просто растворился в толпе.

Так было и со мной в тот дождливый осенний вечер, когда я шла по сверкающей от витрин и фонарей улице, прячась под зонтом от взглядов прохожих, которые куда-то спешили, и думала о том, о чем в последнее время думалось особенно часто: о том, как же все продумано в природе, связано, мудро и удивительно слаженно. Вот люди, они спешат по мокрым улицам, прыгают через лужи, стараясь не замочить туфли; выстаивают длинные очереди за коробкой конфет или куском сыра, а может, и просто за хлебом. Внешне очень отрешенные от всех и вся, они упорно и целенаправленно движутся по своим четким и только им известным пунктирам и в конечном счете обязательно окажутся там, где их — даже кратковременное — отсутствие образовало пустоту, брешь, которая непременно заполнится. Даже если человек одинок и живет в маленькой квартирке; даже если он не общается с соседями и у него нет телефона — все равно, его ждут его вещи, его письменный стол, за которым он работает или пишет кому-нибудь письма, или окно, возле которого он подолгу стоит и смотрит сквозь него на окна противоположного дома, думая о чем-то таком, о чем думается только возле этого окна.

Пройдет каких-нибудь три часа, и город опустеет, затеплятся светом окна домов, из открытых форточек потянет вкусными запахами близкого ужина, тише станет на улицах, глуше — голоса, смех...

Рядом остановился автобус, и светлым квадратом легло на асфальт отражение окна, в котором я вдруг увидела лицо. Я сразу узнала его, и за то мгновение, что я смотрела на него, силясь вспомнить имя, такое волнение охватило меня, что я бросилась к еще распахнутым дверям автобуса в надежде успеть прыгнуть на подножку, но они захлопнулись прямо передо мной, безжалостно уводя с собой дорогого мне человека...

Я стояла, и слезы вместе с дождем текли по моим щекам; я плакала в бессилии, понимая, что вряд ли когда еще встречу с ним, ведь не так часто судьба жалуется нам такие встречи. Он уехал, а передо мной все еще стояло его узкое скуластое лицо со сплюснутым носом и черными, в добром прищуре, глазами. Капитан Димыч, как же давно это все было...

Я училась на первом курсе университета. Вернее, нет, именно в то время я уже не училась, потому что у меня были каникулы. Стоял теплый, солнечный июль...

Летом родители всегда звали меня на дачу, считая это лучшим и наиболее благотворным отдыхом. Но там для меня была такая скучища! К тому же за свежий воздух и клубнику приходилось расплачиваться утренней и вечерней прополкой. Обычно мне поручали свеклу или укроп, потому, что, если я повыдергиваю по рассеянности что-нибудь полезное вместо сорняков, это не так ощутимо отразится на общем урожае. Наверное, поэтому мне не доверяли помидоры и цветы, считая их слишком дорогим удовольствием в смысле выдергивания. А мне же в то время казалось, что я вообще нахожусь еще в таком возрасте, когда меня нельзя трогать, а уж тем более требовать какой-то отдачи, как любил повторять папа. Вот вырасту, говорила я родителям, выучусь, встану на ноги, тогда пожалуйста, давайте мотыгу, лопату, ну я не знаю, что еще, и я вам распахну

и прополю весь огород и сад вместе взятые. А сейчас не трогайте, не надо...

Я не понимала той радости, которая охватывала их, когда мы приезжали на дачу. Да и какая это дача?! По-моему, до сих пор именно она и считается настоящим домом, а городская квартира — так, перевалочный пункт на время зимовки и подготовки к дачному сезону.

А летом наша квартира напоминает фруктовый сад, где на подоконниках сушатся нарезанные на дольки яблоки, на сервантах и шкафах громоздятся большие тазы с вареньем, а кухня вообще похожа на консервный завод, забитый банками, пытящими и кипящими чайниками и кастрюлями с сахарным сиропом.

Зимой все преображалось и жизнь словно замирала до весны. «Зимой я не живу, а существую, — говорила всякий раз мама, когда я тянула ее снежным зимним вечером пройти по белопенному и великолепному в своей нетронутости ботаническому саду, который располагался прямо через дорогу, — поди сама прогуляйся...»

Поэтому зимой мама шила чехлы для кресел и цветное, яркое постельное белье — для дачи. Все в комнате было завешано раскроенными кусками цветной материи, которая, наверно, если посмотреть на нее с улицы, напоминает летний сад или цветочную клумбу. Это был протест холоду, снегу, голым деревьям и уснувшей земле.

Под музыку Изабеллы Юрьевой подрубались новые — но обязательно яркие, веселые — ситцевые занавески; мастерились деревянные рамки для будущих настенных натюрмортов. В ход шли Ватто и Буше, Ренуар и Снейдерс со своей фантастической снедью. Мне лично больше всего нравились женщины Ренуара и гастрономические мотивы Снейдерса. Особенно если я бывала голодна после длительных прогулок по дачным окраинам или после прополки. Перед тем как сесть за стол, я намеренно долго изучала жирные окорока, битую дичь и обилие фруктов на репродукции, доводя себя таким

образом до голодного головокружения, зато потом с особенным удовольствием принималась за еду.

Папа всю зиму ходил в гараж посмотреть нашу старую, но еще очень даже крепкую, машину, а в обед — благо работал он рядом с дачным поселком — поднимался в гору, проваливаясь чуть ли не по пояс в снег, на дачу, проверял, не натворили ли чего бомжи (обыкновенно они высаживали окна и распивали на мамином трельяже яблочное вино; а один раз разошлись, видать, и выпустили перья из двух подушек). Папа не то что «бывал вне себя от ярости», как расценивала его состояние мама, но отпускал в этом случае в адрес незваных гостей такие выражения, которые при других обстоятельствах от папы никогда не услышишь. Да, дача для моих родителей была вторым ребенком. Ведь первым была я.

Так вот, немного о бомжах — интересный народ! Вернее, о нашем соседе, старике Песенсоне, который очень болезненно воспринимал подобные визиты и в конечном итоге нашел средство, раз и навсегда отвадившее бомжей от его дачи. Он сделал очень просто: прямо на дверях дачи прибил добротную, в деревянной рамке, табличку, под стекло которой всякий раз, когда уезжал, вставлял записку приблизительно такого содержания:

«Я приветствую вас, друзья мои! К сожалению, я буду отсутствовать несколько дней, а поэтому не смогу вас лично угостить домашней наливкой, которая находится на летней кухне, под столом, в большой корзине. Ключи от летней кухни, равно, как и от дачи, вы сможете найти справа, на яблонево́й ветке, под куском марли. В холодильнике остатки колбасы, сыр. В комодѣ есть одеяла и чистые наволочки».

Свои послания он обычно заканчивал такими словами: «Пожалуйста, вытирайте ноги и не забудьте, когда будете покидать дом, хорошенько запереть все двери».

Первое время на записки приходили смотреть все соседи. Это было настоящее паломничество. Но главное, что интересовало любопытных, был, конечно сам результат. А он не заставил себя ждать долго. Сначала все так и было: приходили «гости», ели-пили, словом, отдыхали, а потом визиты внезапно прекратились. То ли в бомжах заговорила кровь предков-интеллигентов, то ли такая вседозволенность, доверие и щедрость души хозяйина набила оскомину привычным к острым ощущениям бродягам. Но, так или иначе, старого еврея оставили в покое.

Что-то я отвлеклась, и очень здорово. Но для меня все это важно, чтобы понять и оценить все те события, которые произошли со мной в тот памятный июльский день. И дело, конечно, не в соседе и не в даче, а в том, что это составляло мою жизнь. Нет, я не собираюсь оправдываться, но тот образ жизни, привычки и сложенный механизм каждодневных явлений и последовательных движений моего существа никак не могли повлиять на ход событий того июльского дня. И не потому, что я дурно воспитана, обладаю природной склонностью к пороку или легковерию. Совсем напротив! Я очень доверчива, но часто излишне перестраховываюсь и вообще живу по принципу «береженого — Бог бережет». Но тогда меня сберег не Бог...

Итак, стоял теплый, солнечный июль, и мне позволила моя старая знакомая, Тамара, и предложила прогулку по Волге на катере.

Существует целый ряд настроений, когда любое предложение, будь оно даже связано с бесплатной путевкой в Париж, покажется крайне несвоевременным или кощунственным по своей дерзости. Речь идет о тех мгновениях жизни, когда хочется спрятаться под одеяло, сжаться в комок и отдохнуть от самой себя, от родите-

лей, от всего-всего! И чтобы это мгновение пережить, нужно вытерпеть самое себя, стиснуть зубы и переждать время. Но никто и никогда не знает, сколько придется ждать просветления.

Тогда же у меня, наоборот, было прекрасное настроение, когда хочется стоять на голове, петь, кричать, орать дурацкие песни, врубать на полную мощь магнитофон и до легкой истерии раскачиваться под музыку Пинк Флойд... Еще и солнце разбрызгало свои лучи на стоящий кругом хрусталь, и огненные иглы-спектры пронзили всю комнату. Я не знаю, как кто, а я частенько заряжаюсь от солнца. Когда я вижу позолоченное нежное облако, проплывающее над моим балконом, мне хочется плакать, но я не плачу, а распахиваю глаза и до рези, до красных пятен, впитываю в себя и облако, и кусок насыщенного ультрамарина, и бельевую веревку с оранжевым купальником, и от всего увиденного становлюсь счастливой. И тогда мне кажется непонятным, как же это я, человек, живущий в этом сверкающем, щедром на радость и солнце, мире, могу быть несчастной, могу реветь от каждого пустяка, могу накричать на маму или резко ответить отцу. Такие дни, как правило, не тянутся (говорят же иногда: день прошел), а летят, как облака, подхваченные ветром и согретые солнцем.

Вот и Тамара позвонила мне в один из таких дней, «летающих», дней. Я представила себе серебристую гладь Волги, затуманенные зеленые дали островов и даже почувствовала на своих щеках свежесть, упругость ветра и ледяные капли воды на теле... Со мной такое бывает, я словно переносюсь в то состояние, которое находится на границе с реальностью, и испытываю почти равную радость от испытываемых ощущений, как если бы это происходило на самом деле. Смешно вспоминать, но в детском саду, когда Соня Гришакова (на всю жизнь запомнила ее фамилию) каждый день плевала в меня, демонстрируя щербинку между передними зубами, она

прекрасно знала, что я никогда не пойду жаловаться воспитательнице, но не знала, как я ужасно страдала от того, что не могу плюнуть в ответ. «Давай сдачи», — учил меня папа. Он-то не знал, что в меня плюют, думал, что просто лупят. Легко ему было говорить, но как это сделать? Но один раз, увидев нарисованный на шкафчике лимон, я вдруг так явственно представила его вкус, что поначалу даже испугалась: у меня во рту скопилось столько слюны, что я пожалела, что рядом не оказалось Гришаковой. Я стояла посреди раздевалки и не знала, что мне делать. И не знаю, сколько бы я так простояла, если бы за мной не пришли. Я плюнула в мусорное ведро и всю дорогу до дома изучала себя. Для начала я вызвала в воображении вкус клубники, сливы и торта «Наполеон», но мне это быстро наскучило, и тогда я переключилась на свое тело. Я представила себя кошкой и так увлеклась, что дома, выпив молоко, вытерла и облизала свой рот, словно у меня выросли усы. Наверно, я при этом еще издала какой-нибудь кошачий звук, потому что мама так странно посмотрела на меня, словно разглядела на мне и шерстку в полоску, и на лапках розовые, упругие подушечки...

— А кто будет? — поинтересовалась я. Именно поинтересовалась, но не более. То есть мне было интересно, кто с нами будет еще. Никакой подводной мысли, никаких рифов недоверия, просто интерес. А Тамара почему-то занервничала. Я поняла это по ее тону. И хотя мы с ней не виделись года три, в ее интонациях я еще разбиралась.

— Буду я, — зашебетала она на другом конце провода, и я представила, как она кусает себе кожицу вокруг ногтей. Она всегда грызла свои пальцы, а когда сильно волновалась, то почти до крови, — еще мой знакомый, ты его все равно не знаешь, и капитан, разумеется... Да ты не бойся, компания отличная!

На воре шапка горит, а на Тамаре горело все, и я слышала запах паленого. Почему это я, собственно, должна бояться? Или я Тамару не знаю? Я, конечно, не учла, что за три года с человеком могут произойти такие метаморфозы, какие произошли с ней, все это время жившей под страхом одиночества. Но это я понимаю сейчас, а тогда? Кое-что, конечно, я поняла и тогда, когда увидела ее знакомого. Женатый мужчина, объевшийся и пресытившийся всем, чем только можно себя усладить, — таким показался мне Брич поначалу. «За чем это рабство? — думала я тогда. — Рабство, упакованное в ослепительную парчу под названием «любовь»? Мечтавшая в отрочестве о храмовнике из «Айвенго» Вальтера Скотта, страстном, жестоком и кровожадном, Тамара удивляла меня и тогда. Я же, в отличие от нее, была влюблена в полубеспризорника Федьку, у которого мать пила, а отец сидел, но который был веселым, ласковым мальчиком с грубоватым баском и неистощимой фантазией на проказы.

Мы с Тамарой были разные, но, дополняя друг друга, находили в нашем общении радость от тайных наших любовей, в которые были посвящены и которые переполняли наши восторженные души. Мы жили мечтами и бродили, как бродит молодое вино, опьянев от собственной фантазии и воображения. Читали ли мы одну книгу, смотрели ли фильм — героев выбирали всегда разных, не деля, настолько разными были вкусы и интересы. Даже в цветах, конфетах, в цвете выбираемой материи — во всем расходились.

Сразу после школы Тамара с родителями и сестрой переехала на другой конец города, и мы расстались... почти на три года! Я и сама не могла понять, почему меня к ней не тянет. Неужели, корила я себя, расстояние могло расстроить нашу дружбу, как мне казалось, любовь?! Но Тамарин отъезд не отразился хоть сколько-нибудь на моем душевном самочувствии. Может, еще и

потому, что тогда на смену Феденьке и учителю истории пришел Алик? Алик — это моя вторая любовь, вторая и последняя. Так, во всяком случае, считаю я и до сих пор, а он внимательно смотрит на меня в то время, как я ему это говорю, и как-то странно улыбается. Наверно, хочет показать, что разговоры разговорами, а время покажет. Но я-то понимаю, что он спокоен и уверен во мне, как в себе. Опять я, кажется, отвлеклась...

...Родителям я сказала как есть, и они меня спокойно отпустили. Они знали Тамару, были знакомы с ее родителями. Кстати, насчет родителей, это не пустые слова: для моих предков сведения о семье всегда играли не последнюю роль, даже если девочка, с которой я пошла на каток или ТЮЗ, больше никогда не появится у нас в доме. Мама сказала тогда: «Вот бы и нам занять в знакомых капитана!» На что папа лишь развел руками. Он всегда в подобных случаях затруднялся ответить что-то конкретное и вразумительное, потому что его мысли были всегда чем-нибудь заняты. Он мог думать одновременно о маминых клипсах, которые снова расклеились, о карбюраторе, который тоже требовал ремонта, о помидорах, несколько кустов которых были еще не подвязаны, о новом шланге и моем простуженном горле. Когда же на его мысли наслаивался еще один вопрос, он не умел разом выразить свое отношение ко всему тому, что его занимало в эту минуту, поэтому ему ничего не оставалось, как просто развести руками. Хотя через несколько минут я и услышала:

— Капитан, говоришь? А чем я тебе не капитан? И чем не нравится наша резиновая лодка?!

Собирали меня всей семьей. Мама дала мне свою соломенную шляпу, достала с антресолей ласты, но потом, испугавшись, что в них я смогу далеко уплыть, раздумала и забросила их обратно. Зато принесла от

соседей новенький, апельсинового цвета, спасательный жилет. Мой указательный палец, по дурацкой привычке, потянулся к виску, но, сообразив, что передо мной мама, я положила этот палец в рот и посмотрела на нее очень жалостливо. «Пойми, это будет очень смешно, — говорил мой взгляд, — я буду в своем роскошном бикини и в этом оранжевом непотребе...» Но мамин взгляд был не менее красноречив: «Или ты едешь в этом, как ты выражаешься, непотребе, или остаешься дома. А еще лучше, — тут она нахмурила брови, — поедешь на дачу». Я поняла ее без слов и принялась запихивать жилет в сумку. Отец расщедрился, дал червонец на базар, а к вечеру привез с дачи банку клубники, которую мама тут же перебрала и даже засыпала сахаром (и это при таком-то дефиците!). Я же посчитала главным не забыть взять крем для загара, сланцы и солнцезащитные очки. Купальник, джинсы и белая батистовая рубашка, которая даже в сильном «помытии» имела вполне фирменный вид, были разложены на кресле и ждали своего часа...

Подняли меня в пять, когда на улице, даже в июле, прохладно, серо и нигде не хочется ехать. Но проснись я позже, можно было бы опоздать: встреча была назначена на Музейной площади, а до нее пилить и пилить. К тому же неизвестно, как поведет себя «33-й».

Мама тоже поднялась со мной, пошла на кухню разогревать завтрак, потом сказала мне, чтобы я проследила за курицей, прошла в спальню и уже не вернулась, уснула, бедняжка. Я почему-то хорошо запомнила это утро и маму, сонную и такую домашнюю, родную, такую розовую ото сна и очень озабоченную. Запомнила, наверно, потому, что вечером того же дня, когда я мысленно прощалась с ней, я помнила ее именно такой, утренней и особенно милой, до боли, до слез...

До площади я ехала на пустом автобусе. Ехала и думала о том, что это чудо какое-то — пустой «33-й».

Обычно бывает так необычно, что начинаешь чувствовать себя плоской бездыханной шпротинкой (но это для тех, кто вообще имеет представление о шпротах), сдавленной со всех сторон и залитой чужим едким потом, как оливковым маслом. В «33-м» случались и обмороки, и сердечные приступы, и родовые схватки, и полное протрезвление. А однажды одна старушка и вовсе чуть не померла, так сдавили. Хорошо здесь станция «Скорой помощи» недалеко от остановки, а то бы всем автобусом пришлось поминки справлять по невинной жертве «33-его».

Тамару я заметила сразу, как только пересекла церковный скверик. Она почти не изменилась, и шапка кудрей на ее голове пышной коричневой пеной колыхалась на ветру. Тонкое европейское лицо Тамары настолько не соответствовало ее природной крутой химической завивке, что приносило ей в жизни одни неприятности. Так, на школьных вечерах она была неизменным негритенком; ее вымазывали чем-то черным, и получался самый натуральный африканский негр. И ни хорошее сложение, ни красивые голубые глаза с естественными черными бровями и ресницами не спасали в ней крупницы европеоидности, к которой она так стремилась и от отсутствия которой так страдала.

Теперь, пожалуй, самое время обрисовать себя. Но со мной все очень просто: рыжая, остроносая, с прозрачной, почти болезненной кожей и собранными, готовыми, того и гляди, кого-нибудь поцеловать, губами. Как говорит моя мама, не губы, а сплошной поцелуй, не хватает только чмока. Глаза у меня зеленоватые с темными крапинками как плесень — это уже мое сравнение. В общем, ничего, так, сойдет. Только и ценного во мне, как считают многие мои знакомые, что ноги. Они у меня длинные, и, как сказал Виктор Сергеевич — а это моя полуторная любовь, — растут они у меня от горла. Ну, про горло он, конечно, загнул, но что длинные — это

действительно. Виктор Сергеевич — это наш учитель истории. В него в восьмом классе влюбилась почти вся женская половина школы. Виной тому стала его популярность, начавшаяся с первых же уроков, на которых он, молодой, новенький учитель, вместо того чтобы агитировать нас за революционные идеи, увлеченно и самозабвенно рассказывал о Китае. Да-да, именно о Китае, где он провел все свое детство и половину юности. Он обычно присаживался на краешек своего учительского стола и, поглаживая аккуратную рыжую бородку, рассказывал о диковинках этой необычной страны. После его рассказов, когда при мне говорят что-то о Китае, я представляю себе большой шикарный ресторан, расписанный в духе старинных китайских гравюр, у входа в который стоят два аквариума или просто два стеклянных гигантских ящика, в одном из которых кишат змеи, в другом прыгают обезьяны. Я воображаю, как ко мне подлетает китаец-повар, кланяется и спрашивает на чистом русском языке, какую змею или обезьянку мне угодно съесть. Причем если у змей в пищу идет просто змеиное мясо, то у обезьян самым лакомым считается мозг. Вот Виктор Сергеевич и рассказывал нам, да еще и в подробностях, как на глазах его родителей, и разумеется, и на его глазах, несчастную обезьянку «тяпали топориком по черепушке», вытаскивали еще теплый мозг... Ну, а дальше дело повара. Наверно, этот Виктор Сергеевич потрясающе умный человек, рассуждали мы всем классом, считая, что съеденный обезьяний мозг способствует развитию и человеческого мозга.

Так вот, о любви. Эта любовь пришла после того, как Федькина бабка, у которой он все это время жил, померла, а его самого отправили в интернат. И Алика — моей второй любви — на горизонте еще не было. Поэтому я и называю сейчас своё чувство к учителю истории полуторной любовью. У нас с ним была любовь платоническая, то есть я люблю, а он ничего не знает, не догадывается и никогда в жизни не узнает. Но по моим ногам он

успел «проехаться» еще в колхозе, осенью, в девятом классе. Мы тогда с помидорами упарились и пошли на пруд купаться. А он, Виктор Сергеевич, оказывается, в это самое время где-то на берегу, в кустах, дремал. Вот там он нас и рассмотрел.

Но хоть и умный он был человек и знаток Китая неплохой, а из школы его все-таки попросили. Говорят, он нашу беременную «англичанку» оскорбил при всех в учительской. Он как-то быстро уволился, и больше я его не встречала.

А потом появился Алик. С ним все было совсем по-другому, и с ним мы уже по-настоящему целовались за Радищевским музеем, на лавочке. Там ели такие высокие и аллеи такие темные, что можно было целоваться даже днем. Но Алика забрали в армию, и у меня началась «почтовая» болезнь. Я каждый день летела домой, как запрограммированный почтовый голубь, распакивала ящик и в нетерпении вынимала оттуда газеты и журналы, трясла их, словно выбивала из них пыль, в надежде вытрясти письмо из далеких Галенок. Алик, как я понимала, сначала учился писать, потому что первые письма получались какие-то рубленые, словно кто-то обрубал хвосты предложениям. Потом слог пошел более изысканный. А одно письмо я помню до сих пор. Письмо как письмо, но заканчивалось такими словами: «Покрываю твою шейку ожерельем из нежных поцелуев». Я читала все снова и снова, пытаюсь постигнуть всю полноту и глубину Аликовых изощрений, и такой древностью вдруг повеяло со страницы, что я услышала звуки бесстрастного клавесина и голова моя склонилась под тяжестью огромного пышного пепельного парика с роскошным розаном возле уха. Похоже, я так вошла в роль, что произнесла эти слова вслух, после чего услышала невозмутимый мамин голос: «Это Флобер, Люся, Гюстав Флобер».

Алик потом моим мужем стал... Снова я не о том... Я не знаю, почему так происходит, но мне кажется, что и это все важно, ведь Алик тогда в армии служил.

...Тамара была в тельняшке и белых брюках. Она оценивающе взглянула на мои варенки и рубаху, одобритительно кивнула головой, очевидно радуясь, что не придется представлять какую-нибудь зачуханную товарку. Я же говорю, уж чего-чего, а тон и ужимки Тамары были мне хорошо известны.

Было холодновато и сыро от недавно политых тротуаров. К нам подкатили желтые «Жигули», за рулем которых восседал (именно восседал, а не сидел) мужчина средних лет, слегка лысоватый, с брюшком. Я сразу поняла, что это не капитан, и поэтому как-то внутренне настроилась на кураж.

— Людок, это Брич, — с удовольствием представила мне Тамара своего знакомого, вернее, друга. Такой человек, как Брич, не мог быть другом, братом, любимым, мужем. Он мог быть просто знакомым или другом. Я не могу это объяснить, хотя всегда чувствую таких людей и не могу сдержаться, чтобы не надерзить или просто «почумиться».

— Вообще-то его зовут Слава, но что такое Слава по сравнению с такой фамилией: Брич! — заливалась уже в машине Тамара, то и дело поворачиваясь ко мне на заднее сиденье. — Брич! Емко, коротко и загадочно, правда, Брич?

Ему было за сорок, и взгляд маленьких, уставших глаз говорил о том, что этот человек устал и от себя, и от семьи, и от своих «Жигулей», и от Тамары...

Я не люблю людей с такими глазами. Это полутрупы, и ничего хорошего от них ждать не приходится. Я не умею объяснить, но они как бензиновое пятно на воде, сверкающее радужными бликами, а по сути своей это яд, отравы, вселенский вред. Но самое опасное, пожа-

луй, то, что они и сами это понимают. Понимают, живут, и ничего-то с ними не поделаешь.

— А меня зовут Эсмеральда, — с вызовом представилась я, считая, что подобным образом отдам дань вежливости, в душе очень жалея попавшую на крепкую удочку «загадочного» Брича Тамару. Я понимала, что хамлю, но не могла упустить возможность покуржиться перед таким сытеньким, жирненьким баринном.

— Вот это имечко! — захохотал Брич. — Класс! Надо же, какое совпадение, а мы вам как раз Квазимоду подсудопили!

Мы мчались по синему влажному асфальту, пролетая одинокие, мигающие равнодушными желтыми огнями светофоры, пока не свернули на мост, сиреневое утреннее кружево которого взлетало дугой над дымящимся холодом воды... На мосту я не вытерпела, открыла с разрешения Брича окно и высунула голову навстречу тугому речному ветру. Непокойной кошачьей шерсткой трепетала поверхность Волги. Дальние острова и пляж тонули в зеленом молоке тумана.

— Предупредила, что с ночевкой? — обернулась ко мне Тамара, и по ее тону я поняла, что хоть и старается она придать своему голосу некоторое безразличие, этот вопрос интересует ее не меньше, чем это может показаться.

— Нет, — удивилась я искренне. — Ты же ничего не сказала...

— Здравсте... — Тамара хмыкнула и почему-то слегка покраснела, отчего мочки ее ушей слились с пунцовыми клипсами-вишенками.

Я пожала плечами и почувствовала себя неловко. С одной стороны, не хотелось показаться детским садом, а с другой — родители ж с ума сойдут.

— Картошку взяла? — тут же, как ни в чем не бывало, спросила Тамара, продолжая настаивать и утверждать свой

бесстрастный тон. Да, конечно, картошка, помидоры, ночевка — все через запятую. Какое им всем дело до маминого давления и папиного сердца.

Настроение было слегка подпорчено. Почему слегка? Наверно, потому, что я до последнего не теряла надежду на свое сегодняшнее возвращение.

За мостом, оставив машину на стоянке, мы двинулись тихими дворами к заливу. Пахло копченой рыбой (Тамара с видом знатока сказала, что здесь рядом коптильня) и мокрой травой, которая приятно холодила ноги. Во дворах, за заборами, брехали собаки, явно недовольные нашим появлением.

Близился рассвет, и, когда мы подошли к крутому спуску, к узенькой и очень длинной, тонувшей почти на самом берегу залива в сизом бурьяне лестнице, на ровной глади открывшегося зеркала воды вспыхнул ломоть огненного шара. Я зажмурилась, но чуть позже, когда глаза привыкли к жаркому блеску, успела разглядеть в самом центре сияния белое пятно, которое оказалось игрушечным, чистеньким суденышком, похожим на белоснежную шапочку медсестры. На его борту было выведено алой краской: «Леда».

— Это тот самый? — спросила я. — Мы на нем поедим?

Тамара, нацепив очки, молча кивнула головой, а потом оживилась, и лицо ее тронула насмешливая улыбка. Я услышала:

— А вот и наш капитан.

С палубы на дебаркадер то и дело сновал маленький человечек, своими движениями и ловкостью напоминавший обезьянку.

Тамара прыснула.

— Я же обещал Квазимоду, — самодовольно сказал Брич, и такое неприятное чувство отчуждения пролегло между нами, что я уже успела пожалеть о поездке.

Едва завидев нас, маленький человечек вернулся на дебаркадер и, приглаживая на ходу вихры торчащих в разные стороны волос и стряхивая со штанов невидимый сор, почти подлетел к Бричу и взял у него из рук тяжелые сумки. Казалось, он не замечает ни Тамару, ни меня.

— Как насчет пивка? — спросил Брич, чуть повысив голос и придав ему начальственную окраску.

— И пивко, и лимонад, все, как приказывали, — быстро, скороговоркой, ответил человечек, имени которого я пока еще не знала и терялась в догадках, кто же это перед нами, действительно ли капитан, какой-нибудь работяга-грузчик или доставала. Капитан, в моем тогдашнем представлении, должен был обладать белой фуражкой с золотым «крабом», чистой рубашкой и выглаженными брюками. Человек же, суетившийся возле трапа и перетаскивающий на «Леду» ящики с лимонадом, был в выгоревших, закатанных до колен, фиолетовых штанах, полуголый и босой, он ну никак не походил на капитана, и я уже начала расценивать Тамарину реплику как шутку, ожидая в любую минуту увидеть пятое лицо — настоящего капитана. Но после погрузки, когда мы все четверо оказались на палубе и когда наконец был поднят трап, я убедилась, что Тамара не шутила. «Леда» легко отошла от берега, управляемая загорелым незнакомцем.

Залитая розовым молодым солнцем пристань с нарядным, выкрашенным в бело-голубой цвет дебаркадером, с рыжими крышами деревянных домишек, копильней красного кирпича, зеленой накипью пышных садов — все поплыло-поехало, быстро уменьшаясь в размерах и приобретая неясные очертания утреннего миража, цветной размытой картинки берегового пейзажа.

Я сама спросила, как его зовут.

— Димыч, — коротко ответил он и улыбнулся. — Мы вроде как на службе, поэтому нас не принято знакомить, представлять... Работаем, понимаете...

Черен, худ и жилист капитан Димыч: Прокаленный солнцем, заросший выгоревшими волосами, поджарый, с масляно-блестевшим сильным, но тонким телом, он удивлял своим странно скроенным обветренным лицом с высокими костистыми скулами и впадинами вместо щек, с приплюснутым носом, толстыми губами и прищуренными, глубоко посаженными, темными глазами. С цепкими, узловатыми руками и крепкими кривыми ногами, он был словно рожден для своей «Леды», для подтягивания на многочисленных трапах, бесшумного передвижения по раскаленной палубе, закидывания каната на скользкие кнехты и головокружительных прыжков с палубы на дебаркадер...

Катер сиял чистотой и поражал своей стерильностью. В двух полутемных прохладных каютах на постелях, заправленных синими шерстяными одеялами, высились белоснежные, жесткие с виду, подушки. В стаканах на столе благоухали полевые гвоздики ядовито-розового цвета. Под ногами влажно поблескивал свежевывытый пол. Откуда-то неуловимо тянуло запахом свежей рыбы и сладковатым духом речной тины. Тамара, видать, здесь была не первый раз, поэтому катер интересовал ее меньше всего. Она вместе с Бричем сидела на палубе под полосатым зонтом и пила ледяной лимонад. Я попросила Димыча показать мне «Леду». Обжигая пятки, я обошла ее, начиная с палубы и кончая камбузом, в котором на холодном полу и увидела корзину с жирными, в золотистой чешуе, кровавыми лещами.

— Ну вот, теперь я поняла, откуда этот запах! — сказала я обрадованно, предвосхищая уху. — Может, у вас еще и укроп найдется?

— А как же, — спокойно ответил мне Димыч и достал со дна какой-то сумки пучок темного, крупного укропа. — Хозяин наказывал, чтоб уха не подкачала...

— А почему вы его так во всем слушаете? Он что, ваш начальник?

— Начальник.

— Это что, от конторы какой?

— От управления.

— Все равно не поняла. У вас там по штату положено, что ли, начальнику свой катер иметь, да в придачу с капитаном?

— Да нет, вроде как для турбазы покупали, но туда редко кого возим из наших, из управленцев... Вот когда гости из Москвы или еще откуда, вот тогда только успевай.

— Ваш Брич — буржуй недобитый, — сказала я тоном, не терпящим возражения. — И много он вам платит за это... унеси-принеси?...

Димыч опустил глаза; ему, как мне показалось, не понравилась моя постановка вопроса.

— Сто семьдесят плюс премиальные. Только разве ж в этом дело? Мне это все самому в радость...

— Что, прислуживать в радость? — Я не могла скрыть своего презрения и, хоть и понимала, что говорю недопустимые вещи, молчать не собиралась.

«Вы же взрослый человек!» — собралась я обрушить на Димыча целую тираду оскорбительных упреков, но потом замолчала, любуясь, с каким удовольствием принялся он разделявать лещей. Нож, судя по всему, был у него острейший, и рыба потрошилась с завидным мастерством и легкостью. И вообще, главное, что меня подкупало в Димыче, была именно легкость. Легкость во всем, начиная с разговора, простого и очень доверительного, и кончая движением штурвала, к которому он то и дело бегал, вытирая окровавленные руки о полотенце или о штаны. Он успевал повсюду. Я, предоставленная

сама себе, пыталась ему помочь, но всякий раз оказывалось, что все мои познания в кулинарии, равно как и в остальном, ничего не стоят по сравнению с опытом и умением капитана. Он умел делать все, и делал в радость себе и людям. Как скоро я убедилась, хоть Брич и считался хозяином катера, ответственным за все, что происходило на его борту, считал себя все-таки Димыч. Потому так и старался. И мое первое впечатление о добровольном рабстве Димыча, о рабстве как черте характера или наиболее удобной форме существования, рассеялось при ближайшем с ним знакомстве. Его жизненный принцип был очень прост: делать все хорошо. Ему было все равно, кто гостит на «Леде». Главным он считал для себя доставить людям радость. В его разговорах так часто мелькало это слово, что мне показалось, что именно радости-то ему, Димычу, и не хватает. Я давно заметила за людьми, причем за разными людьми, что их больше всего заботит именно то, чего им в жизни не хватает. Ведь не зря говорят: у кого что болит, тот о том и говорит. Говорит или думает. Так, например, неуверенные в себе люди напускают на себя маску важности и спокойствия; заики стараются как можно больше разговаривать по телефону; умные люди никогда не обратят внимания на выражение своего лица в момент посещения их гениальной мысли; человек, знающий о себе, что он очень добр и слишком мягок, будет пытаться скрыть это под строгостью лица и нарочито сердитым тоном.

Меня то и дело звала Тамара. Я поднималась на палубу, принимала из ее рук предложенный лимонад, но всегда возвращалась к Димычу. Потом я узнала, что это только я пила лимонад. Тамара же с Бричем — сухое вино и водку. И сказал мне об этом Димыч.

— В такую жару только дураки пьют, — заметил он как-то раз, когда я вернулась с палубы. — Голова разбо-

лится, сердце, того и гляди, выскочит. Сколько раз говорил ему, он только рукой махнет — и по новой. А подружка-то, Тамара, молодая, а пьет наравне с мужчинами. И что странно — почти не пьянеет. Вот что значит молодость.

Димыч позвал меня в рубку и дал подержать штурвал. Я, как маленькая, вцепилась в еще теплую от его рук твердость и заскользила, зашелестела ладонями по его полированной поверхности.

— Я-то не пью, — продолжал Димыч развивать мысль. — Уже не нахожу в этом никакой радости. А кто хочет, пускай себе пьет, мне-то что. Просто самого хозяина жалко. После таких вот прогулок в лежку лежит, а все туда же...

— И давно они с Тамарой знакомы?

— Да кто его знает, но то, что здесь бывала уже не раз, — факт.

— А у Брича, начальника твоего, семья, дети?

— Жена у него больная, лежит уже второй год. С позвоночником что-то. Говорит, жить ему трудно, потому и меня замучил совсем. Раньше-то, когда жена была здорова, так они всем семейством выезжали на природу, а теперь, — он махнул рукой, — приглашает кого ни попадя... Иногда даже и звать-то как не знает гостей своих... Пригласит и начинает чудить: водка, вино, уха, чай из шиповника — это уж закон. Только все без меры. А сколько денег на ветер пускает?! Так, здесь небольшой поворот, — Димыч сильно крутанул штурвал влево, — вон за тем проливчиком, вон-вон, видите, откуда цапля сейчас вылетела, вот там и пристанем... Это наше место... Там и песочек, и дно хорошее, если купаться вздумаете, и кострище приметное...

«Леда» скользнула в узкий пролив, вспенивая за собой желтоватую зацветшую воду, и, распугивая птиц, мягко вошла носом в прибрежный песок. Мотор сразу

заглох, стало тихо; сухим треском и шелестом стрекозиных крыльев наполнилось пространство...

В разговоре с Димычем прошли все мои страхи, а от увиденной красоты тихого, расцвеченного солнечными бликами берега меня охватил такой восторг, что я онемела. Из оцепенения меня вывел голос Тамары:

— Ну вот и на месте! — Она стояла, свесившись с палубы, и пританцовывала. — Людок, смотри, какая прелесть! Скажи мне спасибо. Кто бы тебя еще пригласил на такой катер? А?!

Она подняла голову к рубке, и мы встретились с ней глазами. Она едва стояла на ногах, язык заплетался.

— Набралась, — шепнул Димыч и вздохнул совсем по-стариковски. — Еще весь день впереди... — И уже громче: — А хозяин-то где?

Вскоре показался и Брич. Он шаткой походкой направился к трапу и выжидательно уставился на Димыча.

— Ну и долго еще будем ждать?

Димыч слетел вниз, опустил трап, помог Тамаре и Бричу сойти на берег, потом очень бережно, поддерживая за руку, спустил и меня.

Берег (на котором мы оказались) был у самой воды устлан разросшимся низкорослым ивняком, с прохладных листьев которого стекали, шипя и пузырясь, клочки легкой прозрачной пены. За ивняком раскинулась ровная большая поляна, поросшая темной кудрявой зеленью, которая таила еще в себе последние капли утренней росы и приятно холодила ноги. По бокам рос нежный, цветущий шиповник, переходящий постепенно в заросли пахучего серебристого лоха, а затем в молодую дубовую рощицу. Над нами стоял крепкий, настоявшийся аромат шиповника, мокрой травы и «цветущей» воды — ряска желто-зеленой мелкой россыпью прибивалась то и дело волной к берегу и застревала в песке.

На траву постелили синие одеяла, Димыч принес большой закопченный котелок для ухи, я помогла ему спустить продукты.

— Слушай, а чего это ты откалываешься от компании? — вдруг схватил меня за руку Брич, когда я пробежала мимо него с половником. — Чего винца-то не пригубишь? — Глаза у него налились кровью, было видно, что он тяжело переносит жару. — Смотри, как здесь хорошо, краси-и-во как... Если б не Брич, разве отдохнула бы так? Выпей винца, выпей, чего ломаешься?

Я вырвала руку и шарахнулась к кустам, где Димыч выкапывал корни шиповника. Когда я нечаянно налетела на него, он тут же спрятал меня за своей спиной и жестом попробовал остановить Брича.

— Хозяин, — он попытался обратить его внимание на себя, — ущицу с икоркой или засолим ее, как давеча? Икорка уж больно хороша...

Димыч говорил по-доброму, но как-то медленно, словно взвешивая каждое слово перед тем, как втолковать его в размягченную голову своего начальника.

— О! Глядите-кось, защитник нашелся! Копаешь себе и копай... Все! — Брич как-то неловко повернулся и, зацепившись ногой о сухой пенек, упал прямо на куст.

— Там пиво, в песке, — бросился поднимать его Димыч, — как бы не унесло... — Он поставил Брича как большую, набитую ватой, куклу и стер кровь с царапины на его щеке. Брич отодвинул его в сторону и, ломая кустарник, пошел куда-то вглубь острова...

— Как выпьет — дурак дураком, — словно оправдывая своего хозяина, сказал Димыч. — А подружка ваша, наверно, уже спит, как в прошлый раз. Она сначала все танцевала, потом ходила умываться, говорила, что так трезвеет, а потом спала почти до ночи...

— Это хорошо, что вы такой, — сказала я Димычу, не слушая, что он говорит о Тамаре, — а если бы вы были такой, как Брич?

Он держал в руках красноватые крепкие нити корней и, счищая с них землю, старался не смотреть на меня.

— Не мое это, конечно, дело, — сказал он и поднял на меня свои черные мерцающие глаза, в которых одновременно читалась и тоска, и жалость, и даже обреченность, — но зачем ехала? Ты только не подумай, что я тебя упрекаю в чем, но я вот все про дочку свою думаю... Она, вишь, ровесница тебе. Я целый день, почитай, на работе, а она где? С кем? Попадет к такому Бричу в гости — не выберется. Он же, — тут Димыч понизил голос, — и насильничать может. Считает, раз поехала, значит, пожалуйста вам... Да и не он один так думает. Ты, я вижу, девчонка неиспорченная, а как же это родители тебя отпустили? Знают они, где ты?

Я остолбенело смотрела на капитана, и словно кусок льда застрял у меня в горле.

— Да я им все как есть рассказала. Я Тамару с детства знаю, учились вместе... И родителей ее знаю, и сестру!

— Сестру, — передразнил меня Димыч. — А чего ж вы такие разные? Я хоть и многое повидал за свою жизнь, но хочу сказать, что уж чересчур развитая твоя подружка... — Димыч перешел на «ты», и мне стало его как-то легче воспринимать. — В прошлый раз игру в фанты затеяли, думал, испугается она — на нее, понимаешь, играли — а она смеялась как ненормальная, а потом, уже утром, жаловалась мне, говорила, что утопится.

Я слушала его и не верила своим ушам, не верила, что рассказывает он о Тамаре, той кудрявой девочке с голубыми глазами, с которой мы вместе рыдали над рыцарскими романами, шили черные монашеские плащи, обрывали розовые клумбы в городском парке и сочиняли любовные баллады. Конечно нет, он говорил о той почти незнакомой мне женщине, которая сейчас плескалась на берегу и неестественно громко хохотала, убе-

гая от Брича и показывая ему язык. Что-то вульгарное крылось за ее неловкими, бесстыдными движениями, за ее плоскими шуточками, которыми она с ним обменивалась.

— Что же мне теперь, вплавь отсюда добираться, что ли? Я ее три года, может, не видела, откуда мне знать, что с человеком время сделало? И может, она любит вашего Брича?!

— Кольцо у нее видела? Просто он купил ее: обещал на ней жениться, а кольцо-то Татьянино, жены его... Ой, девка, не должен был я тебе это говорить... И ей ничего не говори... Просто я вроде как вразумить тебя хочу... Ириша, дочка моя, чем-то похожа на тебя. Я, понимаешь, какое дело, взял ее как-то раз на «Леду», так Брич как увидел ее, так сразу жениться собрался. Говорю же, заболел он, ей-богу. Как Татьяна слегла, так и заболел. А Ириша тоже дура, прости господи, рот открыла и слушает. А потом дома мне и говорит, что, мол, и не совсем старый твой начальник, зато машина... Брич хотел ее к нам в управление секретаршей взять, так я не дал. Не дал. — Последние слова Димыч сказал с гордостью и какой-то даже важностью, словно благодаря самого себя за умный поступок.

... За ухой все молчали, кроме Тамары. Она включила магнитофон и пыталась подпевать и пританцовывать на одеяле. Я не узнавала ее.

Прямо на траву постелили клеенку, на нее свалили в кучу резаную колбасу, вареные яйца, помидоры. Несмотря на все мои невеселые мысли, аппетит не пропал, и я принялась помогать Димычу разливать густую, душистую уху, которая варилась все то время, пока мы осматривали берег. От свежего воздуха, напоенного испарениями нагретых солнцем цветов и трав, аромата цветущего шиповника, который рос вокруг поляны, на которой мы расположились, и общей усталости у меня закружилась голова, и я на какое-то время была почти в

бессознательном состоянии. Солнце пекло нещадно, а я все еще не решалась раздеться, считая свой купальный костюм чересчур открытым, в котором непозволительно показаться перед критически настроенным Димычем и расслабленным Бричем. Я наслаждалась ухой и любовалась шиповником, усыпанным розовыми, полуоблетевшими цветками. Как я жалела, что в таком раеподомном месте меня окружают такие непонятные и чужие мне люди, которым я должна ежеминутно выказывать свою признательность за свое здесь присутствие и одновременно их же и опасаться. Особенно теперь, после слов Димыча. Мой «летающий» день сослужил мне плохую службу: я была приглашена Тамарой лишь как четвертый, четный член компании, где Бричу предназначалась Тамара, а капитану — я.

В такие минуты прозрения начинаешь жалеть, что многое в жизни зависит от случайностей. Такой случайностью оказалось то, очевидно, что в Тамариной записной книжке оказался мой домашний телефон. Может быть, перед тем как мне позвонить, она перебрала всех своих знакомых, а дозвонилась лишь до меня... В любом случае, я поняла, что надо как-то действовать, что-то предпринимать. Я еще не совсем уяснила себе, кто такой Димыч. Но помощь Брича отмела сразу же, не задумываясь. Разговор с капитаном предполагал положительный исход, хотя я и не была уверена в том, что Димыч не напьется, последовав примеру своего начальника. Мне вообще казалось странным, что до сих пор Димыч не выпил не только водки, но даже сухого вина. Ну не похож он был на трезвенника, какая-то слабинка чувствовалась в нем, которую я не могла себе объяснить.

Судя по всему, остров был конечной целью путешествия. Я не могла предположить, как отнесется Димыч к моей просьбе отвезти меня в город или на берег, в какую-нибудь деревню, откуда можно уехать если не на авто-

бусе, то хотя бы на попутке. К тому же мне надо было выбрать удобный момент для разговора, а для этого надо было подождать, когда я останусь с капитаном одна, с глазу на глаз.

... Костистые ломти вареных лещей, вынутые из ухи, высились в миске, маня своей жирной, сладковатой мякотью. От дымящегося варева шел укропный дух; желтое пшено вперемешку с розовой, рассыпчатой икрой так и просилось в ложку. Димыч все время отбегал к костру, где пек картошку и приносил оттуда сизые, в золе, огненные кругляши. Черными губами, обжигаясь, ели мы картошку, заедая сочными, сахарными на срезах, помидорами.

Тамара, казалось, была совершенно безразлична к еде и вяло ела уху. По ее виду можно было подумать, что жара так разморила ее, что она дремлет с открытыми глазами. Правда, когда Брич вспоминал, что в магнитофоне давно кончилась кассета, и переворачивал ее, она сразу оживлялась.

— Людок, ты чего это не зажигаешь? — спросила она скучным голосом, словно ее кто заставлял говорить.

Я внимательно посмотрела на нее, пытаюсь понять степень ее опьянения, с тем чтобы решить, рассказать ей о своих планах или не стоит, но, заглянув в ее большие голубые глаза, отражавшие поляну и мое испуганное лицо, поняла, что она еще долго будет не в себе, и в ответ на ее вопрос лишь пожала плечами. Как папа.

— Ну и напрасно. Искупались бы, освежились...

— Ну и подружка, Томочка, у тебя... Дикарка или ломается? — запихивая в рот половину яйца, промычал Брич. — Димыч, тебе, похоже, не повезло! Может, поменяемся, а, капитан?

Тамара бросила на дружка насмешливый взгляд и покачала головой.

— А плохо тебе не станет?

— Не бойсь, не станет... Ты сейчас все равно спать пойдешь...

Тамара икнула и поднялась с одеяла.

— И пойду, — сказала она, перешагивая через ноги Брича, — с вами же тоска смертная. Одна как в рот воды набрала, другой, — она кивнула в сторону отдыхающего Димыча, — вообще слабак... Светка мне тогда все рассказала, как вы с ней ночь-то провели... Представляешь, Людок, он как лег, так сразу и уснул...

Тамара, очевидно найдя себе развлечение этим разговором, раздумала продолжать свой путь и присела под соседним кустом, словно нарочно выбрав для себя удобный наблюдательный пункт.

— Я тут все про всех знаю, — заявила она и сделала небольшую паузу. — Да, и вы все мне противны. И ты, Людок, тоже, не обижайся. Я, лично, до сих пор не могу забыть, как ты меня предала. — Она говорила медленно, будто во рту ей что-то мешало, с трудом подбирая слова, словно боялась оступиться, как подвыпивший канатоходец. — Именно предала! Мы как переехали, ты бы хоть раз навестила старую подругу! Забыла, предала... — Ее горло издало свистящий, почти плачущий звук. — А я вот тебя не забыла, вспомнила и сюда пригласила, скажи, Брич? Ты же говорил, чтобы я привела с собой подругу вместо Светки, подругу, понимаешь, не знакомую или приятельницу там... а подругу! А разве ты меня считаешь подругой? Но я уже привыкла, — продолжала она тоном разочарованной и обманутой женщины, совсем как в театре. — Я привыкла к предательству. Вот, смотри, я бы сейчас пошла спать, а ты? Да, мне всегда после вина хочется спать, я так устроена, понимаешь, нет? Ну и что! А Славик, то бишь Брич, устроен так, что не пропустит ни одной юбки. Ты думаешь, кто такая Светка?

— Замолчи! — Брич кинул в нее башмаком, на что Тамара разразилась бранью и швырнула башмак обратно.

— Да с какой это стати мне молчать? Я что, секреты какие выдаю? Да я ж просто на чистую воду вывожу вот таких, как вы! Я сегодня — обвинитель, ясно? К тому же меня этот разговор отвлекает ото сна. Ты же первый увяжешься за мной в каюту, будешь мне на ушко всякие мерзости говорить... Вот и дай человеку высказаться! Ты мне что сегодня сказал на палубе? Что? А то дурочку нашел, колечки дарит, жениться обещает, а сам? Жених нашелся! Да в гробу я тебя видала с твоим кольцом и твоими червонцами! Тебя же посадят скоро, миленький, и Светка твоя не поможет, и мамаша ее... — Увидев, что Брич поднялся с места, Тамара, раскачавшись, как-то неловко встала, упала, потом отбежала ближе к берегу и уже оттуда крикнула: — Да уйду я, уйду, вот только договорю... Людок, Светкина мать у него бухгалтером работает, так он и ту и другую обхаживает... Ха-ха... Чего только ради родного управления не сделаешь!

Брич смотрел, как Тамара взбирается по шаткому трапу на палубу, и чесал затылок. Приняв решение обратить все в шутку, он заржал очень громко и ненатурально.

— Димыч! Он и Ирку твою трахнул прямо у себя в кабинете! Можешь сам у нее расспросить, она тебе покажет где... — Тамара не договорила и пропала, словно провалилась, и больше мы ее не слышали. Стало так тихо, что было слышно, как скребет затылок Брич, как жужжит шмель над шиповником, как полощет ива свои зеленые листья-ленты в воде. Я боялась посмотреть на Димыча. Непохоже было, что Тамарка все это придумала. Неужели не уберег капитан свою дочку? Ведь только-только рассказывал, как не пускал Ирку к Бричу работать. Видать, не послушала она отца.

И вдруг услышала:

— Это правда?

Я вздрогнула и повернулась. Брич, похлопывая себя по животу, смотрел куда-то под ноги. Вопрос относился к нему, а он медлил с ответом.

— А ты у своей дочки спроси.

— Врешь ведь. — Димыч встал и, не зная, куда спрятать руки, опустил их вдоль тела, словно они мешали ему говорить. Маленькая, чуть сутуловатая фигурка капитана показалась мне еще меньше. Он стал похож на постаревшего в один миг мальчика. Я не могла рассмотреть его лица, но, глядя на опущенную голову и поникшую фигуру, я представила себе отрешенный взгляд темных глаз, собранную на лбу влажную от пота кожу, горькую складку возле рта, и стало так больно за него, так тяжело на душе, что я в сердцах отшвырнула от себя лежавшую в тени у моих ног непочатую бутылку водки.

— Дура! Нашла, чего швырять! — Брич кинулся к бутылке и поставил ее возле своей тарелки. — Тоже мне, нашлась... Сама не пьет и хочет, чтоб другим не досталось? Умные вы все такие, я посмотрю! А ты чего рот раззявил? Была же команда насчет чая? Вот и исполняй!

Я ждала, что после этих слов Димыч не выдержит и взорвется, тем более что про чай никто не говорил, а он послушно пошел выполнять приказание. Подобрал с травы припасенные раньше корешки шиповника, отправился на речку их мыть.

Проводив его глазами, я стала убирать с одеял. Запутавшись окончательно в отношениях этих непонятных мне людей и не понимая, что заставляет Димыча терпеть от своего начальника оскорбления и унижения, я решила действовать сама. Складывая тарелки и сгребая мусор, я вдруг сделала для себя открытие: ведь сегодня выходной, а значит, на острове могут быть еще люди! Обнадеживая себя таким образом, я даже осмелела и, хотя внешне это ничем не выражалось, почувствовала себя значительно увереннее, свободнее.

Краем глаза я видела, как Брич откупоривает бутылку. Мне надо было отнести сверток с мусором к костру, и вот тут-то он меня и догнал. Все произошло так быстро, что я даже не поняла, как оказалась на земле. Брич пытался стащить с меня рубаху. Я стала кусаться, причем хватала зубами до крови, до прокуса, до кости. Я слышала страшный вопль, но руку не выпускала, а сдавливала челюсти все сильнее и сильнее. Что-то соленое и железистое наполнило мой рот, и меня чуть не вытошнило. Мы катались на траве, опрокидывая какие-то бутылки и сумки; дважды чуть не угодили на угли. А Димыч не возвращался.

Я никак не могла взять в толк, что надо было от меня Бричу, ведь если бы он хотел просто раздеть меня, он сделал бы это в два счета. Ему, очевидно, доставляло особенное наслаждение причинять мне боль и страх. Потому что он вдруг отпустил меня и, глядя совершенно безумными глазами, прохрипел:

— Я тебя отпускаю, а ты беги, я тебя догонять буду...

Думая о Димыче, о том, что ему уже давно пора возвратиться, я бросилась в сторону берега. Я бежала не чуя под собой ног; перед глазами прыгала «Леда», ивовые заросли и слепящая на солнце вода; Димыча нигде не было видно. Трус, думала я тогда, предатель, артист, неужели все это игра? Неужели все это было подстроено?

Я стала звать Тамару, Димыча, маму, всех, кого помнила и знала. Я была уже по пояс в воде, когда Брич нагнал меня, и мы вместе с ним скользнули в какую-то подводную яму. Я, хрипя, звала Димыча, а потом, собрав последние силы, оттолкнула от себя барахтающегося Брича и поплыла.

Я не умею дышать на воде, мне всегда не хватает воздуха, и к тому же страх перед глубиной, если я не чувствую под собой дна, наводит панику. Отец знал об

этом и всегда отводил меня на глубину, где мне только по плечи, и уже оттуда смотрел, как я плыву к берегу.

Я же хотела обогнуть «Леду»! Это был не шок, это было усилие, равное которому еще не знал мой организм. Тогда все работало на то, чтобы не утонуть. Я даже перестала звать на помощь, боясь потерять последние силы. Вспомнилась мама, и стало невыносимо страшно, что я больше никогда ее не увижу!

Вырулившая неизвестно откуда лодка сделала несколько кругов перед носом «Леды» и исчезла, накрыв меня большой волной...

Очнулась я в полной темноте. Сильно болела голова и горло. Я пошевелилась и нащупала руками жесткое одеяло. Память возвращалась медленно. Неприятные ощущения в носоглотке вызвали кашель, от которого начало сотрясаться все тело. Вспыхнул свет, и я увидела склоненное надо мной лицо Димыча.

— Ну, слава тебе, Господи, — прошептал он, словно боясь кого-нибудь разбудить, и присел рядом. — А то я уж и не знал, что делать... Слышь, тебя Людой звать? Тут ребята в город едут, знакомые парни, ты бы им телефончик свой дала, они, глядишь, родителям твоим позвонят, чтоб не беспокоились... Они бы и тебя взяли, да у них лодка под завязку, ну, то есть полная... Да и нельзя тебе сейчас никуда, полежать надо, отдохнуть... Потом поговорим, а сейчас диктуй, я тут и карандаш взял... Ну, скажут, что у подружки ты или еще где, придумают...

Я назвала свой телефон, еще не вполне осознавая, где я и что со мной произошло. Димыч ушел, но очень скоро вернулся, сел рядом и взял мою руку.

— Нет, правда, я так испугался. Думал, что утопла... Белая такая лежала, разве что дышала...

— А где мы?

— На «Леде», помнишь?

— Как, мы на воде? Мы плывем? А который час?

— Часов восемь, а может, уже и больше.

— А эти, ну, друзья твои, уже уехали?

— Порядок, уехали. Обещали позвонить.

Я начала припоминать.

— А начальник твой где? А ты где был? — Я поднялась на постели и тут только поняла, что совершенно голая, только замотанная в какие-то простыни. — А одежда? Джинсы где? А Тамара?

— Она спит. А Брича... того нет.

— Куда же ты его дел?

— На острове оставил.

— Как?

— Так. Я с тобой поднялся, убрал трап, поднял якорь, и все.

— И где же мы?

— На другом острове.

Я не поверила своим ушам.

— А хоть бы подох, собака, — сказал Димыч, словно отвечая своим мыслям. — Я с ним до последнего по-человечески...

Он махнул рукой, отрешаясь разом ото всего, о чем думалось в эту минуту, и хлопнул себя по колену.

— Бог с ним. Мне все равно одна дорога.

— Не поняла.

— На другую работу надо будет устраиваться. Я, вишь, какое дело, пил сильно одно время, жену втянул... А Татьяна, жена Брича, помогла мне лечиться устроиться. Ну, как помогла... Сказала, к кому подойти. Она добрая женщина. Так вот я вылез, а Лизка моя никак. Правду люди говорят: когда мужик пьет — полбеды, но вот когда баба — беда. Веришь, нет, иногда домой ехать неохота, как представляю, что дом выстыл, а Лизка, значит, на охоте, ищет-рыщет где-нибудь, у кого стрельнуть...

В каюте было сумрачно, несмотря на зажженный свет, и совсем не чувствовалось время. Я лежала, вытянувшись на длинной, узкой лежанке, завернутая, как младенец, в одеяла, и слушала Димыча. Слушала и рассматривала его тонкую, изрезанную крутыми морщинами шею, сильно выдвинутую нижнюю челюсть с играющими желваками, чуть выпуклый, с вмятиной вместо твердого остова, нос с мягкими, толстыми ноздрями. Я не могла поверить, что человек, встретивший нас сегодня солнечным утром на дебаркадере, и сидящий передо мной сейчас старик — именно старик с потухшим взглядом — одно и то же лицо. Затянутый в серый шерстяной джемпер, причесанный и очень серьезный, капитан попросил у меня разрешения закурить и, благодарно кивнув, глубоко затянулся.

— Сейчас немного успокоился, а сначала был готов убить, придушить...

Наверно, в моих глазах читался такой вопрос, такое недоумение, что Димыч с пониманием качнул головой.

— Что, как и почему? Так?

Он начал свой рассказ с того, что еще на берегу, услышав плач, поднялся на катер и увидел внизу, возле входа в каюту, лежащую ничком Тамару.

— Я как был с корешками, так и притащился туда. Ну, понятное дело, рвало ее сильно...

Суется возле нее, он не мог услышать мои крики, и меня спасло только то, что, когда он с ведром поднялся на палубу, чтобы набрать воды, здесь как раз и увидел меня.

— Если бы ты заплывала за корму, я бы не увидал...

— Спасибо тебе, — сказала я, боясь представить, что было бы, если бы Димыч не бросился мне на помощь.

— А Брич, как увидел меня, ну, что я тебя несу, вроде как успокоился и спросил про аптечку. Аптечка — вот она, здесь, в каюте, а я его послал к рюкзакам да к одеялам...

— Это я прокусила ему руку... До сих пор зубы болят.

— Так вот, пока он ходил, я якорь-то и поднял...

Он нервничал, папираса то и дело гасла, и Димыч, суетясь, каждый раз доставал из кармана старых джинсов спички, прикуривал, щуря глаза и смешно выпячивая нижнюю губу. Его подвижное лицо, казалось, выражало даже самые мимолетные мысли. То соберутся на лбу три широкие складки, то взлетит бровь, будто он что-то вспомнил и тут же забыл, то опустится, и такая обреченность повеет от лица, сердце захолонет, глядя на него.

Он замолчал на какое-то время, и его настроение передалось мне. Слезы, — а мама говорит, что у меня «близкие» слезы, — просились наружу, хотелось уткнуться Димычу в плечо и выплакаться. Мне стало жалко и себя, и его, и Тамару, не от хорошей жизни попавшей в жирные клешни Брича. Я думала и еще об одном человеке и подозревала, что Димыч хочет мне что-то рассказать. Но в это время слышалась возня под дверью и в каюту вошла Тамара. Я ее не сразу узнала и поначалу даже испугалась.

— Чего уставилась? Не нравлюсь? — Она прошла к иллюминатору и демонстративно повертела своей почти налысо остриженной головой.

— Жалко, машинки нет, а то бы сбрила начисто... — Она отвернулась, и что-то звякнуло у ее ног. Ножницы!

— Ты постриглась? Зачем? На кого стала похожа? — Я даже привстала, чтобы получше разглядеть ее.

— Постригла... — передразнила она меня. — Да разве ж это волосы? Войлок, гофре, овчина! Они же мне всю жизнь испортили! Я вроде бы сама по себе, а они — сами по себе. Нарост, кора, мох! — И она, сжав кулаки, заколотила ими по иллюминатору.

На нее больно было смотреть. Димыч усадил ее на стул, сбежал, принес воды. Немного успокоившись, она

начала корить себя, беспрестанно обгрызая кожу на пальцах.

— Я ничего не могу с собой поделывать. Раньше это было не так заметно, а теперь сама себя не узнаю. Мне плохо, так пускай и всем так же будет. Я не хотела причинить тебе зла, Димыч, но ведь это же все правда, ты прости... я не должна была тебе всего этого говорить, но ведь рано или поздно ты бы сам все узнал! Брич никого не жалеет, потому что живет одним днем. Он сам мне говорил, нет, я не вру, это его слова: «Живу каждым днем, пока не загнусь». Но ведь ему сколько лет, а мне? Я же вроде как собачонка какая возле него кружусь, потому как знаю — не прогонит. А почему не прогонит? Да потому, что он никого не прогоняет. Он ведь каждый день знакомится, свидания назначает; на какие приходит, а на какие — нет. Иногда и меня с собой берет, для смеху, для развлечения, чтоб над какой-нибудь дурочкой вроде меня посмеяться. У него неприятности на работе, ты же сам, Димыч, знаешь. Он долго не просидит на своем кресле... Откуда, думаешь, денег так много? Я в этих делах не разбираюсь...

— Не разбираешься, так лучше помалкивай, — неожиданно оборвал ее Димыч.

Тамара остановилась и посмотрела на меня. Я же с облегчением вздохнула, потому что боялась, что она снова коснется дочери Димыча. А Тамара, потрогав рукой ежик волос на голове, заревела.

— Ох, девки-девки, беда мне с вами, ей-богу... — Димыч встал, и мне показалось, что он жалеет о том, что Тамара помешала нашему разговору. Может, он почувствовал, что именно я тот человек, который сможет его выслушать? А может, это мне показалось?

Он ушел, а Тамара спросила: где Брич?

Я пожала плечами, не зная, говорить ли ей правду или подождать, когда это сделает сам капитан.

— А, все равно, спит, наверно, где-нибудь... — Тамара устало вздохнула, вытирая заплаканные глаза, и вдруг сделала удивленное лицо: — А ты чего лежишь?

— А тебе это надо? — спросила я жестко, обвиняя ее в эту секунду во всем, что со мной произошло. — Зачем ты меня сюда пригласила? И как ты вообще обо мне вспомнила? Это я тебя предала, говоришь? Ну хорошо, положим, разъехались-раздружились, но я же тебя не увозила на острова с подозрительной компанией, ты же не тонула, спасаясь от пьяного, сошедшего с рельсов, мужика? А ведь я могла утонуть, понимаешь?

Меня как прорвало, и я не могла остановиться.

— Тебе, положим, живется плохо, ну, что-то не так сложилось или складывается. Я понимаю, всякое бывает в жизни, но нельзя, пойми, нельзя так рисковать чужой жизнью! Я поверила тебе, согласилась на это поездку. Скажу больше, я даже радовалась, представляя себе нашу встречу, честное слово! Я и обрадовалась, если ты согласишься, встретив тебя утром. И только, когда увидела Брича, подумала, как же ты сильно изменилась за это время... И даже не потому, что твой избранник не похож на храмовника, в которого ты была влюблена и который был идеалом мужчины для тебя. Идеалы меняются, но какой-то внутренний стержень остается... Должен остаться, понимаешь?!

Мне показалось, что я обвиняю уже целую вечность. Израсходовав весь свой запал, я замолчала. Молчала и Тамара, пощипывая кончики оставшихся волос. Я понимала, что говорю в пустоту.

— Это я убила Брича, — неожиданно для самой себя сказала я.

Тамара резко повернула голову, и глаза ее расширились.

— Рехнулась, что ли? Ну и шуточки... — Она покачала головой.

— Я не шучу, — дрогнувшим голосом продолжила я, вживаясь в роль убийцы и с удовольствием играя ее. — Можешь Димыча спросить.

Тамара словно очнулась и заметалась по каюте.

— Ты врешь! Я найду его сейчас, а тебе... тебе... — Она подбежала ко мне и схватила меня за плечи. — Говори, где он!

— В лесу. Я стукнула его бутылкой по голове.

— А... — Тамарино лицо свело судорогой. — И он знает? — Речь шла, очевидно, о капитане.

— Разумеется. — Как хотелось мне тогда, чтобы она испугалась по-настоящему, чтобы задумалась о себе.

— Идиоты! Что вы наделали? Вы с ума сошли! Димыч! — Она метнулась к двери и стала звать его.

— Напрасный труд, он подтвердит где угодно, что его убила ты. Не я, а ты, вот так-то вот. — Я встала, сделав себе из простыни подобие туники, и как ни в чем не бывало принялась раскуривать оставленные Димычем папиросы. До сих пор удивляюсь, как это я могла настолько войти в роль, что ни разу не кашлянула.

— А с какой стати мне его убивать? — мысленно рассуждала вслух Тамара, представляя себя, наверно, на допросе.

— Из ревности, дорогуша, — помогла я ей. Тогда, когда я говорила ей это, я подумала, что во мне умерла актриса. Я поняла, что я еще очень жестокая, мстительная; жестокая и злая. Я не могла остановиться и не хотела.

Пришел Димыч и принес мою просохшую одежду. Рубашка, вся разорванная, была в бурых пятнах. Тамара, не глядя на капитана, уставилась на рубашку.

— Это правда? — спросила она, с неподдельным ужасом разглядывая пятна.

— Правда, — коротко ответил Димыч. — Ужинать будем?

Ужинали на палубе консервами, которые нашлись в камбузе, и печеной картошкой, которую Димыч испек на берегу. «Леда» покачивалась на волнах, держась на якорь и обратя свою корму к большой Волге, словно мечтая поскорее отойти от берега. Остров — а мы находились в небольшом заливчике неизвестного мне острова — чернел застывшими силуэтами леса на фоне мерцающей бирюзы ночного июльского неба. Гудели комары, пахло свежескошенной травой, рыбой и тиной, словом, рекой. Палуба еще не успела остыть и согревала ноги.

— Димыч, красота-то какая, — не выдержала я, приглашая капитана разделить мой восторг.

— Это вот звезд еще нет, — тихо отозвался погруженный в свои думы Димыч, — а как высыпают...

— Два идиота, — подвела черту Тамара и встала из-за стола. — Учтите, я за вас отвечать не собираюсь.

— Ты уже за всех ответила, — ответил Димыч. — Поела?

— Ну... Поела. — Она насторожилась, словно испугалась, что ей в еду подсыпали яду, и недоверчиво покосилась на нас.

— А то, что спасибо принято говорить в таких случаях, — отчеканил Димыч, и даже я вздрогнула от его голоса.

Тамара ушла, а я никак не могла понять, что же изменилось и почему я так вздрогнула. Ведь он сказал обычную вещь. А потом поняла: тон. Вспомнился опять тот человечек, который утром принимал сумки у Брича и говорил что-то насчет пивка и лимонада.

— Ты должен Бричу? — спросила я. В моменты откровения со мной случалось, что я взрослым говорила «ты». Так произошло и в тот раз.

— Теперь уже все равно.

— А много?

— Да нет, всего две сотни. Лизка назанимала, пришлось выкручиваться.

Вернулась Тамара.

— Где Брич? — спросила она громко.

— На острове, а будешь шуметь, и тебя на берег спустим... — ответил Димыч, ничего не подозревая о розыгрыше. А Тамара вдруг вся затряслась и повалилась на колени.

— Я боюсь! Зачем вы это сделали? Мне страшно...

— Ничего, не умрешь, зато без него как дышать легче стало, а?!

Тамара, узнав о нашей злой шутке, ушла спать, прихватив с собой недопитую бутылку водки. Мы с Димычем стали укладываться тоже. Зарывшись в теплые одеяла, я подумала о том, как проведет эту ночь Брич. Капитан, очевидно, подумав о том же, хмыкнул.

— Да на острове народ был, может статься, что дома он уже...

Я ждала продолжения разговора. Хоть и не сговаривались мы, но отлично понимали друг друга.

— Она у меня отчаянная девка, — начал он, выждав, когда стихнет шум проходящего мимо большого судна. — С норовом, в мать. Ей бы отца построже да мать путевую, вот тогда бы и толк был. Обидели мы ее, крепко обидели... Понимаешь, не могу тебе сейчас точно сказать, когда у нас это все началось, когда сломалось, не помню... Может, когда Лизка после свадьбы сразу в город поехала, к парню, с которым до меня встречалась... Приехала через неделю и молчит как рыба. А родни-то — полон поселок. Все меня спрашивают, куда, мол, молодую жену дел. А я им и отвечаю, что в Москву за покупками уехала. Ну вот, вернулась она, значит, словами-то прощения не просит, а глазами так и вымаливает. Понял я тогда, что... того... ну, в общем, что не любит она меня, а замуж вышла так просто... То ли от ворот поворот ей в городе устроили, то ли еще чего, я не спрашивал, а она такая смиренная стала, ласковая.

Прожили мы с ней, родилась Иришка, а тут письмо приходит из каких-то Шахт. Я, понятное дело, читать не стал — не мне же отписано, ей отдал, когда пришла. Дак не надо было, наверно, отдавать ей это письмо... Отсюда отсчет и пошел... — Димыч встал, забыв, что в одних трусах, сел на стул и закурил. — Запил я, скажу тебе, по-страшному. Пил, но Лизку пальцем не трогал, хоть и обзывал, бывало. Жил, как в угаре каком, пока не позвали меня слесарить в одну контору, где Татьяна работала, жена Славки Брича. Разговорились с ней как-то, вот как с тобой сейчас, — дома-то и поговорить не с кем, — и обещалась она познакомить меня со своим мужем. Я капитаном сроду не был, но во всем этом разбирался — на Волге ведь вырос, у отца гулянка была. Но больше всего, конечно, одному захотелось побыть. А на какой работе еще такая благодать? Словом, устроил меня Брич, и вроде как обязан я ему теперь по гроб жизни... Нехорошо, я понимаю, конечно, так говорить о людях, которые тебе столько добра сделали, но ведь как он меня скрутил? Был человек — и нет. Только когда его нет, тогда и отдыхаю. А тут еще Лизка...

Он замолчал, и несколько минут в каюте была пронзительная тишина, какая бывает, наверно, когда закладывает уши. Потом, сбросив с себя оцепенение, Димыч раскурил новую папиросу, и я почувствовала в темноте, что смотрит он на меня. Как бы ему хотелось, подумала я, чтобы вместо меня здесь присутствовала его дочь. Я угадала его мысли, потому что услышала:

— Я ж про Иришку хотел... Росла она под присмотром соседок, учителей. Лизка в свое время шила хорошо, ее в поселке как портниху знают, потому все жалели, никуда не писали, родительских прав не отбирали, хотя, если по-честному, было за что... Сколько раз одну Иришку оставляли... Ну, как оставляли, я-то, понятное дело — на работе, а Лизка, как наберется, запрет ее одну и шастает где-нибудь... Прихожу, а она плачет, дочка-

то, какую-нибудь корку грызет и плачет... Как вспомню, ей-богу, мороз по коже... Ну вот, Иришка выросла, подавайте мне, говорит, то да се да пятое-десятое. А деньги где брать? Стал я калымить — на острова людей возить. В выходные на Затоне только поспевай... И все равно не хватало. Брич знал и все намекал, что, мол, теперь век с ним не расплачусь. А куда было деваться? Потом смотрю, вроде как чужая она мне становится. Не разговаривает, никуда не ходит, хмурая, как ночь... Спрашиваю, что случилось, отвечает, что, мол, выпускной на носу, а у нее ни туфлей, ни платья, ну ничего! Лизка спит беспробудно, когда самогонку не гонит, не работает, понятное дело, денег нет, словом. Я к Бричу — выручай. Дал. Ну, пошли мы с Иришкой на базар, а там цены такие, что я сначала не поверил. Туфли — триста, чулки там, бельишко разное — разор, да и только! Прикупили ей, короче, платьишко, туфельки, чулочки, побрякушки стеклянные в уши, там, в волосы, так дочка моя — не поверишь! — как заново родилась! Целует, виснет у меня на шее, папка, говорит, как же я тебя люблю... Вот такая любовь. А весной ее увидел Брич, первый раз увидел. Женюсь, говорит, на твоей дочке. Танька моя, мол, больная, а я еще мужик в самом соку... Ну, я смеюсь, думаю, шутка, а он стал каждый день об Иришке расспрашивать... А тут и она как-то раз заявляет, что, мол, твой начальник не такой уж и старый, ну, я тебе уже рассказывал... Дура, говорю, на кой он тебе нужен? А она: ничего ты, папочка, не понимаешь.

Димыч потушил папироску и вышел из каюты. Очень скоро вернулся, залез под одеяло, свернулся калачиком и на время затих. Я позвала его.

— Да нет-нет, я не сплю. Думаю просто. Наверно, когда она в техникум поступила, так все и пошло-поехало... В городе девки-то как одеваются? Не в пример нашим. И наш поселок вроде как городской, а все же не так все, как у вас. Наверно, и мозги у людей по-другому

устроены. В общем, изменилась моя Иришка, очень изменилась. Смотрю, то кофточка новая, то еще чего. Деньги, спрашиваю, откуда? Смеется, говорит, на практике заработала. А поди разберись, что за практика такая... А зимой груши как-то привезла с базара. Тоже, спрашиваю, заработанные? Нет, отвечает, один знакомый угостил. Еще сколько-то времени проходит, заявляет она мне: брошу техникум, пойду к тебе в управление работать. Тут-то я и почувствовал неладное. Кем пойдешь, спрашиваю. Секретаршей, ваша-то на пенсию уходить собралась. Вот тут-то я ей скандал и закатил. Смотрю — поутихла, в техникуме все экзамены почти на пятерки сдала. А после последнего экзамена я ждал ее, картошки нажарил, салату настрогал, все чин чинком, ну, винца прикупил, все-таки праздник... Приезжает моя краля... в десятом часу. Она на порог, я — в окно. Что это за машина, спрашиваю? Молчит. Я, говорит, на автобусе рейсовом приехала. А я ж не глухой, слышал ведь, что мотор «Жигулевский».

— Думаете?...

— Я, конечно, догадываться стал. Тут уж дураком надо быть, чтобы не понять...

Он долго молчал, ворочаясь с боку на бок, потом сказал как-то неуверенно, словно боясь обидеть:

— Ну, что? Спать? Спокойной ночи?

— Димыч, а можно, я тебя спрошу?

— Спрашивай, конечно, какой разговор!

— Сам знаешь, день сегодня выдался такой... сумасшедший. И чуть не потонула, и впечатлений столько... С тобой вот познакомилась, на Тамару подивилась... Понимаешь, у меня парень есть, в армии служит. Вот скажи, почему я сегодня ни разу о нем не вспомнила? И любовь, и свадьба через полгода, как вернется. Почему так?

— А это, чтоб не тревожить его там лишний раз...

— Как это? — Я даже привстала с постели.

— Раз любишь, зачем тревожить, зачем? Ведь все равно он далеко, не смог бы помочь, чего понапрасну кликать его...

— Он почувствовал бы?

— А как же, конечно! Ему и без того там тяжело.

— Ну ладно, тогда последний вопрос: а ты женился бы на мне, если б помоложе был?

— Женился бы, — серьезно ответил Димыч.

Утром он высадил нас в Затоне. Записал мой домашний телефон.

— Позвоню, обязательно позвоню, если не уеду, конечно.

— Это куда же?

— Может, к матери в деревню или к брату, в Каменку.

— Все равно позвони, расскажешь, как все обошлось...

Через автобусное стекло я долго глядела на отплывающую «Леду», и мне хотелось плакать. Может, оттого, что я предчувствовала, что больше никогда не увижу его? А ведь это потеря, потеря...

Тамара ехала в том же автобусе, только на задней площадке. На ее голове плотно сидела мамина соломенная шляпка.

Дома мама бегло осмотрела меня, сказала, что я «здорово загорела».

— А кто это звонил, ты или Тамара, я что-то голос не разобрала.

— Тамара, — постаралась ответить я как можно более спокойно.

— У нее ночевали?

— Да...

— Ну и как она там, замуж еще не вышла?

Я открыла было рот, чтобы рассказать, как прекрасно живет Тамара, но тут пришел папа. Они уезжали на дачу.

— Я уж не спрашиваю, хочешь ли с нами... — на всякий случай спросил он, заранее упреждая мой отказ. А у меня от волнения даже в горле запершило.

— А клубника там еще осталась? — спросила я, чтобы мое поспешное согласие не вызвало подозрения.

— Тебе хватит, собирайся...

...Автобус давно ушел, а я все стояла и смотрела ему вслед.

— Димыч, — сказала я вслух, чтобы послушать, как звучит его имя, — Димыч, почему же ты мне не позволил?

Но ответом был тихий дождь...

ДУБЧАК Анна Васильевна. *Родилась в 1961 году в Саратове, в Приволжском книжном издательстве выходит первая книга рассказов. Заочница Литературного института имени М. Горького.*

* * *

В январь мой поезд попал, как в туннель.
И незачем брать ружье, надевать шинель,
здесь победы не может быть:

этот январь бесконечен.

Он навечно мне дан, как врожденная глухота.
Я сегодня заметила: что-то не так.
Глядь: друзья упадают с ладони, словно ледышки,
птицы замерзшие. Милые, что с вами?
встаньте! вам холодно очень?

Лишь во сне обступили вокзальные фонари.
Как покойники, тихо они подошли.
Кто-то двери в вагоне моем отворил.
Значит, путь мой окончен.
Вот и дом за спиною, а дизель исчез.

.....

Я проснулась: за мною заснеженный лес.
А мой дом заколочен.

1988

* * *

I

М.Х.

Ворона спит, качаясь, в клетке березы.
Окно раскрыто, там белое небо лежит
под наркозом.
Под яблоней мальчик стоит, глотает слезы:
Я имя свое уронил с золотого возу.

Повешена слева пустынная рама рощи,
больницы и сада белилами замер росчерк,
почти незаметно, что воздух из жидкого воска, —
лишь пламя когда отразится и ляжет косо.

Но эта прозрачность, наверное, односторонняя.
А с той стороны и не вспомнят, коль имя уронят.
И душен там гул, даже тени там тесно,
хоть места так много.
Нас тоже туда позовут, так что вещи свои
ты оставь у порога.

А здесь только яблоко шорхло сорвется и ворон
(возьми свое царское имя, мой мальчик)
найдет тебе вора.
Он был и ушел, и где его след? — лишь трав хруст.
Возьми свое имя, мой мальчик, и царствуй.
Ты — Август.

II

КИНОЗАЛ

М.Р.

Снег запорошил картины всех укори́зн
и усталого быта.
Это экран в зале, где лампы погасли, рампа разбита.

Полупустой, но все-таки зрители есть, хоть их уже мало.
Щелкают стулья, и снова кто-то выходит из зала.

В чуть засветленную тьму, в сукно из тумана
дверь приоткрыта. Кто-то взглянул на часы, сказал:
еще рано.

Чье это время звенит в не подставленной каплям ладони?
Там, за порогом, слышишь, вода прибывает,
и лодка тонет...

Полно сидеть тебе, милый Протей,
нарисуй же на этой мелованной ткани
то, что ты видишь на том, настоящем, экране.

Может, удастся еще укороченный выдох.
Может, за этим экраном есть дополнительный выход.

* * *

Все остальное вяло. Мне хотелось бы
написать о любви.
Как ты ускользал, а потом ловил.
Как я искала, сжимала, брала.
Как цвет от цвета отслаивала пила.
Как век октоскоп уводил и ломал
пространство на сотни вагонных зеркал.
Как двери хлопали, по коридору кто-то бежал;
он был бесконечный, но в конце оказался причал.
И ты сказал мне: смотри, это море, —
попробуй на вкус.
Это раковина, это бабочки шелковый ус.
Как тяжелую лодку тащили ко дну.
Как песочные брызги сжимались в волну.
Как на дне мы лежали озерами спин.
И забыли, что счет начинается с цифры один.

Милый человек, я не знаю твоего языка.

Яблоко падает за облака.

Ждем дождя.

Вот уж которую ночь мы провожаем друг друга.

Не до смерти любим, но до поливальных машин,
до солнца, повернутого в профиль к Югу.

Все больше простору внутри этих стен; вот опять
последняя книжная полка сегодня открылась

прозрачной,

но дружество наше так темно и зыбко,

как правописание ять;

ты слово сказал, я не понял его, хоть, навёрно,

оно и удачно.

Оборваны шторы, распахнуты двери, рука

лишь наспех задержана в рукопожатье —

куда там...

Ты тоже событий взметнувшаяся мука,

сквозняк, — и некому ставить заплаты.

Июнь — август 1988

Москва — Тарту

* * *

Буксует воздух. Человек отбросил

на город свой прозрачный силуэт,

почти достигнув выдуманной тверди.

Теперь оттуда видно — смерти нет.

Чего ж ты все по-прежнему о смерти?

Ведь, словно стрелки на часах, совпали

все вертикали и горизонтали.

Все тоньше пленка небесного шара;
хлынут вниз заоконные вязы.
На стекле разрастается озеро пара;
вода соберется у глаза.

Разбредутся предметы по разным углам,
связь прервется меж стулом и стулом.
То, что есть отражение в недрах стекла, —
это физика нас обманула.

Звук сорвется как в пропасть на паре шагов.
Лишь его искаженное эхо
бумерангом заденет значение слов,
что меж яблоком дышат и веком.

1990

В ПОИСКАХ НУЖНОГО ИМЕНИ

День желтоват, апрель студеный
(мы — тень белеющих крестов)
и влагой густонаселенный
след от ботинка, дым костров
(жгут листья). Кто бы нас заметил,
окликнул (знали б — живы мы),
но все бредем вот к тем и к этим...
А день так светел, светел, светел.
Оглянешься: он вовсе смът.

Смоленское кладбище, 1990

ПЕТРОВА Александра. Родилась в 1964 году в Ленинграде. Студентка Тартуского университета. Печаталась только в самиздате. Живет в Ленинграде.

СНЕГ УТРЕННИЙ, ДНЕВНОЙ, ВЕЧЕРНИЙ

Рассказ

В 8 часов 3 минуты стеклянная дверь открылась, и тетя Зоя побежала. Впрочем, не сразу; сначала ей пришлось совершить несколько холостых ходовых движений в воздухе: толпа, сжимаясь в проеме, приподняла ее, а сегодня, как на грех, вокруг люд подобрался рослый, хотя и гнутый старостью тоже. Но когда правый толчковый бот тети Зои наконец коснулся пола универсама, она рванулась плосковатой воздушной фигуркой, и тут уж ей не стало равных. Левый глаз тети Зои туманила катаракта, но налево ей и смотреть-то было незачем: пропыленные вавилоны консервных банок стояли здесь вечно, а вот справа, справа в контейнере кое-что могло быть — положим, цыплятки по рупь семьдесят пять, беляшга свежемороженая или лимонелла какая...

Она сделала полшажка в сторону, поближе, и зря: в контейнере пусто, а ее сразу обошел старик с сумкой на колесах, которую он тащил, как пулемет. У тети Зои мелькнули не к месту школьные внучкины стишки: «Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой. Висит плакат: «Долой господ!...»

— Долой, до-о-ол-о-ой, — промычала тетя Зоя, переживая промах.

А переживать не надо. Переживания сбили ритм, и к белому прилавку-холодильнику она прибежала четвертой. И то ладно: к прилавку вмиг прижалась длинная плотная очередь. Ни мяса, ни колбасы пока не было. Тетя Зоя осмотрелась. В середине очереди горели сквозь очки глаза соседки, учительницы-пенсионерки Конкордии Вениаминовны; и тетя Зоя оценила рывок: когда

вбегали в магазин, учительши и близко не было, вон скольких обошла!

Соседка неповторимо, с подныром крутила головой и жадно всматривалась в происходящее за толстым стеклом — там, в квадратном помещении, освещенном, как большой аквариум, нездешней замедленной жизнью жили грязновато-белые фигуры фасовщиц колбасно-мясных изделий.

Тетя Зоя немного покрутилась, утверждая свою позицию; от нее по очереди прошел трепет волнения, а с хвоста прилетело: «По килограмму в одни руки!..» Это не устраивало тетю Зою, и она огрызнулась: «Ладно, ладно, ишь...»

А стояла она сегодня хорошо, как раз на стыке отделов: левой рукой ухватит колбасу, правой — мясо.

И опять задвигалась очередь: раскрылась полупрозрачная створка, и жизнерадостная молодлица начала бросать в белый окопчик прилавка куски зацелофаненного мяса. Редкий кусок достигал дна прилавка — полет прерывался умелыми цепкими руками.

Слева посыпалась колбаса. Раз, два, три... Эх, еще бы четвертый кусок! Трудно тете Зое с короткими-то руками; тем более сзади полезли, поднадовили... И еще Конкордия Вениаминовна разглядела, затревожилась: «Зоя Антоновна, прошу, мне возьмите!» Тетя Зоя рассердилась, вспомнила: надменная в общении Конкордия Вениаминовна, бывало, покрывалась пятнами, когда тетя Зоя воспитывала на весь двор своих внуков любимыми словечками: «паразитки кусок», «зусранец», «морда кирзовая». Отставная же учительница ласкала всех, даже самых-самых, книжным: «ангел мой», «душа моя», «голубчик». «Попроси вон ангела в белом, что мясо нам, как бобикам, кидает», — позлопамятствовала тетя Зоя; в иное время она бы взяла, не велик труд-то, но сегодня не давался четвертый кусок, и это выбивало ее из колеи.

Наконец, бросив тельце вперед, почти на дно прилавка, она выбила желанную упаковку у старика пулеметчика, вцепилась в нее и выскочила из толпы — маленькая, седая, в сбившемся выношенном платке, очень счастливая.

На крыльцо универсама падал, стесняясь своей белизны, тихий утренний снег.

Отстояв еще в трех очередях, груженная, как геолог, тетя Зоя мелкой кошачьей походкой, сбиваясь от сумок с шага, пошла к остановке. В автобусе снова встретилась с Конкордией Вениаминовной. Та сразу завела разговор:

— Осенью отдыхали с мужем на Валдае. Озерный край! «И колокольчик, дар Валдая...» Не бывали? И совершенно напрасно, напрасно...

Тетя Зоя равнодушно пожала плечами, скользнула взглядом по авоське соседки (негустой улов-то!), с нарочитой копотливостью стала перекладывать покупки из сумки в сумку: четыре коробки конфет, четыре куска мяса, три колбасы, три пакета апельсинов, да и по мелочи — булочки с изюмом, сушки, печенье к чаю...

Нет, утро провела она не зря. Было чем гордиться, чему радоваться. Промурлыкала про себя добродушно сложившееся: «Не поедем на Валдай, нам колбаски лучше дай». И засмеялась.

— Заехали в Новгород. С погодой не повезло. Но Юрьев монастырь, кремль с Детинцем... Рассказали, какой подвиг совершают супруги-реставраторы Грековы, — из мельчайших частиц, прямо-таки из праха возрождают гениальные фрески. Двадцать лет работают...

Тетя Зоя давно нигде не была. Двадцать лет назад она переехала с Севера, построив для себя с дочкой двухкомнатный кооператив в близком подмосковном пригороде, из тех, что вплотную теперь жмутся к кольцевой дороге пропыленными палисадниками и наспех слепленными девятиэтажками устаревших конструкций, кото-

рые в столице строить уже нельзя, а здесь, не-в-Москве, пока можно. Время от времени кусок какого-нибудь предместья вдруг объявляют Москвой; очевидно, чтобы приманить люд, не желающий за просто так вдыхать воздух с полей аэрации или купаться в речке, отравленной отходами производства чего-то важного для всего народа, но опасного для каждого человека в отдельности. А за гордое звание «москвич» можно и вдохнуть, и дым крупнопанельного отечества почти что сладок и приятен.

Потная, на ходу развязывая платок, она поднялась на четвертый этаж. Как всегда, в последние дни, пугающая влажная слабость навалилась сразу после третьего этажа. Отдышалась, открыла дверь.

В глубине квартиры громко говорила по телефону дочь тети Зои Лида:

— А теперь против лысины. Пиши. Чайная ложка лукового сока, ложка оливкового масла, столовая ложка меда, крапивный шампунь не забудь, и желток... Чего? Пиши, пиши... Подарочек твоему Сенечке. Вотрешь в его бестолковую макушку. Целлофаном только обмотай. Будет кудрявым, как пудель. А-а-ха-хэ-хо-о...

Тридцатисемилетняя Лида — длиннобудылая, нервная, попка шильцем — была не родной дочерью тети Зои. На Севере в 1950 году тетя Зоя, тогда просто Зоя — недавняя циркачка в самодеятельном цирке, первая певунья на клубной сцене, да и плясунья неугомонная, состояла в женсовете треста и как член женсовета ходила с сердобольными подругами рейдами, все больше по окраинной заовражной части поселка. В одном из домиков-балков увидела: в углу бабки обряжали в последний путь убитую страшной болезнью женщину, при жизни окруженную хмельными дурковатыми кавалерами, а рядом по земляному полу ползало существо с грязным пупом, смотрело с печалью больного зверька косоваты-

ми загноившимися глазами и цеплялось тягучими соплями за неструганый порог. И не плакало.

Отмыть ребенка, накормить, одеть, а после отдать в детдом — так сперва думалось. Но была жива еще мать тети Зои, и она, поднявшая без мужа семерых, словно возвращаясь в безусталую молодость, сказала: «Оставь девку у нас. Вырастим. Сын у тебя уже большой. А Виктор освободится, дак всему рад будет...»

И оставили. Удочерили. Отчество записали — Викторовна; муж Зои и не знал ничего, он терял зубы в зоне где-то под Усть-Омчугом.

Никогда для тети Зои не было вопроса: сказать или нет Лиде, что она — не родная. Сложную для многих нравственную проблему она решала просто, с твердостью: не говорить. И зло окорачивала умничающих доброхотов, не продвинувшихся в воспитании чувств дальше своих списанных из книжек школьных сочинений с эпиграфом: лучше горькая правда, чем сладкая ложь. А доброхотов с годами становилось все больше. Не раз зареванная Лида прибегала к ней: «Разве ты не моя мама?» Все стихло, как переехали.

Лида сегодня работает в вечер. Телефон — ее слабость. Говорит громко, всезнающе:

— Ладно-ладно, мужик — в заднице выюжит. Плевала я на него! Куда он денется. А уйдет, так мне только свистнуть — примчится, как сивка-бурка...

«Почему они так о мужьях? Мода, что ль... Плюют на них, а после спят вместе», — задумалась тетя Зоя и потащила сумки на кухню.

Она думала, что недолго задержится тут; хлебнет чайку, растолкает часть добычи по пакетам и сумкам и ринется кружить по московским улицам в другой конец города: семье сына продуктов подбросить, да и для женатого внука Кирилла, недавно отделившегося от родителей, тоже кое-что было припасено. Но к Лиде у телефона не подступить, и тете Зое пришлось готовить обед

самой. Откормила собравшуюся к часу семью — мужа Лиды, дочку их, Аленку-первоклассницу, — и только тогда отправилась. Вышла к остановке и замерла: куда же еду, старая я кляча?..

Вспомнилась, закипела обида.

В минувшую субботу ее сын Сталь отмечал день рождения. (Да, такое вот имя было у сына — Сталь, Сталик. В тридцать девятом они с мужем ждали дочку — Сталину. Родился мальчик. Но не хотелось отказываться от идеи: уж так ласково и мудро улыбался с портретов вождь всех времен и народов. Через полгода Виктора арестовали. Он оказался врагом народа, в честь вождя которого носил имя его сын.)

А гости в ту субботу собрались степенные, при трудовых наградах и лауреатских значках; ученые, словом, — из секретного института, где руководил отделом Сталь Викторович, сам доктор наук и лауреат. Три дня до события тетя Зоя провела, как солдат на маневрах, — спала вполглаза и по сигналу будильника устремлялась на приступ универсамо-гастрономных цитаделей. Зато теперь стол ломился, и счастье после выпитой рюмки разгоралось в каждой морщинке ее маленького лица.

Пора было подавать сладкое; тетя Зоя пошла на кухню.

— Ходят по институту надутыми индюками. Как же — ученые! А «Илиаду» никто и в руках не подержал. — Захмелевший и серьезный Сталь вошел следом. — Нет, мама, вы послушайте: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, грозный который ахеянам тысячи бедствий соделал...». А наш замдиректора?.. Ну как можно людьми руководить, не зная этих вершин...

— Конечно, Сталик, конечно, — закивала поспешно тетя Зоя. — Тортик-то как резать — от середины или вдоль?..

— Тортик... Ну что вы все о еде да о еде, — рассердился сын. — Право же, бездуховность какая-то. В театр

бы сходили, куда-нибудь съездили бы. В Москве ведь живете. Не всем такое счастье выпадает...

— Счастье, Сталик, счастье... Может, на Валдай съездить? Как Конкордия? У ей духовности полные штаны. Муж на 8 марта духи всё дарит...

— Да, Конкордия Вениаминовна — вот пример, как надо жить в старости. Посмотрите, как она выглядит, — а вы же одногодки... Весь репертуар Таганки посмотрела. Поговорил с ней о театре — истинное удовольствие получил. Эх, мама...

Сын вышел. А тетя Зоя принялась резать торт; рука дрогнула, нож пошел вкось, кусок получился неровный, и она заплакала. Неужели что-то не понравилось гостям? Может, жестковатым вышло жаркое, пироги не пропеклись или мало огурцов в салате?.. «В театр не ходите... Съездили бы куда... На какие шиши теперь-то? И Аленку кто на кружок возить будет... На Марс пора мне собираться, без возврата...»

Ей вспомнилась жизнь в последние годы. Сын женился на москвичке, и его оставили работать в столице. Родился ребенок, ее первый внук Кирилл. Четыре года семья теснилась в десятиметровке коммуналки, где всего обитало двадцать пять душ и пользоваться туалетом следовало в точно обозначенный квартирным распорядком срок; время семьи сына было — с 5 до 5.25 утра. Дала деньги на кооператив и после помогла выплачивать весь пай. Пришлось задержаться на Севере — скопить на квартиру и для себя с Лидой. Переехала. Подрос Кирилл — стала возить его в бассейн, к преподавателю английского языка. Летом откармливала внука на даче, которую снимали на ее же деньги в Болшево. Руки обрывала — таскала туда продукты. Потом у Сталя появилась дочь, Светка. И снова — бассейн, кружок бальных танцев, английский, изостудия. И снова она, тетя Зоя. А тут и припозднившаяся Лида родила Аленку...

Быть может, она сама в чем-то виновата? Вон у Конкордии Вениаминовны восемь платьев и три костюма. И она никогда не занималась внуками. «У каждого человека — своя жизнь. Каждый несет свой чемодан. Я воспитала дочь, теперь пусть она сама растит своих детей», — так говорит Конкордия Вениаминовна. Говорит и уезжает с мужем на Валдай. В театр уезжает. Ни бессонных ночей с мучающимся животом ребенком в обнимку на старости лет, ни беготни по скудным товарам магазинов, ни последних пенсионных денег, которыми затыкаются бреши в семейных бюджетах детей, а теперь и внука: строятся дачи, покупается мебель, машины; вот и не может она до сих пор отложить хоть пятьсот — на смерть, чтоб и место посуше, и поминки с чаркой и компотом, чтоб выпили люди, о ней поплакали, себя пожалели...

У Конкордии Вениаминовны все по-другому. Гладкое в креме лицо, сладкогласое «мой ангел», японская диета, светлые брючки к лету, вечерние променады с супругом.

Тетя Зоя вытерла слезы и отнесла торт гостям. Уехала незаметно. Ночью спала плохо, вздрагивала от сердцебиения, просыпалась от тесного жара в груди.

И вот стоит она на остановке и мучается: «Зачем же я еду-то к Сталю? Все о еде да о еде... Бездуховность... Тыфу ты, сатана, бездуховность какая-то. А я — опять ташу продукты им в холодильники...».

Постояла, пропустив два автобуса, вздохнула и — поехала: куда уж деваться, да и колбаса, однако, пропадет... Думала еще, утешаясь: успеет убраться восвояси до возвращения сына с работы.

Сперва заехала к Кириллу, завалила стол продуктами и, помотав головой в ответ на сдержанную благодарность юной жены внука, снова вылетела на продувную поземистую улицу.

Дверь открыла тринадцатилетняя Светка, и — заскакала вокруг, аж паркет застонал. Внучка давно переросла бабушку, и теперь тетя Зоя опасалась за обстановку тесноватой прихожей:

— Уймись, ну-ка! Ух, паразитки кусок!.. Примерь-ка шапку, связала тебе...

Светка забежала в обновке, разворачивала гостинцы, чего-то уже жевала:

— Бабуль, апельсины — это вещь. Детям полезны...

— Полезут, полезут, чего уж, коль есть захочется, — посмеивалась счастливая опять тетя Зоя. Заводная Светка подбила ее даже на прогулку:

— Давно, бабуль, мы не ходили с тобой в наши поля. Разомнем старые кости?

Их поля — это сразу за старой новостройкой. Они давно привыкли к этому сочетанию: «старая новостройка». Удивительное место. Время от времени сюда съезжаются люди, вероятно, члены какого-то таинственного ордена, строгий устав которого под страхом безжалостного наказания предписывает ношение торбообразных пальто, лысин под шляпами и мятых портфелей. Люди эти ведут загадочные беседы, стоя на крепких, на уже вырастающих в землю кирпичах, устраивают портфели на потемневших досках, чертят вокруг себя обрывающиеся зигзаги, снимают шляпы, надевают шляпы,жимают плечами и, попрощавшись, расходятся до следующей встречи. Потом сюда подруливает самосвал. Из его кузова сыплются доски и кирпичи. Кажется, новостройка вот-вот оживет. Но машина уезжает, и все остается по-прежнему. Опять собираются лысины, шляпы, портфели. Наверное, они никак не могут решить, что же тут построить.

Прежде Светка на ходу сочиняла сказки про это заколдованное место, смело соперничая с Гоголем, недавно прочитанным, и каждый портфель, каждая шляпа, каждый дядя в пальто-торбе играли в сказке свою

фантастическую роль. Сказки были длинные, нескладные, без конца, и тогдашняя Светка их тотчас забывала, а сейчас и подавно забыла, шла весело по дорожке, тормозила тетю Зою, делилась школьными секретами и то и дело напевала песенку: «Снег утренний, дневной, вечерний кружит над городом чужим...»

«Только было утро, а уж и вечер. А день — когда?» — подумалось тете Зое, и она полезла в карман — за бутербродами для Светки.

Убраться восвояси не получилось. Прогулка задержала, но прогулка и развеяла обиды, грудь раздышалась, и тетя Зоя легко, не кляня против обыкновения сломавшийся снова лифт, поднялась за Светкой на пятый этаж. Сталь был уже дома. Высокий, в отца, еще не очень седой (волосы — соль с перцем), поцеловал мать в съезжившуюся щеку, и тетя Зоя привычно засновала по кухне — ужин собирать.

Когда остались одни, сын спросил едва ли не равнодушно:

— Тут такое дело... В каком все же году отца реабилитировали?

— Ты ж знаешь, в пятьдесят шестом. А чего это?..

— Так, пустяки. Пригласили меня сегодня в один отдел... Документы поступили, показали мне... Реабilitировали отца, оказывается, совсем недавно. Пожурили слегка, что дал неточные сведения. Но я их с ваших слов давал, мама...

Снова в груди расплзлась горячая пустота; спросила настороженно:

— И чего еще узнал от этих... от любознательных?

— А-а-а... К чему ворошить. Просто в институте, где я работаю, требуются только точные, тщательно проверенные сведения...

— Проверь, проверь теперь жизнь мою. Теперь все проверяют. Как я у соседки полмиски пшена сперла, чтоб тебе, рахитному, кашу сварить... Война ж... Как

потом молью битый бабкин полуперденчик обманом втридорога продала — ты ведь поближе где не захотел учиться, в Москву собрался! Проверяйте, коль вправе... Матери не веришь, бумажкам веришь...

— При чем тут это? Есть документы. В них сказано, я читал: отец освободился из лагеря в сорок девятом, а вы вышли замуж за Заруденского летом сорок пятого. Отец еще сидел, и, конечно, жениться не с руки ему было... А вы говорили всегда, что расписались с Заруденским только в ответ на женитьбу отца. Отец и вообще не был там женат, и потом, на поселении... Он же вас, оказывается, звал туда, а вы не поехали. Путано-перепутано все...

Сковородка выскользнула из помертвевших рук; тетя Зоя заговорила тонким, теряющим в сдавленном горле силу голосом:

— Бумажки, факты вам! Не уйметесь все, родителям косточки перемываете... А я любила, любила Лешку Заруденского! Чего вы все лезете в душу-то? То бабка твоя, господи прости, против Лешки меня подговаривала... Уж я в могиле одной ногой выплясываю. Выжатая вся, как лимонелла — рыба мороженная. Ничего у меня для себя не осталось, ничего, ни копейки...

Эх, Лешка, Лешка, где ты? Неужели это возможно, что и ты сейчас неряшливым стариком бежишь за куском ненастоящей колбасы и так же счастлив, если он тебе достанется; воркотун небось и высокомерный брюзга. Как же: бывший директор общественных бань. А может, и нет тебя. Может, сошлась давно над твоей широкой грудью, на которой так покойно было бедовой Зоиной голове, сошлась земля в стылый могильный холм; старше ты ведь, кажется, да и не стойкий, говорят, вы народ, крупные мужики... Все пел под гитару: «Отойди, не гляди...» А сам глядел, глядел вынимающим душу синим детским взглядом, в котором не было ни капли правды.

Недолгой оказалась их супружеская жизнь. Фельдшерица из амбулатории лицом была глаже, песен знала поболее, а на платье у волнующего выреза носила бантик в виде золотистой бабочки, всегда готовой к смелому полету.

Эх, Лешка, Лешка!..

А Виктор освободился, что ж, вернулась к нему. В долги влезла — сшила мужу габардиновое пальто, костюм из ткани «метро», зубы вставила: Колыма-мамка даром не прошла... Плакали вместе, когда Виктор, быстро пьянея, хрипел: «Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы...»

О чем плакала она, о чем?

И пятидесяти Виктору не сравнялось, умер. Говорили так: слабый человек, водка сильнее оказалась...

— Не обижайтесь, мама, но за отца вы должны были бороться. — Сталь Викторович говорил давно, но она только теперь услышала его слова. — Надо было лечить его, спасать, а не плакать с ним, не потакать его выпивкам... Что, уйдет, боялись?.. Я уже уехал, но вы-то рядом оставались. Делать надо было что-то... Это был ваш долг...

«Снег утренний, дневной, вечерний кружит над городом чужим», — пела в ванной Светка.

— Суди мать-то, суди, сынок...

Падал и падал снег — чистый, вкрадчивый. С пустой сумкой и тоскующей душой брела вечером тетя Зоя от дома сына к остановке. Но свернула вдруг, на слабых ногах поднялась по ступеням здешнего универсама. Грохотали двери, заходились в трескучем денежном азарте кассы, люди терлись друг о друга в очереди, усиливая до критической точки врожденное чувство коллективизма: похоже, в недрах надменной торговли случился сбой, и она на миг размякла, подобрела — на прилавки полетели коробки полузабытого зефира в шоколаде. Слабость

ушла, тетя Зоя привычно воткнулась в толчею, и даже в груди у нее палить перестало.

Младшая внучка Аленка обожает зефир в шоколаде. То-то радости будет...

Александр ПОЛЯКОВ. *Родился в 1949 году в Северном Казахстане, в поселке Жолымбет. Затем переехал в Гатчину под Ленинград, где после школы работал грузчиком, наборщиком, токарем, электриком. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Был специальным корреспондентом «Магаданской правды» и «Известий». Автор книги художественно-публицистических очерков «Суд памяти». В издательстве «Столица» выходит книга рассказов.*

**...ЛУНА
ЧТО ТВОЙ ГЕНСЕК
В ПАРАЛИЧЕ**

«Кафе. Бульвар. Подруга на плече.
Луна

что твой генсек в параличе».

Иосиф Бродский

**ЧУКЧА-ПИСАТЕЛЬ
ДАЕТ УРОК СЛАВЕ ЛЁНУ**

Коли ты думаешь, что
Карл Маркс и Фридрих Энгельс —
Муж и жена,
То ты глубоко заблуждаешься:
ЭТО ЧЕТЫРЕ РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

Призрак бродит по Европе —
век с протянутой рукой.

ТРИЛОГИЯ «ЛЁНИНИАНЫ»

ВОВА ЛЕНИН И БРОНЕВИК

1

Не пишется не в дневнике
История, а вне:
Буденный на броневике,
И Ленин — на коне, —
Чтоб вождь, какой весьма логичен,
Был более экологичен.

2

Наказан был — и поделом! —
Весь пионеротряд.
Когда решил в металлолом,
Чтобы закрыть наряд,
Сдать пятитонный броневик,
Не ведая того,
Что там, на крышке, большевик
Живей всего живо-
Во!

3

«Единство партии с природом!» —
Что, не считаясь с недородом,
Но признается всем народом
И добровольно — на века
Прибито у броневика
В виде лаврового венка —
Вечноживова,
Вова!

ЛЕНИН И БРЕВНО НА КОММУНИСТИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ

Оно несло одно бревно,
Куда несло — не знало, но
Их, как единое звено,
Оправдывало то бревно.

Их было четверо в кино:
И каждый был из них бревно,
А в совокупности — одно,
Но эпохальное бревно.

Дела, минувшие давно:
Истории, ей все равно,
Где было срублено бревно,
Откуда выпало на дно,
Кто гробил с Лениным одно
Мемориальное бревно.

Но дальше выплыло — говно:
6071
Письмо в ЦК пришло: «Бревно
Нес лично Я! — без всяких НО».

.....

Закончу историю — песнею:
СЕМИДЕСЯТИ — платят пенсию!

ЛЕНИН И ЛЮБОВЬ

Товарищ Сталин Надю не любил.
Да и за что ее любить-то, Надю?
Хотя и бить-то не за что бы НАДЮ,
Но бить-то есть хотя бы по чему.

Товарищ Ленин НАДЮ полюбил,
А не Инессу, Александр Исаевич!
Он в Шушенском впервые полюбил,
И горько — напоследок — в Горках.

Но это была странная любовь,
Легально-нелегальная, в газете,
Не в шалаше, заметьте, а в подполье! —
Зато Надежду нежила свекровь.

Но странности усугублялись тем,
Что вся любовь перерастала в ссору
С Иосиф Виссарьевичем, к позору
Жены, чтоб вскоре умереть затем!

Уж тут-то Коба распустил усища,
На Наденьку прикрикнув: «НЕ ВИЗЖИ!
НЕ ТО ДРУГУЮ ЛЕНИНУ ВДОВУ НАЙДЕМ», —
ууссышься:
Во что, бля, значит, настоящие вожди!

РОДОСЛОВНАЯ БОЛЬШЕВИКОВ

Торжества марксизма для
Стенька Разин на поля
Битвы

 вывел голытьбу
И открыл пальбу
По буржуям,

 значит, он
Был почти Наполеон,
А по духу — большевик,
Что залез на броневик
И Радищеву сигнал
Подавал из «Авроры» —
Грибоедовский канал
Монархиз(е)м доконал
До буденной прорвы
Перекопа,

 Ленин где
По мощну стоял в воде —
Море — по колено! —
У тебя на бороде,
Герцен, поколенье
Декабристов выросло,
Разбудивши ремесло
Всяких нигилистов —
Чернышевских «Делать — что?» —
«Черпать воду решетом!» —
Хоть мокро и мглисто,
Приказал Плеханов-сноб,
Толкователь вещих снов,
Соблазнив ребенка
Царством рая на земле! —
В городе и на селе,
Вплоть до жеребенка
Осчастливить всех и вся

Добровольно, а — нельзя
Будет — подневольно
Мужиков, коней и коз
С курами загнать в колхоз
Сталин под конвоем
Догадался,

недоспав

В семинарии забав
С допотопным адом —
С дыбой, крючьями, плетью
Стеньку с малыми детьми
Где пытали гадом,
Где питали ядом
Коммунизма —

весь народ

Чтобы никогда не спал,
А совсем наоборот —
КРАСЕН был и АЛ!

Владислав ЛЁН — московский поэт и прозаик. Лауреат премии имени Владимира ДАЛЯ (1985г.), которая раз в два года присуждается в Париже за лучший русский роман. Главный редактор альманаха «НОЙЕ РУССИШЕ ЛИТЕРАТУР» («бронзовый век»), издающегося с 1978 года на русском и немецком языках (параллельные тексты) в Австрии, Зальцбургский университет. Вице-президент Российской академии экранных искусств (киноакадемии). Генеральный директор программы ГОД РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ — 1991, проводимой в рамках «Всемирного десятилетия развития культуры» ООН.

ПРИВЕЛИ К АДАМУ ЕВУ

Глава из романа

Она должна была приехать полуденной электричкой. Он же добрался раньше, утром: не хотел ехать вместе с нею. Хотя то было время, когда он еще не стеснялся ходить и ездить с нею открыто, на людях. Когда они бывали вместе, она брала его, неловкого, негнувшегося, под руку, и он сразу становился ловчее и, пожалуй, моложе. Ловчее, потому что моложе.

Брала его под руку с некоторым вызовом ему. Был тут и вызов окружающим их в данный момент, но в большей степени — ему. В упор. Словно подзадоривала его. И разница между ними — четырнадцать лет — сглаживалась. Происходило перераспределение зарядов. Он, взятый под руку, сбрасывал, она, взявшая, прибавляла. Равнодействующая выходила вполне приличной: все же на дочь и отца они еще не тянули.

Никогда не бежал ей навстречу. Добравшись до условленного пункта, топтался на одном месте либо прижимался к ближайшей подворотне. Она всегда замечала его первой — может, потому что и приходила первой, раньше — и налетала на него, как засадный полк. Как она бежала к нему! — на лету раскрывшаяся, распахнувшаяся, ноги, если снег, разъезжались в стороны. Издали обдавала его карим, брызжущим, совершенно овчарочьим блеском — она и бежала так, как когда-то, в детстве, прыжками неслась к нему, сметая любые преграды, заложив умильно уши и распушив тяжелый, как хоругвь, хвост, овчарка Чара.

— Ты — Чаро-дейка, — сказал ей однажды.

Не поняла. Точнее — поняла по-своему. Нет на свете женщины, более падкой на комплименты, чем Чара. Они ее даже не пьянят — безумеют.

— А муж у тебя какого роста?

— Восемьдесят шесть.

Он осекся: ясно, что слово «метр» опустила, щадя его самолюбие. Его «восемьдесят два», которыми он всегда втайне гордился, резко подешевели. Инфляция. Инфляция. Хорошо еще, что, спрашивая, не показал себе где-нибудь на уровне переносицы.

После нескольких ночей ходить с нею днем по улицам ему стало не по себе. Казалось: все видят, что у них б ы л о . Что у них — б ы в а е т . Подвозя ее к дому на такси, садился на переднее сиденье и, не поворачиваясь к ней, нарочито громким и родственно-наставительным голосом просил ее передать привет матери Татьяне Семеновне.

Не милый друг, а да-альний родственничек.

А она сзади, исподтишка, залезала ему прохладными пальцами за шиворот, щекотала лукаво шею, а потом еще и покусывала — пальцами же — мочку дальнего, от шофера, уха.

Ближнее, к шоферу, тоже, наверное, начинало краснеть.

Физиомордия водилы, на которой он всякий раз и практиковался и которую искоса держал в поле зрения, освещалась вполне осмысленной ухмылкой.

Ни кого ни разу не провел. Как ни старался провести и быть проведенным самим собой.

* * *

Но на сей раз ему хотелось приехать раньше нее: посмотреть, что за сарай сдают им внаем на два дня. На субботу и воскресенье. Его сослуживец, к которому он, запинаясь, обратился с просьбой, с какой всегда в конце

концов обращается к какому-нибудь близлежащему самаритянину человек в его положении, так и сказал:

— Да есть у меня сарай в Заветах Сергея Мироновича Кирова, приезжай.

И посмотрел долгим удивленным взглядом — как оно обычно и бывает. Павел пробормотал еще что-то насчет возможной оплаты — кругом ведь тотальный хозрасчет — за амортизацию, так сказать. Сослуживец промолчал, что само по себе тоже было симптоматично: хозрасчет...

Приехал пораньше и потому, что хотелось глянуть на сарай и, может быть, к ее приезду хоть мало-мальски привести его в жилой вид (сослуживец произнес слово «сарай» таким казанским тоном, что Павлу сразу представились пыльная, в солнечных пробоинах, полутьма, хомуты на стенах и усердное совокупление мышей на полу), и по другой причине.

Хотелось пораньше, до ее приезда, избавиться от сослуживца. Ибо ключ тот сразу не дал, сказал:

— Приедешь, все покажу, понравится — останешься. А мне как раз в субботу в Москву надо.

Как будто мог существовать на свете амбар, способный не понравиться им на тот момент!

Взял с собою три бутылки шампанского, заехал перед электричкой на рынок: редиска, черешня, клубника. Не удержался: лучку и чесноку тоже взял — уж больно хороши, полновесны были пучки. Раньше, наверное, снопы такие вязали. А его медом не корми — корми горьким: лук, чеснок, перец... Что-то нерусское, темное в крови. Лупит чеснок так, что макушка потеет. Она у него и не облысела — она у него выпотела. Вымокла.

Цены под стеклянной крышей Центрального рынка тоже были выращены, вынянчены диковинные. Парниковые. Оранжерейные. Впервые в жизни дороговизна льстила ему, как льстит она кавалерам, покупающим розы для своих одалисок.

Спасительная российская принадлежность — рюкзак. Если люди у нас еще и не рождаются с рюкзаками на спине (хотя в Вологде уже отмечены отдельные случаи), то умирают с ними — это точно. Вся страна в рюкзаках. И особенно — старость. Голодно, добычливо рыщет по большим и малым столицам. Ковыляет, спотыкаясь, под переметной сумой всеобщего равенства. Как будто собственная мать пошла по миру.

Есть такой «сидор» и у Павла, хотя сам он вроде бы из класса Сидоровых, рыщущих, уже вышел. К другому, парящему, правда, пока не прибил, но из этого вышел. Однако рюкзак еще имеет: так вылупившийся цыпленок, уже крылатый, таскает на гузке солдатскую каску своей скорлупы. На всякий случай.

Сказано ведь: от суммы, от тюрьмы и от чужой жены — не зарекайся.

Ему, однако, осталось тут немного. Многочлен сокращается.

Нагрузил рюкзак, добрался на электричке до поселка. Довольно быстро, по схеме, которую тот нарисовал ему на листке еще в конторе, нашел сослуживца. Он таскал воду из колонки, поливал гербарий вокруг сарая.

* * *

Сарай вполне приличен. Прибеднялся сослуживец — как будто Павел собирался его раскулачить. Единственное отличие от обычного деревенского дома заключалось в том, что стоял сарай в чужих задах. «На чужом плане», как выражаются домовладельцы. Видимо, когда-то это был дом, в нем жили. Стоял в конце, в углу громадного участка, как собачья конура на огороде, почти с головой скрываемой летом крапивой. А потом разбогатели, содрали с огорода капусту — может, на ней и разбогатели, — вылезавшую купоросными морскими волнами прямо на улицу, через забор из почернелых и кривых

сlegt, и засандалили на ее месте капитальный пятистен-
нок. Уже вплотную к улице, окнами в нее: теперь-то
стесняться и пригинаться за крапивой было незачем.
Дом! Не сарай.

Сначала отставной дом еще служил кухней, потом и
летнюю кухню справили новенькую, рядом с пятистен-
ком, а старое жилье получило наименование «сарай» и
было продано — сослуживцу Павла.

На торгах-то, вероятно, продавцы называли его «дом».

Покупатель же его на торгах наверняка иначе как
сараем не называл. И — увлекся. По инерции называл
его так — уничижительно — и теперь, когда стал закон-
ным собственником.

По крайней мере, перед сослуживцами, намекавши-
ми на ключ.

Прилипло прозвище к зубам.

Словом, амбар сносен. Хомутов не было. Мыши пло-
дились в разумных пропорциях. Единственным неудоб-
ством было то, что проходить к нему надо через «чужую»
калитку и «чужую» территорию. Своего выхода на ули-
цу не было, как и улицы там, за забором, не было: с той
стороны полого начинался овраг, забитый цветущим
боярышником, калиной, рябиной, черемухой. Аромат
початого лета курился над оврагом, удерживая на весу,
в удушливо-сладкой атмосфере, мириады нетрезвых,
гексамером бормочущих что-то себе под нос насеко-
мых.

В своем же некогда дворе изба стала приживалкою.
«Как перед новою царицей порфиноносная вдова». На-
резанный ей земельный надел вмещался в пределы тени,
отбрасываемой избой.

Сослуживцу этого вполне хватило, чтобы укоренить-
ся всеми видами огородной флоры.

Павел не решился сразу ставить вопрос ребром. Для
приличия поначалу даже принял участие в поливе гус-
то-зеленой тени, отбрасываемой «сараем»: сослуживец с

удовольствием всучил ему дополнительную пару широкоустых оцинкованных ведер, которые южане называют «цибарками». Колонка тоже стояла на «чужой» территории. Но хозяева были щедры и приветливы — видимо, земледельческий раж соседа-покупателя их подкупал. Землю-то, наверное, все равно втайне считали своею. Никуда, мол, не денется, нашему двору и прибудет. Как у Никиты Сергеевича когда-то была полная уверенность, что именно он и «закопает» капитализм, так и у крестьянина почему-то полная уверенность, что город он в конце концов закопает. Сперва город его, теперь он — город.

Вопреки своему предварительному заявлению сослуживец в Москву не торопился.

Павел спросил — с расчетом, — как у него дверь замыкается? Тот показал, но ключ не передал. Павел нервничал: до электрички оставалось меньше часа. Он неожиданно понял, почему медлил сослуживец. Хотелось увидеть, кто придет к Павлу. Сослуживец был, вероятно, уверен, что придет — сослуживица. И даже, наверное, прикидывал варианты. Приятная встреча! Здравствуйте вам! Где-то мы с вами виделись... Может, из тех, кто уже, чем черт не шутит, и бывал здесь?

Как же гнать человека? Как же лишать его редкой возможности убедиться в своей прозорливости?

Бедная его голова: там ведь такие процессы сейчас бурлят — компьютеру третьего поколения не снилось.

Черт с ним! Даже некоторое злорадство шевельнулось: то-то будет разочарован! Не из конторы. Не виделись. Рот разинет.

Павел уже предвкушал, как его сослуживец разинет рот и нитка слюны изумленно повиснет под нижней губой. Даже настроение поднялось, так живо представил эту замечательную картину.

К служебному адюльтеру относился безглаголиво. Дело-то само по себе неизбежное: мужики и бабы трутся

задницами друг о дружку в коммунальной теснотище конторских клоповников. Как в бане: не захочешь, да цапнешь. Тем паче что сослуживицы, судя по всему, ходят на работу не служить. У них свое понимание службы — не работы, а чего-то более естественного. Являются сюда в несколько расслабленном, восковом состоянии. Дома — вполне неприступны. Дома-то они как раз в броне работы и заботы, хотя и рассупонены до совершенного неглиже — никаких препон, кроме домашних тапочек и бигудей. На работу же, напротив, приходят упакованными и подтянутыми, как сардельки (благо последние сегодня тоже не пренебрегают макияжем), но — с абсолютно капитулянтскими глазами. Сам спертый конторский воздух насыщен миазмами пола.

Не взять почти что грех: так близко и плохо лежит.

Не дать, наверное, тоже.

Брал. Воровато, стыдась наутро, и все же — было. Случалось. Замечен — по утрам.

Но коридорным ходоком не был. Сослуживиц не коллекционировал. И перед сослуживцами потом, загибая облизанные пальцы, по пьяной лавочке не выхвалялся.

Павел давно заметил: мужчины на работе работают (и выпивают), женщины же на работе живут. И наверное, интереснее, регулярнее, чем дома. С каким энтузиазмом сервируют они те же конторские выпивоны! — дома не усердствуют так.

А как они нас хоронят! Умирал бы и умирал неоднократно, чтоб только глянуть сквозь смеженные веки, как искренне и нежно они оплакивают тебя где-нибудь в зале для общих профсоюзных собраний!

Да было бы, наверное, противоестественно, если бы, проживая на работе едва ли не большую и лучшую часть своей жизни, женщина в конце концов не свила бы на ней постель.

Анна Каренина пала б значительно раньше, будь она примерной служащей департамента железных дорог.

Столь тесное взаимодействие полов просто не может ограничиться лишь производством бумаг или коленчатых валов.

8 часов 12 минут, — кто из них выдержит столь длительное вдовство! Единицы...

Ищи, Маша, должен быть!

И, естественно, находят.

Они находят даже чаще, чем находят их. Пальцы, наверное, очень чуткие — возбуждают. И Некто возникает вдруг там, где быть его ну никак не могло — сплошное старичье или сплошные члены партии и профсоюза. Или сплошные недоступные начальники — впрочем, говорят, что это и есть самый чувствительный ареал. Самая эрогенная зона любой конторы видна еще с улицы — там, где в окнах торчат кондиционеры.

Все объяснимо и, может, поэтому, считал он, слишком убого.

Скажите на милость, какое фантастическое разнообразие: поменять жену на сослуживицу, которая мозолит тебе глаза еще больше, чем жена! Я помню чудное мгновение! — каждый день в девять часов утра.

В детстве проводил следующий опыт. Ловил курицу. Распластывал ее, хрипящую и заводившую слюдяные рыбы глаза, на земле, проводил прямо перед ее разинутым в панике клювом палочкой круг. Отпускал бедную хохлатку, не причинивши ей никакого вреда. Но она, сразу затихнув, впавши в некое летаргическое состояние, так и оставалась в этом слабо очерченном круге...

Адаму привели Еву и сказали: выбирай!

Но он-то, дурень, не знал, что она — единственная. Ему, дураку, казалось — лучшая.

Павла, надо сказать, вообще угнетала временами жесткая предопределенность жизни. Не только так называемой мужской. А вообще. Ее столь очевидная исчерпаемость. Безальтернативность, как моментально подсказали бы сейчас из телевизора.

Покорное, фатальное непереступление проведенной кем-то для тебя черты. Круг работы и круг дома — суть один и тот же. И ты, вроде бы крылатый, распростерся в нем, закативши глаза и разинув глупо клюв: что положат в него, то и сожрешь.

С работы часто ходил мимо Пятого часового завода. Время его возвращения со службы совпадало иногда с окончанием смены на заводе. Павел брел уныло по тротуару, когда на него выплескивала вдруг шальная волна лимитчиц. Как на асфальтированный пляж — выхлестнет невесть откуда, вся в пенных барашках, гарцующих на крутом и высоком крупе, окатит, подтопит ленивых лежебок да еще и понесет их, обдирая вельможные ляжки, в совершенную неизвестность. Горластые, гривастые, в разноцветных дешевых платьях и кофточках, распираемых изнутри силой мужского воображения, обдающие каким-то настоявшимся, хлебным теплом и потом — прелым, здоровым, кобыльим. Тоже настоявшимся. Не обращают на праздную публику, в которую вклиниваются, которую затапливают, разметывая и сбрасывая ее небрежно, походя, аж на проезжую часть, ровно никакого внимания. Или делают вид, что не обращают ровно никакого внимания. Щебечут, регочут, горланят. Вынимают на ходу гребешки и пудреницы, подмазываются, косясь в сияющие зрачки дешевеньких зеркалец, выпрастывают и берут на изготовку объемистые авоськи, готовясь, говоря военным языком, к атаке с ходу на близлежащие продмаги. Где так их и жда-а-ли.

Как будто восемь часов кряду только и делали, что напирали стеной на перекрытую калитку проходной, чтобы сейчас, в 6.15, наконец свернуть ей шею — заодно с вахтером — и вывалиться гурьбой на волю.

Где так их и жда-а-ли...

Толкаемый бедрами, локтями, сумками и полным пренебрежением к нему, Павел замирал, переставал шагать, отдавался яростной инерции волны. Вдыхал аб-

солютно чужой — или забытый? — воздух, острый и пряный, хлебный и хлевный (большинство лимитчиц наверняка деревенские). Был неисчислимо обнимаем, ласкаем, как баскетбольный мяч в момент смертельной схватки под кольцом, абсолютно чужими, недозволенными касаниями. Погружался прямо в лоно чужого и женского.

В набегавшую волну.

Чудные, дерзкие профили, изумительно плодородные линии безупречных млекопитающих, ленивой волшебной отсвечивающие глаза или просто до озноба, до мгновенной сердечной тошноты влекущий русалочий зад, чьи полусферы еще слитны и выпуклы, как у спелой, нетронутой лезвием дыни, встречал он, отмечал обострившимся взглядом, фонограммою пульса, возникавшего вдруг у него в ушах, выцеливал в этой табунной лаве.

Табор переходил через улицу.

Один когда-то ушел за табором.

Павел бы ушел за т а б у н о м того табора.

Да увы...

Вот это было бы разнообразие!

Мог бы добираться домой и другой дорогой. Но его подспудно влекло сюда, как иных вечных безбилетников влекут железнодорожные вокзалы. Как далеко бы он мог уехать! — почитал расписание, потолкался в толпе отъезжающих и понуро поплелся «нах хаузен».

Ему тоже хотелось потолкаться, потереться шерстью в этом чужом, грубовато маточном стаде... Выбираю бабу на сожительство...

Много лет спустя, уже старым, заплывшим, перебившимся человеком он побывал на Пятом часовом в свите Президента страны. Прошли через проходную — вон когда удалось ему пересечь запретную зону! — и, теснимые со всех сторон табунами белых халатов, оказались в самом хлеву, медленно двигались по цехам. Забытое, волчье, давнее-давнее ощущение овладело им

на минуту. Даже лица, кажется, узнал. Вздернутые, дерзкие профили, с припухлыми, как бы лопнувшими в процессе эокуляции губами. Это было плотно, выпукло обернутое, запахнутое в халаты, как заворачивают в пергамент ядреный кусок лосося, его же, Павла, постаревшее мужское изображение. В халатах, правда, узнать их было труднее, они делали их похожими друг на дружку. Но халаты же делали их еще моложе, чем тогда.

И запах узнал. Он собирался под стеклянной крышей и только усиливал — наряду с халатами и лампами на столах — сходство цехов с длиннющей дамской парикмахерской.

Одинаковость не обезображивала их, как это обычно случается с женщинами. Она подчеркивала смысл. Род. Доводила до символа.

Род не просто чужой, но — вот где! — другой.

А род занятия... Ну, во всяком случае, не сборка часов «Победа»...

Он хоть и был уже старым и толстым, как обрубок, но место его в свите было не в первых рядах, а в замыкающих. Никто и ни в одной из поездок не обращал на него внимания. Никого не интересовал. И здесь ни одна из женщин даже не взглянула на него.

Теснились, лежали друг на дружке, налегали, наваливались и на него, как на плетень, теплыми грудями, в которых было мучное, крупитчатое — так греет и так плотно, до скрипа, и вместе с тем так по-живому, пухово и податливо, сидит в шелковой материи только мука... Но — тянули головы поверх него исключительно вперед, к головке.

Президент, правда, тоже мог бы не обольщаться на свой счет.

Мог бы, если б слышал, что слышал замыкающий клерк его свиты.

— Где, где Полина?! — раздавалось свистящим шепотом у него над ухом. — Не приехала?.. А-а, — разочарованно и поскучев.

Жена Президента — а в России приобретая знаменитость, дамы первым делом теряют отчество, как бы обрета вместе со знаменитостью и вечную молодость, — одна из самых тонных женщин своего времени и положения, на Пятый часовой, вопреки обыкновению всюду сопровождать мужа, не приехала.

Чутье подсказало.

Как одета? Чем пахнет? Каковы кожа и руки? На самом ли деле такие, как говорят?.. — вопросы, волновавшие душу Пятого часового завода. И, увы, оставшиеся без ответа. Что, правда, многократно увеличивало их вариантность. Если многовариантность таких ответов — цель, то она в данном случае была достигнута сполна.

Могут смешиваться миры, но — не символы миров.

Курица — не птица. А мужик — не кто? Неужели не человек?

Он всю жизнь мечтал о любовнице с Пятого часового завода — и получил ее...

Так и не дождавшись тогда понимания от сослуживца, Павел, умственно выругавшись, пошагал к станции.

* * *

Электрички приходили, уходили, шмыгали без остановки через станцию, как громадные грязно-зеленые ящерицы: только хвосты долго-долго полоскались вслед за невидимым кнутовищем.

Не было. Прошли все сроки, но не было и не было. Сидел, откинувшись на лавке. День солнечный, но не жаркий. Небо в легких пятнах облаков. Калейдоскопично движутся, скользят, перекрывая солнце на мгновение, как перекрывает свечу листок папиросной бумаги.

И подставленное солнцу, небу лицо, кажется, тоже в пятнах, теплых, золотистых и прохладных. И сама земля, перрон — в легких, причудливых пятнах теней. Как бывает под кроной большого, с шевелящейся листвою, дерева. Живое, подвижное узорочье света и тени, тепла и прохлады.

Не под куполом неба, а под куполом дерева. Громадного, так что и листва уже не видна, не осязаема, лишь слабо, молитвенно шевелящаяся, золотисто-засвеченная тень ее хороводит по земле. Живого.

Сидел, полуприкрыв глаза, а мимо катились люди. Перрон жил пятистопным ямбом. Сперва пустота и тишина. Потом с нарастающим шумом — словно кит, отдуваясь, высвистывает развесистый фонтан воды — прибывает электричка. И опять на мгновение тишина. Сопенье дверей — и поезд окутывается пестрым людским облаком. Кульминация. Дачная толпа — как запаздывающая звуковая волна. Павел слышит сначала китовый фонтан и только затем, через несколько секунд, разноголосицу дачной сороконожки. Звук догнал изображение. Опять рутинное сопение дверей, и выстрелившая людским паром, опроставшаяся электричка трогает с перрона. А люди, гомоня и шаркая, увешанные городскими поклажами и бледными, почти матовыми гроздьями детишек, ползут мимо скамейки.

Он уже и не открывает глаза. Если приедет — найдет. А может, уже и не приедет. Пожалуй, ему уже больше хочется, чтоб — не приехала.

Настроение сменилось. С закрытыми глазами он практически не видел людей, шаркавших время от времени перед ним по перрону, как шаркают по Красной площади страждущие попасть в Мавзолей. Но отчетливо видел другое.

Себя. Постыдность своего положения.

Любознательный сослуживец с его сараем и с ухмылкой, которая будет теперь сопровождать его, Павла, по

всем служебным кабинетам. Сам он, заискивающий в поисках угла для прелюбодейства...

Ему казалось, что не только его сослуживец, но и сослуживцевы соседи раскусили его. Тоже знают цель приезда. Глаз у земледельца наметанный, ибо спаривание как таковое составляет основу его благополучия. Поживите месяц в крестьянском доме и убедитесь, как зорко присматривают здесь за круговоротом семени в окружающей природе. Ни капли на землю! Все — в дело! Прямо мусульмане православные. И перед ними он — еще у колонки, авансом — тоже заискивал. Натура такая — нейтрализует людей заискиваньем. Обволакиваньем. И так насобачился в этом, что его уже считают бескостным. Амеба. Удара не получится: кулак тонет в тине покорности и раболепия. И все же он еще не йог. Изредка-изредка — как правило, это связано еще и с бесшумными, но грозными оползнями в погоде, с предчувствием этих безмолвных оползней — в ответ не то что на удар, а просто на неосторожное касание следует непредсказуемо бешеный разряд.

До синей, автогенной рези в глазах.

Люди чумеют от такой неадекватной реакции.

После обычного собрания, на котором один из его сослуживцев (слава богу, не тот, у которого пришлось потом просить ключ), как показалось Павлу, как-то уж очень коварно его покритиковал, он зазвал его сразу же к себе в кабинет, захлопнул дверь на замок и, не говоря ни слова — просто не мог от бешенства слова вымолвить, — ухватил его побелевшими, тоже, наверное, от бешенства, лапами, кулаками за грудки. И даже, кажется, приподнял над полом и, задыхаясь, ринулся с сослуживцем наперевес на таран близлежащей стены. Стена оказалась под вопросом, ибо сослуживец попался увесистый. В нормальном состоянии Павел бы его с поля боя не вынес. Впрочем, сослуживец был невоеннообязанный.

Он выглядел, как крокодиловой величины сом, выдернутый чудовищной силой из лона вод и поставленный — прямо над ними — на попа. Глаза выпучены, челюсти вхолостую косят воздух, внутри которому хода нет, потому как сослуживец взят не просто за грудки, а, что называется, за душу — ни вздохнуть, ни, образно выражаясь, ойкнуть.

— За-а что-о? — восхищенно сипит на коротком пути к стене.

— Н-не зна-аешь, с-сука?! — ответно — глаза тоже небось выпучены — сипит Павел.

Самое удивительное, что, судя по изумленно вращающимся глазам, сослуживец действительно и вполне искренне не понимает «за что». Ему даже в голову не приходит (когда голова в таком положении, туда вообще трудно прийти чему-либо путному), что происходящее убийство с отягчающими обстоятельствами есть реакция на его, пусть и принципиальное, подлинно партийное, показательно-перестроечное давешнее выступление.

Показательное, он согласен, но — не до такой же, право, степени...

И вообще — не принято ведь так в нашем кругу (мире), с братьями по конторе.

Наверное, миллион куда более серьезных, чем только что отзвучавшая речь, преступлений перед Павлом пронесли в тот момент в бедной, сбитой с панталыку сомовьей голове.

— За что?! — да спроси сейчас Павла, он и сам не вспомнит за что.

Похоже, взрывы вообще никакой причинно-следственной логике не следовали. Просто у них был свой период вегетации. Созрел и взорвался — от одной только смены атмосферного давления. Как нарыв.

Как это чаще всего и бывает в жизни, с подчиненными — когда они у него появились — срывался все же

регулярнее, чем с начальниками. И хоть за грудки хватал лишь в исключительных случаях, люди все равно, и без грудков, выпучивали глаза, как от удушья. Не ожидали. Взрывы заставляли их врасплох, ибо, привыкая к полному послушанию и бескостности, они теряли бдительность. И чем больше теряли, тем больше привыкали к нему, безропотно и абсолютно, до простофильства, безопасному, тем сильнее, ошеломительнее было потом потрясение.

— Вызверился... — услышал однажды за своей дверью от человека, выброшенного за нее ударной волной его нечаянного гнева.

— Вызверился...

Не столько испуг, сколько — изумление. Но слово совершенно точное. У него даже обоняние, осязание, слух — не только сила — становились в такие минуты другими. И шерсть дыбом вставала. Мог еще и погнаться следом, и настичь — там, за дверью...

Сам же привечал людей, сходил с ними, был на равных и вдруг — обрушивался. Вызверяется. И чаще всего именно на тех, с кем дружил, на близких себе. Не только на службе, но и вне ее. Вплоть до выставленья их, друзей детства, пинком под зад из квартиры. А за что? Всего лишь за занудство. За то, что ему, пришедшему с работы в двенадцатом часу ночи, прямо из политики, из дерьма, которое еще в горле стоит, ты еще по самые ноздри в нем, друг, верно дожидаящийся на кухне с непечатой (!!!) бутылкой водки, первым вопросом, едва переступает Павел порог кухни, бросает:

— Чего ж это вы Хонеккера просрали, а?

Доброду-у-шнѐ так.

И секунду спустя друг детства вынужден пятиться по коридору под бычьим Павловым напором с тем, чтобы у входной двери, развернувшись, получить коленом под зад, интуитивно поймать обгоняющую его по воздуху

бутылку и, прежде, чем с грохотом захлопнется дверь за ним, успеть только с диагнозом:

— Больной!..

Бба-бахх!!!

— ...а не лечится...

Вторая часть — уже из-за двери, саданувшей, как печать на диагнозе. И потому вторая часть уже в совсем другой, шепчущей тональности. Павел улавливает окончание только потому, что сам стоит, отвалившись спиной на дверь, грудь ходуном, руки трясутся. Жена, возникшая прямо перед ним, в упор, молча и укоризненно качает головой.

— Тоже мне Вилли Штоф и Роза Люксембург в Разливе, — криво и уже виновато усмехается он в ответ на этот немигающий взгляд.

Подлая душонка микроскопического вассала! Будь у Акакия Акакиевича под рукой хотя бы один посыльный, он бы его, будьте уверены, стер в порошок. Ибо в России, замечено еще Достоевским, каждый удар ямщика кнутом по лошади вылетает из удара — кулаком, — которым самого ямщика регулярно награждает, высовываясь специально для этого из кибитки, какое-нибудь превосходительство, торопящееся по своим державным делам — к теще на блины.

Бей своих, чтоб чужие боялись!

Больнее всего и делаем — своим. А с чужими вась-вась. Чужой если и ударит, то не так больно: боль нейтрализуется мгновенной ответной ненавистью. Больнее же всего обласканному, привеченному, прирученному тобой, как был приручен когда-то Лис, человеку.

Потом винулся. Перед подчиненными и друзьями. Перед начальниками, надо отдать должное, не винулся. Считал, на то у начальства и разница в зарплате, чтоб выдерживать подобные амортизации. Но когда наутро угрюмо заходил в кабинет очередного «нарвавшегося» начальника, тот издали, странно, с настороженным лю-

бопытством, как на склонного к спятиванью, взгляды-вал на него и любые подsunутые Павлом бумаги визиро-вал молча и без проволочек.

Павел, правда, отчетливо — отчетливее, чем когда-либо — произносил с порога:

— Здравствуйте!

Ему же отвечали с намеренным запозданием, нехотя и чрезвычайно лаконично:

— Здррр...

Цивильно рычали в ответ. Тоже «вызверялись», но — вполне прилично, по-своему, в меру отпущенного тем-перамента. Или — отсутствия такового.

Больше двух лет на одном месте не работал.

Перед подчиненными же и друзьями потом юлил, ползал, обдирая соски, на брюхе. Брал за плечо, уводил в «темную» начальническую комнату, заднепроходное отверстие, к слову сказать, с персональным туалетом, ценимом в служилом мире выше персонального автомо-биля, ибо далеко не всем, имеющим персональный авто-мобиль, полагается по каким-то совершенно неписаным и никогда не произносимым правилам (они исполняют-ся молча и ритуально) и персональный сральник, — говорил, по-сбачьи заглядывая в глаза:

— Дернем по маленькой, а? Голова что-то чертов-ски болит. На погоду, наверное. Еще со вчерашнего дня.

«Со вчерашнего дня» — как иносказательное объяс-нение. Прости, мол, увечного, Богом наказанного.

Друзья и сослуживцы в таких случаях ответно в глаза ему почему-то не глядели. И долго дичились потом — даже после совместного «дерганья». До тех пор, пока вновь не теряли бдительности. Потеря ж бдительности — это как потеря невинности: попавшись раз, будешь попадаться потом регулярно.

Будь его хамство постоянным, его б и сносили легче. Он и сам раскаивался — уже через минуту.

Сначала заискивал перед каждым, наперед искупая свое возможное хамство. Потом заискивал уже и потому, что в самом деле искупал. Образовался круг, внутри которого он бежал, постепенно выдыхаясь и теряя темп. Лыстец и хам суть всегда одно и то же лицо.

Сослуживец, которого он заманил когда-то в кабинет, не был ни подчиненным, ни начальником. Коллега. Ровня. Пожалуется, — с тупой тоской подумал, прогрев, Павел. Не пожалился. Но впредь на собраниях с критикой по адресу Павла не вылезал. Нашел другие объекты. Более предсказуемые.

— Здрр...

— Здрр... — здоровались они после этого при встречах.

* * *

Жена с детьми дома. Пришлось врать ей про краткосрочную командировку в Подмоскowie: на два дня в связи с ухудшением состояния бобовых. На субботу и воскресенье.

— Ты что там один, что ли, работаешь? Ни одного путного выходного! Совсем заездили человека! — Жена негодует так искренне и так яростно, что ему становится не по себе. Вон даже слеза поплыла по синему громадному куполу глаза.

Жена стоит в халате и в бигудях; у нее были какие-то свои, семейные планы на этот день. Одни глаза у нее не расслабляются ни дома, ни на службе, ни днем, ни ночью: всегда в вечернем, торжественном, сакральном облачении.

Грех, вообще-то, обманывать такие глаза. А если следовать их литургической стилистике, то надо бы писать: смертельный грех обманывать такие клерикальные глаза. Перед ними бы исповедоваться. Может быть, и придется: когда-нибудь потом...

Дети возмутились: у них тоже, оказывается, свои планы на этот день.

— Не уходи. Возьми работу на дом. Мама же берет, — скулит и трется о штанину младшая.

В чем нет на нем греха, так это в том, что «на дом» такую работу он никогда не берет. Не мужское дело, считает, «надомничать». Сам — с инструментом — предпочитает приезжать к работе на дом.

Глаза снизу смотрят не синие, а карие-карие. Можно подумать, что их родила другая.

И все-таки переступил. Попрал. Вырвался. И куда побежал в первую очередь? — за шампанским. И на базар. И покупал все так, как покупает детям, — отборное. Мы за ценой не постоим.

Впрочем, вот еще в чем на нем тоже нет греха: разоряясь на детях, экономит исключительно на себе. Став бывать за границей, был поначалу неприятно поражен: как же сладострастно любят наши мужички-командированные «самошопинг»! День проживешь, наутро спускаешься на завтрак — никого не узнать. Не то что упаковку — кожу каждый, пожалуй, сменил. На более нарядную (черную, например), эластичную и практичную, хотя — каждый не преминет отметить — и выработанную наверняка из нашего же (человеческого?) сырья. Когда увидел такую же метаморфозу с одним крупным русским писателем (почвенником!!!), напрочь потерял интерес к его, в общем-то, талантливым книгам.

Писатель был крупен — не только метафизически — вальяжен, сед, бородат (борода расчесана на две стороны, по-нашенски, по-волжски, по-купецки), фронтовик, друг Жуковского. И самого Коротича друг. И, как обличали позывы после третьей домовито обложить официантку талию волосатой поленообразной ручищей, еще хороший, строевой бабник, к чему Павел всегда относился с неизменным почтением.

Господу Богу помо-о-лимся-а!..

Вылитый дьяк. Старообрядец. Снохач. И надо же. Все слабости суть достоинства и лишь одна, считал Павел, совершенно непростительная даже для такого анафемски породистого мужика.

Сам же он, когда увидел однажды в гостиничном номере коробку с джинсами, подаренную «принимающей стороной», тотчас кинулся мерить их и был решительно разочарован: джинсы оказались совершенно впору.

Нет бы, черт возьми, подарить на два размера меньше — как раз для сына!

Ничего: носит и на два размера больше — как Тарас Бульба.

— Как оценили на улице? — спросил его после «премьеры».

— Совок залипает! — ответил сын совершенно непонятно, но исчерпывающе.

* * *

Сбежал. Обманул. И ради чего бежал и врал? Ради сарая на два дня? Ради этого перрона, на котором сидит сиднем уже битых два часа? И люди шаркают мимо него, как мимо покойника.

И ради кого? Ради кого эта лживая двойная жизнь? Не живешь, а бежишь во лжи по колено. И все эти чертовы удовольствия, спазмы минутного счастья отравлены ложью так, что и сладкое — горько. Стоит ли игра свеч? Бердяев уверяет, что мужчина-распутник неспособен на поступок: пребывает в вечной протрации и нерешительности. Решительны, плодовиты и состоятельны лишь однолюбы.

Да ради кого же, Господи! Что у нее, поперек, что ли? У всех одно и то же. Погрешность равна нулю.

Ради кого? — нос горбатый и длинный, как у Анны Ахматовой. Ахматова, говорят, была в молодости краса-

вицей. Но Павлу на фотографиях она, честно говоря, таковой не кажется. Не бывает красавиц с такими самодовлеющими носами! Красавица — кажется Павлу — Ахматова в старости. Когда нос исчез, как у коллежского ассессора Ковалева. Съехал. Уступил место плавному, покойному благородству линий. Открыл, вывел из зубчатой тени глаза и лицо. (Дождемся Чары в старос..?)

Ради кого, спрашивается?

Сейчас откроет глаза, вскочит энергично — и к едре-не фене все. Хватит! Наблудил. Бери шинель, пойдем домой. В самом-то деле, что со мной, господи?..

* * *

— Что с тобой, Господи?! Павлик! Родненький...

Люди оглядываются. «Родненький Павлик» никак не годится не только в сыновья, но и в мужья тоже.

— Что с тобо-ой?!

Обрушивается на него, как обрушивается овчарка на солдата, надевшего вывернутый наизнанку ватник и изображающего на плацу нарушителя государственной границы. Он открывает испуганно глаза, но все равно ничего не видит. Ему тискают шею, его мокро, бешено и беспорядочно целуют в глаза, в щеки, в нос, в ухо, бессознательно покусывая мочку, делая бессовестнейшим образом искусственное дыхание даже не ему, а тому, что было в нем главным ее сообщником — ее и жизни вообще.

Слезы ее текут у него по щекам. Сердце ее, которое он так любит слушать, прислонившись щекой к ее продолговатому, узкому животу, потому что это у нормальных людей оно живет в груди, у нее же почему-то съехало в живот, теперь, чувствует он, колотится, сокращается, раздувая его, в горле — как в летке.

— Да что же это такое, Господи! Милый...

Несколькими секундами раньше, перед самым первым ее отчаянным криком, что-то пролетело яростным веером мимо него, опавшув щекотно лицо — теперь он заметил, что то был роскошный букет нарциссов: они в изобилии валялись на противоположном конце скамейки и на земле вокруг нее.

Он весь был в цветах, как в гарнире.

Выходит, не заметил, как подъехала электричка. Ни ее самодовольного гейзера не слышал, ни сопенья дверей.

Или Чара выскочила еще до того, как притормозила электричка? Как только увидала его, с головой, запрокинутой на спинку скамьи и с закрытыми глазами, через окно? И выскочила через окно, через сведенную, как зубы, двустворчатую дверь, сквозь обшивку вагона? Прочь полетел букет, с которым ехала, поминутно окунаясь в него лицом. Прочь полетела сумка, что носит она через плечо, со всеми косметическими причиндалами: на другом конце скамьи он действительно увидел черную сумочку с разъехавшейся, как перед дантистом, молнией.

— Привет... Успокойся ради Бога, а то публика от восторга спотыкается. Ничего не случилось: живой я и крепкий. Просто заснул. Сколько ж можно сидеть, ожидаючи...

— Да я бы давно приехала! — громко, на весь перрон, так что народ, сворачивая шеи в их сторону, действительно спотыкается, частит она захлебывающимся от слез голосом. — Села, да, оказывается, не на ту электричку. А она после Мытищ повернула на Фрязино. Я не заметила. Размечталась, дура... Как два дня будем с тобой совершенно одни...

«Держи карман шире, — улыбнулся он про себя. — Одни-одинешеньки — с сослуживцем и с сослуживцевыми соседями».

— У тебя не инфаркт? — брала его голову в свои прохладные руки и заглядывала ему в глаза так, словно во лбу у нее сияло круглое зеркало врача-окулиста.

— Нет, у меня другое.

— Что-о?

Приник к ее уху и что-то шепнул в него.

— Ха-ха-ха-ха!..

В изнеможении от хохота, от всего предшествовавшего ему, опустилась на корточки прямо перед скамьей, на которой сидел Павел, и уткнулась лицом ему в колени. Обняла их руками, и он гладил ее волосы и ее плечи, все еще вздрагивавшие у него под ладонями то ли от смеха, то ли уже от плача.

— Я люблю тебя, — сказал.

— Угу, — ответила — коленями — в святой женской уверенности.

Еще через минуту они уже шли, переглядываясь и, разумеется, под руку, по Заветам Сергея Мироновича Кирова.

Повторилось.

* * *

Человек ехал в поезде из Парижа в Рим. Человек ехал из Парижа в Рим к любовнице. Ехал от жены к любовнице с намерением сделаться ее законным мужем. В начале пути в теплом пульмановском вагоне предавался мечтам о том, как же хорошо ему будет — мужем своей любовницы. Изысканно, декадентски-нежной, молодой — лет на пятнадцать моложе жены — восхитительно образованной: любовница служит гидом в самых сокровенных музеях Вечного города. Он не едет — он летит из Парижа в Рим на крыльях зрелой страсти. (Вот еще один аргумент в пользу нашенского ОВИРа: если уж из Парижа удирают к иногородним и даже иноземным любовницам, то можете себе представить, какая

б миграция отечественных б-дунов открылась бы у нас, закрой мы сейчас ОВИР!). Он давненько уже не был в Риме, поскольку завершал свои парижские дела, заранее наметив столь решительное изменение своей жизни — с тем большею страстью и летит, с тем большим предвкушением встречи в маленькой однокомнатной квартире «под крышей Рима».

Но где-то с середины пути — может, под воздействием наступившей ночи и похолодания в вагоне — в сладостные сны о будущем стали вползать постепенно и совсем другие течения. Вспомнил жену молодой — еще моложе, чем любовница сейчас. Когда она была еще не сварливой развалиной, а юной, рискованной хохотуньей. И житейские мытарства с нею, неизбежные мытарства молодых и бедных, энергичные мытарства ровесников. И страшные совместные ночные бдения над смертельно больным первенцем. И ее надвигающуюся старость — он даже не отъезжает тайно, не сказавшись, а отплывает, оставляя ее, лишнюю и израсходованную, на другом, отдаляющемся берегу, куда возврата больше нет. Одну — наедине со старостью и смертью. Да и собственную старость, наверное, угадал, когда по ногам у него потянул тот особенный, как бы подземный холодок, что гуляет ночами даже в самых добротных, на мучные кули похожих пультмановских вагонах. И испуганно-удивленные, как на руку, замахнувшуюся для удара, взгляды его, в общем-то не очень удачных и удачливых детей — теперь мать будет пилить их с утроенной энергией попранной справедливости.

Стоп-кадр!

И возникла в ночной болтанке щемящая мелодия уже безвозвратно состоявшейся жизни, несущейся по раз и навсегда проложенной колее. И, едва добравшись до нового Римского вокзала Термини, который он любил едва ли не так же горячо и удивленно, как сам Вечный город, подаривший ему ко всему прочему еще и вторую юность, наш герой, кстати, по профессии кажется ком-

мивояжер, рекламирующий и продающий пищевые машинки, покупает билет до Парижа. Переходит на другой перрон и уже через час, печально засыпая, несется в утренней промозглой сырости обратно. Той же колеей.

Люди сегодня читают исключительно газеты или еженедельные иллюстрированные журналы, ставшие в одночасье газетами. Павел же политикой дома только отхаркивается, а читает исключительно Гоголя и новые французские романы. «Изменение» — самый любимый из всех французских «новых», знакомых ему.

Сколько раз он был сам на грани подобных изменений! Все, плод, — а он и сам был плодом, — казалось, уже созрел. Раздумья и сомнения в очередной раз сделали свое. Только руку подставь, и благодарно шмякнется в нее. Но рука всякий раз оказывалась под ним, созревшим, — другая.

Каким-то невероятным усилием, толчком взмывала она, отнюдь не самая высокая на баскетбольной площадке, над сопящей кутерьмой, и мяч, как шаровая молния, опять плясал на подушечках ее выгнутых пальцев с острыми, резко удлинившимися ногтями. Мало иметь фантастическую прыгучесть, надо обладать еще и какой-то совершенно невероятной — собачьей? — интуицией.

Подхватывала, выхватывала его в той крайней, мертвой точке, когда падать он уже по всем законам механики должен был в совершенно другом и даже противоположном направлении. Будь он, Павел, тем самым рефлексирующим коммивояжером, на середине пути из Парижа в Рим, где-нибудь в Шамбери, во время мимолетной остановки трансевропейского экспресса в пульманский вагон вошла б, улыбаясь и посверкивая коленками, новая пассажирка.

— Местов нима, — буркнули б на франко-итальянском.

— Не может быть, — возразила бы по-советски.

И опустилась бы прямо на колени застигнутому врасплох стареющему коммивояжеру.

Сколько раз после ночных домашних бессонниц являлся на работу с твердым решением — порвать. Ведь помимо всего прочего, то же самое, что делает с нею он, делает с нею — на вполне законном основании — и другой. Пусть не врет, он ведь знает: она из тех, кого стоит обнять — и уже сок потечет. У нее сама физиология — насквозь женская. И то же самое, что делает она с ним, ему, то же самое, увлекаясь, распалаясь, наверняка дарит — в эту самую минуту — другому. Законному, а потому, может быть, с еще большей долей азарта и воображения. Ведь в данном случае все — законно. А что законно, то и естественно, не так ли?

В эту самую глухую предрассветную минуту, когда так естественно, бездумно, при полной отключенности сознания, на одной подкорке и потому кроваво и бесстыдно, любят даже самых нелюбимых. Просто откликаясь даже не на чужое желание, а на одно уже чужое тепло. Идя на само тепло, как слепые щенки ползут, выстраиваясь в незрячую муравьиную цепочку, на тепло материнского брюха. Любят, терзают просто из боязни ночного космического одиночества, подсознательно, во сне, овладевающего в такие минуты каждым из нас. Из боязни смерти, наверное, любят.

Пусть не врет, с-сука! Он ведь хорошо помнит, не забыл, как однажды, в самом начале, мимоходом рассказала, что первый раз недовольный шепоток за своей спиной, точнее за фанерной дачной перегородкой услышала даже не от свекра и свекрови, а от «бабушки и дедушки» ее муженька — так и сказала, прогнувшись голосом, как поясницей, «бабушки и дедушки».

— Распутная, — говорила «бабушка» «дедушке». — Обратил внимание, когда обедали, она вдруг плюхнулась не на свое место, а прямо Петеньке на колени? Представляешь, садится за обедом на колени к мужчи-

не, пусть даже и мужу! Ужас! Край света! — возмущалась фистулой бабулька.

Действительно ужас. Другое б дело — за ужином. Или в купе трансевропейского экспресса.

Но ведь садилась же!

В другое б время здравый смысл подсказал бы Павлу: случай-то ведь был еще до него, Павла. Его тогда в помине еще не существовало. И на колени к законному мужу плюхалась совсем другая Чара. Плюхалась юная, верная жена, еще почти невеста. Еще и предположить не могла, как повернется жизнь. Что из верной станет — неверной. В такой час, под утро подобные рассудительные аргументы не в ходу. Они даже не вспоминались. Не мысли циркулируют в затопленном кровью и сном сознании — инстинкты. А если и вспомнилось бы? Молодая, только-только тронутая, не то что не засиженная — еще даже и не задышанная, озорно, косым кокетливым юзом въезжает в чужие колени и даже егозит еще, как бы нащупывая тугой и непоседливой мякотью невидимый стопор.

Какую он уже никогда не увидит. И какой он уже никогда не положит под голову сцепленные ладони — чтоб мягче ей было.

Если б и вспомнилось? Легче б стало или больнее?

В эту самую минуту. И плавится, как воск, в чужих терпеливых руках. И отзывается сначала слабо и нехотя, еще подавленная дневной памятью о нем, о Павле, чтобы еще через минуту окончательно забыться и забиться в припадке бесстыдных предутренних судорог.

Сука-а. Будут насиловать, станет яростно драться, шматовать налево и направо, выдирать зрачки и ятра, но в конце, вздохнув, хлюпнет теплым маслянистым фонтаном, от которого у него, у Павла, все нутро, весь спод занимается сразу холодным, щекотным, ликующим восторгом самца.

Не бывают такие — верными. Верны чему-то другому. Темному, чревному, черноземному.

И, нащупав горячей рукой, почти с ненавистью, с племенным тяжелым мыком — не только сквозь сон, но еще и сквозь стиснутые во сне зубы — наваливается на незащитно, калачиком, девочкой-подростком, брошенной свернувшуюся в другом конце кровати жену.

Приходил утром на работу с твердым намерением позвонить и сказать, что между ними все кончено. Порвать. Обычно сам он ей почти не звонил. Поднимавшие трубку сослуживцы были назойливо любознательны и услужливы: кто звонит? что передать? и т.п. Уже сама услужливая интонация их была подозрительно сведущей. Павлу чудилась в ней снисходительная насмешка. Уже из несоответствия их голосов — его глухого, нутряного, в себя, и ее, звонкого, рвущегося неизменно вон, не только из нее, но и из любого замкнутого пространства — прочитывалась разница в пятнадцать лет.

Но позвонить не успевал. Раздавался звонок, и в трубке звучало:

— Але-о-о...

— Да, — сухо отвечал, уже приготовившись к самым решительным, почти предутренним словам.

Длительное, характерное ее «е-о-о» обрывалось обрывом: настороженным молчанием. И он молчал, выжидая момент. «Для укуса», как определяла она. Когда бросал ей что-то грубое, злое, под дых, она умолкала на мгновение — больше, чем мгновение, молчать не умела — и, сглотнув комок, говорила изменившимся голосом:

— Укуси-и...

Интонация неопределенная: не то вопросительная, не то констатирующая. Плачущей ее почти не видал: глаза лишь блеснут как-то не так, словно их перед этим лизнули, словно их целовали перед этим — неслучайно тот же самый маслянистый мгновенный блеск пробива-

ется из-под размазанных, зацелованных им, разомлевших ресниц и в тот сокровенный миг, когда в другом конце ее, в благодарном устье рождается слабый, как всхлип, щекотный, но мощно отзывающийся в Павле, потрясая его от основания до кончиков ногтей, младенчески безгласный родничок. И никаких проклятий, многие из коих были вполне заслужены им, никаких потегов по резко подурневшим щекам.

— Укусил, — теперь уже определенно констатирующая. И добавит, вздохнув и переворошив в обратном порядке каштановую гриву: — Будем считать, проехали?

Теперь уже в конце явственно слышится вопрос. И что-то еще — родственное мольбе. Он молчит, но по той волне, что поднимается у него в груди, чувствует: действительно проехали. Она же еще теснее прижимается к нему.

«Укусил» — и терминология почему-то собачья.

— Укусил, — говорит-спрашивает она и по телефону. Чтобы, прислушавшись к себе, к ощущению, повторить уже утвердительно: — Укусил.

Глаз ее он не видит, поэтому вполне выдерживает длительную паузу.

— Ты же знаешь, — звучит издалека высокий, высеребренно-звонкий голос, — в с е у меня бывает только с тобой. И только потому, что я тебя люблю...

Масса вопросов. Как можно умудриться с таким нажимом, в разрядку произнести столь короткое и проходное слово — все? И сколько человек, сколько сослуживцев сидят сейчас — ушки на макушке — вокруг ее телефона? Это у него, слава Богу, отдельный кабинет. И что означает эта загадочная формула: «ты же знаешь...» Тоже произнесенная в разрядку. Он с удивлением узнает, что он, оказывается, — знает.

— Не заставляй меня говорить вслух неприличные вещи.

Ясно. Две-три сослуживицы таки сидят. Удивительно, что она на них все же отреагировала. Обычно, если что надумала сказать, то скажет, брякнет в любой обстановке. Даже на улице, в толпе прижмется губами — и зубами тоже — к уху и вякнет, как глухому:

— Как вы там себя чувствуете?

У нее шутка такая: она их (с н и м, — как сказала бы в разрядку) называет в собирательном виде и во множественном числе.

«Эй, вы, там, наверху!» — поет одна. «Эй, вы, там, внизу!» — смеется другая.

Не видит ее, но вся она у него на ладони. Не то что ухом — кожей, пальцами прощупывает все лукавые неровности речи, ужимки ее и хитрости. Массой пронизательных вопросов отвлечен в данную минуту. Здрав и непреклонен в своем намерении. Но поверх его здравости и пронизательности его всеобъемлющего и нелিপчатого знания о ней и о н и х вообще, поверх его сиюминутных сардонических расследований — сколько их там собралось у телефона? — в него уже ударила, в самый створ, теплая и нежная, подсоленная волна. Все остальное, здоровое и враждебное, уже кружится бесплотнo и беспривязно на ее поверхности. Оно уже изъято, лишено корней, просто мечется, подпираемое неким мощно прибывающим, подтапливающим, подпором, чтобы еще через какое-то время — горлом, что ли? — быть извергнутым вон.

Даже если женщина лжет — значит, того захотел Господь.

Что лишь подтверждает, что Господь тоже мужчина. Хочет того же самого, что и Павел, апостол: никакого расхождения в желаниях и надеждах.

Держит трубку, брови все так же решительно сведены и нахмурены, желваки, как грецкие орехи, мужественно перекатываются под скулами. Но кровь-то уже сменилась. Теплая, соленая, сцеженная от гноя и ворва-

ни, все прибывает и прибывает, распирая его, как увядший бурдюк. Держит трубку, говорит решительные слова или еще более решительно молчит, да уже совсем не тот. Другой Павел. Уже — не апостол.

Он и не верит ей — да волна, не спросясь, бьет и поверх неверия.

Он бы и не поверил ей, кабы не знал наверняка другого.

Бог ей судья, как там у нее бывает или бывало с другим, с другими. Все или не все. Но он-то, увы, знает, что у него самого с другими или вовсе не бывает, или бывает совсем не так, как с нею.

Вот с нею — все. Как во сне. Как в самых дерзких юношеских кошмарах. С другими же он, по совести говоря, мужичок плевый. С ноготок.

Пологость местности многократно усиливает опасность затопления. Апостол же Павел живет значительно ниже уровня моря — этим многое и объясняется. В том числе и мнимая легковёрность.

— Ты меня слышишь?

Еще как.

— Почему ты мне не отвечаешь? Что с тобой?!

О, это вечное «что-с-тобо-о-й»... «Со мною вот что происходит: ко мне мой милый друг не ходит...»

— Если ты сию минуту не положишь трубку, я не смогу принять иностранца, которого мне приводят через десять минут, — говорит он хрипло.

— Почему?

— Потому что твой голос действует на него, как флейта на кобру.

— На кого? Не сбивай меня с панталыку, я же о серьезных вещах.

Конечно, уж куда серьезнее — в ее понимании.

— Ну, не на иностранца же, надеюсь.

— А на кого? — Она не только растеряна, она уже и заинтересована.

— Мне просто неприлично будет встать перед ним. Я вынужден буду идти ему навстречу вместе со своим конторским столом.

— Что-о-о?!

«О-о», как это у нее часто бывает, уже переходит в «ха-ха». Догадливость ее на подобные вещи поразительна. Это иногда и сосет, тревожит Павла: откуда она знает все в этом мужском понизовном мире, мире течки, охоты и гона? Из опыта? Живет, ориентируется в нем, как сука во влажных запахах.

— Иначе подумает, что вместо серьезной политической конторы попал в секс-шоп. Или еще хуже: что я — голубой...

Господи, как изумительно она хохочет: трубка у него в руке бьется в конвульсиях. Такой задорный, азартный, полногласный смех, исполненный откровенной женственной силы и тайны влекущих целей — так смеются, даже не лают, а именно смеются, захлебываясь от восторга, уже торжествуя поимку, поятие, когда взяли след. Он, смех этот, в самом деле мертвого поднимет. И Павел ей не врет (может быть, в отличие от нее): голос в телефонной трубке трогает его за самые скрытые струны, за самые недра, выманивая из норки — к его собственному замешательству — нечто, чье появление в служебной обстановке, например, по ходу представительного совещания о повышении урожайности бобовых в 1992 году, просто кощунственно. Да что появление (подобного членства в совещаниях даже представить невозможно!) — уже ощущение, осознание самого наличия этого беспокойного рудимента совершенно предосудительно.

Забыть! Сидят чинные, лысеющие и пузатеющие мужчины с совершенной, стерильной пустотой между ногами.

А прорвется — в обход секретарши — ее звонок, и он уже сидит, предусмотрительно зажавшись, как Адам,

вкусивший яблока. Среди Адамов, не вкусивших яблока и потому всецело, безупречно поглощенных проблемой повышения урожайности бобовых в 1992 году. Его же, ведущего совещание, внимание непозволительно рассеивается, раздваивается: между н и м (читай: е ю) и ними. Бобовыми. И проблема повышения урожайности бобовых начинает видаться ему в несколько двусмысленном, с чертиками по периметру, свете. Того и гляди, вместо вполне законного вопроса о суперфосфате воткнет в повестку совещания вопрос о сексапильности российских измочаленных полей.

Ее звонки не просто мешают ему работать. Они еще и мешают ему воспринимать работу всерьез. Поэтому он и ждет их. Еще и потому. Звонит ему каждый день и по нескольку раз на дню, иногда с промежутками в минуту. «Мы же попрощались» — «Ну и что? Мне захотелось услышать тебя еще раз». Или: «Ты не сказал мне «целую». Иногда он резко бросает ей:

— Перезвони! Запарка...

И она, уже по интонации уловив, что ему не до цирлих-манирлих (не до нее — этого понять была бы не в состоянии), послушно перезванивала. Иногда прямо через минуту, чем вызывала уже не досаду, а смех. И сама счастливо смеялась — перемене его настроения.

И все равно ждет, так и не привык к ее ежедневным и чуть ли не ежечасным звонкам. Это звонки сюда, в жизнь, которую он зовет «мататой», из совершенно другой жизни. Подспудной, органической, смежной. В матату — из немататы.

— Ладно, передавай своему миллионеру пламенный привет. Пусть приглашает нас на ранчо.

В очередной раз проехали. Интересно, как реагировали на ее загонный смех сослуживицы? И что они поняли под этим «что-о-о?!»? И только ли сослуживицы сидят с нею в одной комнате? Такой смех просто не может не привлечь, не поймать в тенета хотя бы одного

сослуживца. Может, уже завелся? Сидит, угнувшись, зажимая, как и он сам, коленями нечто незаконное, не могущее существовать, в дальнем углу за конторским столом, и скрипит, скрипит трудолюбивым пером. Что-нибудь о повышении урожайности бобовых в 1992 году...

Весь их роман — баскетбол. Его попытки взмыть, оторваться, выскользнуть каким-то невероятным предчувствием угадываются ею, и распластавшаяся в воздухе любовь в очередной раз ласково, матерински пересекает его несостоявшийся побег. И на перроне Заветов Сергея Мироновича Кирова его тоже поймали, как беглого каторжника.



Почему-то именно соседи, «землепашцы», как про себя нарек их Павел, хотя были они скорее всего рядовыми пригородными тружениками Москвы, чья «сельская» жизнь укладывалась в паузу между вечерней и утренней электричкой, приняли ее как свою. Почти как собственную гостью. Ей помогали мыть под колонкой редиску и подарили банку малинового варенья домашнего изготовления. Ей подавали — прямо к колонке — полотенце, и она принимала его, искрясь от брызг, как искритя в слезах умытая виноградная кисть. Он издали, от сарая, смотрел на нее. Как она в тонком, нарядном муслиновом платье белого цвета с мельчайшими розами по косому полю, с рукавами, заканчивавшимися китайским фонарем у локтя, в модельных, высоких, нарядных же туфлях, в каких никто и никогда за город, на дачу, тем паче в «сарай» не ездит (куда, интересно, муж глядел, когда наряжалась на выход? — мелькнуло и погасло в голове), стоит слегка наклонясь и расставив ноги перед колонкой, как стоят, расшерепившись, когда мочатся, распространяя вокруг острый, пряный запах ливня и пола,

молодые коровы и деревенские красавицы. И сердце его наполнялось некой чрезмерной сытостью, счастливым довольством — ему, по совести говоря, больше от нее в данный момент ничего и не требовалось. Яркая праздничная, восхитительно-красивая, облитая солнцем и сама источавшая его, она вся была китайский, нежно, абрикосово светящийся фонарь, приземлившийся, рассеивая окрест невесомое свечение тайны, на этот неказистый, в общем-то, сугубо трудящийся — в поте лица — двор.

Двор чувствовал в ней, такой неземной, органическое, черноземное происхождение, потому и принял как свою. Рок страсти, глухой, неостановимый и мерный, правит угрюмую тризну плодородия. Но больше всего вьется вокруг нее соседская дочь — девочка лет шестнадцати. Еще с коленками как у кузнечика. Не знает, как угодить, в чем еще подсобить. Что прозревает она, неразбуженная, нерастроганная, в знамении, посетившем двор?

Сослуживец тоже хлопочет поблизости. Сослуживец в шоке. Хлопоча, одной рукой придерживает челюсть: отпала, когда увидел.

Мало того, что не секретарша. Мало того, что красавица да еще лет на двадцать моложе Павла. (Его ошибку, хоть он и не сказал о том ни слова — вообще замолчал, как только увидел их входящими под руку во двор, — Павел тотчас и ревностно засек по глазам и отнесся к ней с большим удовлетворением: сослуживец не первый, кто ошибался в таком же духе.) Мало того, что вообще не из нашей конторы (а не из т о й ли?). Мало того, что с обручальным кольцом на правой руке — сослуживец не мог знать, что на той же руке, только на среднем пальце, сидит неснимаемо и золотое колечко, подаренное Павлом. Даже когда стирает, призналась, не снимает его. Обручальное снимает, но Павлово — нет. Никогда.

— Я обручена с тобой, — упрямо твердит она, делая акцент на последнем слове.

Значит, когда в ювелирном магазине на Пушкинской — тогда там еще продавали золото, но роенье, многолюдье было уже почти паническое — он надевал ей на доверчиво протянутый палец узорчатое золотое колечко, они и обручились? Да?

Во всяком случае, она тогда так взглянула влажными, посерьезневшими глазами и так протянула ему бледный выпрямленный палец, как, наверно, бывает только в церкви.

Алчный, добычливый гул стоял под высокими, в мушьих мушках сводами, плотная, враспор забившая магазин людская масса толкала, сносила их из центра торгового зала куда-то вбок, они металась перед ее прожорливыми рыльцами, как две крошки хлеба перед изголодавшимся косяком аквариумных ничтожеств, но как только он выдрался сквозь спрессованную толпу от прилавка, как только возник, запыхавшись, перед нею, она сразу встала перед ним, как лист перед травой, взглянула на него безмолвным и затуманенным карим и даже не протянула, а д а л а, подала девически правую руку с трогательно оттопыренным средним пальцем.

Корпускула тишины образовалась на мгновение в недрах слитного, одинаково агрессивного урчанья — как тех, кто уже добыл свою золотую кость, так и тех, кто только отнимал, вырывал ее у других.

Браки заключаются на небесах, а незаконные браки — в катастрофически пустеющих московских магазинах.

Не знал сослуживец! Не видел тот невестин, непорочный жест.

Мало всего того, соображал лихорадочно сослуживец, но еще и не б-дь. Б-ди таковыми не бывают. Все на свете сослуживцы прекрасно отличают б-дей от неб-дей, хотя на словах объяснить тонкую, исчезающую по нынешним временам разницу между ними не умеют.

Павел безотрывно глядит на нее от сарая. И она, занятая своими кухарски-гигиеническими хлопотами — редиска, лук, чеснок, в раздевание и мытье которых пальцы ее ловки, как беличьи лапки, да еще масса всего зеленого, сдираемого соседской дочкой с родительского огорода и бросаемого к ногам заезжей повелительницы, — нет-нет, да и взглянет на него. Каре, лучисто и счастливо. И в этом летучем, как бы извиняющемся за свою занятость взгляде он угадывает ту же самую полноту, сытость органического счастья, которая отягощает и его собственное сердце.

Господи, даждь нам днесь!..

Потом они сидят в сарае. Соседская девочка-подросток делает робкую попытку вместе с блюдом пузырьчатых парниковых огурцов проникнуть сюда, но повелительница, перехватив ее у порога, одной рукой принимает у нее фарфоровое блюдо, а другой ласково обнимает за плечи — и еще милостиво, как бы заискивающе трется щекой о ее щеку — и бережно поворачивает бескорыстную дарительницу вон.

Рано еще ей.

Сослуживец бочком пролезает-таки в собственный амбар. И даже успевает принять бокал шампанского. Чара поднимает бокал, тоже соседский, на уровень глаз и смотрит поверх него, как смотрят в нивелир, Павлу в глаза.

Потом спрашивает у сослуживца:

— А как у вас замыкается дача?

«Дача» — вот сокровенное слово, заветный пароль, на который в конечном счете сослуживец и попался.

— А то будем послезавтра уезжать, вдруг с замком не справимся... — добавляет она масла в костер частнособственнической любви и гордости.

Побежал суетливо показывать. И бокал недопитый забыл. Начало было таким же, как у Павла, но конец оказался совершенно другим.

Что там произошло у двери, Павел не понял. Какой-то казус, в результате которого сослуживец вдруг очутился на улице.

Сослуживец на улице. Дверь — изнутри — заперта. Ключ — у Чары.

Хозяин еще какое-то время дворняжески скребся в дверь. Плащ, мол, забыл — глагол-то какой деликатный отыскал!

— Да нет, — непреклонно бросила Чара уже от стола со вновь поднятым бокалом в руке. — Дождя не предвидится. Я сводку утром слыхала. Дорожите временем. И, — добавила через плечо, вглядываясь смеющимися глазами Павлу прямо в расширившиеся зрачки, — будьте счастливы в семейной жизни — до понедельника!

— Чара! — воскликнул он, вскакивая. — Как можно?!!

— Да брось ты, — взяла она его за руку. — Он слишком многого хочет: и хлеба, и зрелищ. А так не бывает.

ПРЯХИН *Георгий Владимирович, родился в 1947 году на Ставрополье, окончил факультет журналистики МГУ. Наиболее известная из его книг — повесть «Интернат», напечатанная в свое время в журнале «Новый мир» и во многом автобиографичная. Она неоднократно издавалась в СССР и за рубежом. «Континент» предлагает главу из нового романа Георгия Пряхина «Привели к Адаму Еву».*

Эрик Пустынин

А ДАЛЬШЕ ВСЕ ТАК ОЧЕВИДНО...

я понял
коты
нам просто
не доверяют
если бы боялись
только б пятки
сверкали
а то не спеша
с достоинством
удаляются.

* * *

подошел бы
милиционер
спросил
— кто откуда
документы
а я бы
посмотрел ему в глаза
у меня в пакете стихи
мои стихи
разве этого мало.

Работаю дворником в Москве — 1989—1990

* * *

я благодарен Жаку Преверу
впервые открыл его
в новогоднюю ночь
и сразу же после «ослика»
который вместо мальчика
решил задачу
«Новогодняя песня парижских
дворников».

* * *

у каждого
должно быть имя
которое ему нравится
у меня ласковое
прозрачное
у Вас
такое как хочется
а у нее —
голосом будто плывущим
— Эдичка
иди кушать.

* * *

я помню
этот фильм
смотрел в детстве
и даже помню как все было
попробовал прилечь на диван
отец вошел
— совсем обленился
сядь нормально.

* * *

целый день работаю
пашу как вол
что-то совсем не верится
что человек
произошел от обезьяны
благодаря труду.

* * *

я с ней встречался недолго
— купи мне платье
своди в ресторан
Нет!
пора расставаться
чего доброго завтра скажет
— достань Пустынина трехтомник.

* * *

я не могу
водить машину
и починить утюг
мне не по силам
у меня редко
возникает желание
научиться тому
что в принципе
могут все

* * *

— а дальше?
— а дальше
все так очевидно
что и писать неудобно.

* * *

сколько в одну жизнь
умещается встреч
ими можно
заполонить целый дом.

а сколько
случайных прохожих
целый большой город

наверное
именно потому
я так люблю
ездить по незнакомым городам

и ходить в гости
к незнакомым женщинам.

ПУСТЫНИН Эрик (Эдуард Владимирович) родился в 1965 году в станице Старотитаровской Краснодарского края. Учился в Кубанском государственном университете. В армии служил в Афганистане. Работал грузчиком, дворником, воспитателем в ПТУ. Живет в Москве.

* * *

Здесь есть фонтан и нет Фонтанки,
Зато кружится голова:
Налево пляж, направо танкер
Уходит, а приходит два
Сухогруза. На бульваре,
Где все цветет не по годам,
Где все цветет не по годам,
Где с поздним Батюшковым в паре
Гуляет ранний Мандельштам,
Где бюст певца на пьедестале,
Деталь подогнана к детали
И, кажется, легко руке
Весь флот вести на поводке.

* * *

В этом вечере было много луны,
И поэтому, видимо, было страшно
Снять с тебя платье, с себя штаны
И сойтись в заключительной рукопашной.

Кто-то вновь сочинил декорации ложь,
Где на выпасе явится звезд поголовье —
Так пронзительно вечер на любовь был похож,
Что почти не хотелось заниматься любовью.

АПОЛОГИЯ СЕБЯ

В этом подвале
Меня не пытали.

В этой столовой
Кровью лиловой
Меня не кормили.

В этой больнице
Быть мне убийцей
Не приходилось:

Так получилось.

ОДНОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА

Вот и Коля в партию вступил,
Я его спросил, а он ответил:
«Понимаешь, это надо, Петя,
Понимаешь, Пётя, нету сил».

Понимаю, Коля, одобряю,
А себя, увы, не понимаю —
У меня, выходит, силы есть,
Ради выгод забывая честь,
Соглашаться с тем, чему не верю
И нести моральные потери.

А бывает, собственный покой
Из последних сил оберегая,
Не скорблю за ближнего душой,
А ему на горло наступаю.

За себя сгорая от стыда
Знаю: на душе моей не чисто,
Но зато на выборах всегда
Голосую я за коммунистов.

Хорошо, что многие в стране
Трудной, а не легкой ищут доли —
Коля, вспоминай и обо мне,
Коля, мы в одной учились школе.

1986

* * *

Ах, до чего она противная
Подчас — реальность объективная,
Ведет себя как баба пьяная,
То есть практически немислимо,
Нам в ощущениях наших данная
И от сознания независима.

Она ничем не отличается
От нас, в ком бродит плоть и кровь ее —
И еще раньше, чем рождаются,
Дряхлеют наши философии.

Но ею мучимы, как жаждою,
С ней неудачи делим поровну —
И я сердечно рад за каждого,
Кому она вскружила голову.

ПЕСНЬ ГЛУПЦА И НЕ ПРОРОКА

Хорошо на свете этом,
Если только знаешь, как
В жизнь пришел ты: по билету,
Зайцем, волком, просто так.
Я ж не ведаю иного,
Кроме логики такой —
Есть собор Петра Святого,

Значит, Петр был святой.
Он рыбачил в Палестине,
Промышляя, чтит Закон
И до времени в помине
Знать не знал, что Петр он.
Озаренье — что проклятье —
Кто достиг, тому беда:
В непорочное зачатье
Он поверил навсегда.
Мать перечить не посмела,
И отец не поднял взгляд:
Так ли, нет ли — в это дело
Влипла дюжина ребят.
Их идейный вдохновитель,
Даром, что учен на вид,
Ходит, вы меня простите,
И такое говорит!
Говорит: «Пришла эпоха,
Вся земля пойдет под суд» —
С ним все ясно: кончит плохо,
В лучшем случае распнут.
Их не трогают покуда,
Образумится, даст Бог,
Тот же Петр или Иуда —
Я, конечно, не пророк.
Но болтать, что мир расколот,
Совершенно ни к чему —
Разве Ирод был за голод,
За войну и за чуму?
Правил он рукой железной,
Рассерчав, казнил подчас —
Ирод он! Но неизвестно,
Что получится у вас.
Пусть поверят вам на слово,
Что у Бога три лица,
Что досье в аду готово

На любого мертвеца.
Пусть начнут друг друга люди
Как самих себя любить —
Хуже, может быть, не будет,
Даже лучше может быть.
Только что гадать, ей-Богу,
Как нам жить наоборот —
Возвращайтесь в синагогу,
Не нервируйте народ.
Ненадежней нет покрова,
Чем нависшие века...

Есть собор Петра Святого,
Да и Павла есть пока.

* * *

Когда безумствует мороз
В окрестностях Ерусалима,
Ослу доверься, как Христос,
И с тем отдайся власти Рима.

Осел в пути не подведет,
А власть вину твою докажет,
И кесарь скажет: «О, майн Готт,
Еще один еврей туда же».

ОТТЕПЕЛЬ

Зла не хватает на себя
за то, что здесь в то время
родился и чувствовал со всеми
одно и то же. Кормчий корабля,
великий по условию задачи
и, кажется, по счету третий,

курс продолжал к земле обетованной,
рассчитанный в центральном комитете
ума и совести эпохи
войн и революций.
Полудозволенные вздохи
усталости могли моих ушей коснуться
и касались. Я в детский сад ходил
и, значит, состоял на службе...

* * *

Бог даст, и я не доживу —
Не съедут этажи в Неву.

Так равномерен их размах
На двух булыжных берегах,
Что передумает река.

Во всяком случае, пока
Не своды камня над водой,
А то, куда идут домой.

Язык родных осин
С годами мне дороже:
Я тоже внук и сын
Лучины и рогожи.

Из праха предков чьих
Земли российской глина?
Печей ли кирпичи
Здесь согревают сына?

Начнем же словесы
Как сердце сердцу скажет:
Пусть пепел на власы
Врагов России ляжет!

В беспамятстве больном
Мерцает и поныне:
Кто к нам пришел с мечом —
Тот от меча погибнет!

О Русь! Пророчит что
Простор твой необъятный?
Не ведает никто.
И долог путь обратный!

Уверен я — не зря
Ты претерпела муки.
Пусть Истина Твоя
Крепит сердца и руки

Подвижников твоих,
Сынов родных от плоти —
Тысячелетних
Приидущих в соплоте!

1989 г.

Борис НИКИТИН. Родился 15 августа 1946 года в Северном Казахстане (Кустанайская область). С 15-ти лет пошел работать. Окончил школу рабочей молодежи. В 1968 году переехал в Москву. Работал по лимиту на строительстве бетонщиком и гранитчиком. В настоящее время живет в Подмосковье.

ПОД СОМНИТЕЛЬНЫЙ ВАЛЬС

* * *

Ты ли, другой ли... Осталась-то горсточка слов.
Серый орел расправляет гранитные крылья.
Пыли и боли взыскующий плебс городов
В клетке века становится болью и пылью.

Черной вселенской коростой становится то,
Чьи торопливые жабры сосали из слизи
Воздух и волю... Накинь на супругу пальто,
Дочь научи исполнять без ошибок «Элизе».

Сим победиши, продравшись сквозь перхотный
страх;
Жизнью заплатишь за эти слюнявые крохи.
Груды имперской Венеры торчат в небесах
-ическо-оческо-атско-флективной эпохи.

Так называется то, что, вообще говоря,
И пожирает тот воздух, которым мы дышим.
Звука хрустальный корабль, оборвав якоря,
Тает в бессмысленном небе, на солнце горя,
Ржавые звенья согласных роняя по крышам.

Красивовато? Но в этом спасительный яд —
Теплый, целующий, полуразборчивый шепот...
Не отличающий чуда от яда солдат
К солнцу вздымает рифленный распоротый хобот.

Как он трубит! Как манит его царственный бюст!
Как он хрипит и скребет эту землю ногтями...
Свет из окна. Сизо-пестрый сиреневый куст.
Дождик. Жена на веранде хохочет с гостями.

Что ты застыл, как ипритом пропитанный глаз,
Мертвый от всех этих завтра, вчера и сегодня?
Встань и иди. Да сними этот противогаз.
Встань и иди. Он не нужен тебе, ты свободен.

* * *

Мы становимся горькою памятью черных ветвей,
Узким серым кольцом в этом влажном стволе поколений,
Мутной каплей дождя на щеке загорелой твоей,
Убегающих прочь полосой придорожных селений;

Мы становимся, в сущности, неистребимым «ничем»,
Прорастая кривою березой на брошенной крыше.
Ты ведь знаешь куда и, наверное, знаешь зачем
Устремляется взгляд умирающих выше и выше.

Отчего эта грусть? — Отчего вопросительных слов
Не становится меньше с течением тысячелетий?
На горящих полянах апокалиптических снов
Обрывают винты вертолетам железные дети.

Это было уже... Чуть потравленные лепестки,
Желтоглазое «любит-не-любит» в красивой матроске...
У шипящей реки уходящие в воду мостки,
Серый пар изо рта и блестящие черные доски.

Мы уходим по ним, худосочные богатыри
В чешуе потускневшей реликтовых тысячелетий...
Под сомнительный вальс — раз-два-три,
раз-два-три, раз-два-три —
Обернется на берег по пояс в воде тридцать третий.

* * *

Как хороши истертые размеры,
Какой-то в них платоновский изыск —
Монеты нет, остался только серый
В метафизическом кармане диск.

Как тихо тает льдинка на ладони,
И между пальцев, точно между строк,
Сочатся войны, страны, люди, кони
И остается формы холодок.

Взгляни на русла высохшие линий,
Зажми в кулак многоголосый пар.
Планеты нет, остался только синий
В метафизическом пространстве шар.

ОКТАБРЬ 1987

Вот и зимний пейзаж, только разве что снега в нем нет.
В городском октябре на исходе есть что-то воронье,
Та же важность в походке и тот же мундировый цвет,
Эмигрантская верность поверженной царственной кроне.

Что тут скажешь... Молчи и смотри, как безрукий
циркач
Зависает на миг в апогее увечного сальто.
Барский бархатный хохот и детский бессмысленный плач,
И струится холодный песок по морщинам асфальта.

Обреченность бывает не только не страшной, но и,
Как бы это точнее, какой-то пророческой, что ли.
Увязают по локоть во времени руки твои,
Застываешь, как муха в стекле, и не чувствуешь боли.

Что тут скажешь... Мы стали уж слишком поспешно умны,
Слишком цивилизованны, чтобы жалеть человека.
Серый плащ циркача над октябрьским
 безлюдьем страны,
Горделиво кичащейся званьем избранницы века.

Этот миг апогея продлится не дольше, чем миг.
Удивленье на лицах сменилось холодной тоскою,
В октябре на исходе седой длиннополый старик,
Опираясь на палку, стоит над Москвою-рекою.

Вот и зимний пейзаж, только разве что снега в нем нет.
В поумневшей вселенной спокойно, но как-то нечисто.
Та же музыка в сферах и тот же сияющий свет.
На лице циркача юродивое счастье артиста.

Что тут скажешь... Похоже, река обращается вспять.
Черный дым против ветра из белой трубы теплохода.
Все становится ясным, когда ничего не понять.
Туш немого оркестра. Увечное сальто. Свобода.

* * *

И — никогда... И больше — никогда...
Ладонь царапнув, вспархивает птица.
И в собственных объятиях вода
Бессмысленно под берегом кружится.

Догнать? Вернуть? Вопрос стоит не так.
Жизнь только в том, чего не быть не может.
И это вечно юное «тик-так»,
Боюсь, уже небытие итожит.

Они сошлись — начала и концы.
И на столе меж скомканных бумажек —
Четыре желтых лужицы пылицы
От некогда стоявших здесь ромашек.

Еще тепло словам в твоих руках.
Еще дождит над пятой частью суши.
Еще звучит, но где-то там, в веках —
Нежнее, безнадежнее и глуше.

* * *

Я всего лишь осина у русской реки,
неизменная год от году.
И во мне оживают чужие стихи,
чтоб осыпаться осенью в воду.

Я всего лишь ребенок в коротком пальто
и в коричневых мокрых ботинках.
Я беру красный лист, чтоб пристроить его
на своих рисовальных картинках.

Я всего лишь коричневым карандашом
заштрихованная дорога.
И по мне, дребезжа по ухабам штрихов,
едет танковая колонна.

Я всего лишь чуть-чуть перекошенный дом
на обочине этой дороги.
Надо мной завитой аккуратным жгутом
черный дым поднимается строго.

**Я всего лишь зеленый носатый танкист —
неубитый, небритый и в шлеме...
Я всего лишь засохший осиновый лист
в чьем-то детском далеком альбоме.**

БОЛЫЧЕВ Игорь Иванович родился в 1961 году. Поэт, переводчик. Живет в Москве.

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Владимир Леус

ОТ ЧЕГО ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ОРУЭЛ

Нет, не вижу я быстрых путей возрождения страны и России, и обнадеживать, обманывать людей в скорых переменах к лучшему, по-моему, не стоит.

(В. Астафьев)

И опять, через двести лет, самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках.

(В. Набоков)

Как ни транскрибирую на русском псевдоним — Оруэлл или Орвелл, — а приходится признать, что умерший задолго до окончания «холодной» войны очень английский писатель Эрик Артур Блэр сумел угадать (или прозреть) тончайшие детали не только нашего «вчера», но и нашего «сегодня». Ну, хотя бы — волшебную трансформацию одной из заповедей начавшейся перестройки. «Народу не нужен алкоголь» — читалось в 1985 году; «Народу не нужен алкоголь с в е р х н е о б х о д и м о с т и» — читается с 1989-го. Это прямое попадание можно было бы счесть за случайное, будь оно единственным. Однако роман «1984» и особенно сказка «Скотский хутор» не оставляют сомнения в том, что их автор был превосходным «стрелком». Поэтому не грех сверить с его мнением столь сложный и внутренне противоречивый процесс, как перевод стрелки перед инерционным паровозом советской экономики на рыночные рельсы.

1. Как мы живем

Далеко от политики человека несет поток митинговых речей, обдают пеной взаиморугани волны сшибающихся платформ. Порой, в этой динамической зыбкости мелькнет соблазнительный логический принцип, ухватишься за желанную твердь — ан максима расползается под пальцами,

словно выброшенная прибоем медуза. «Мы живем так, как работаем» — эта претенциозная социально-историческая оценка, из уст ведущего экономиста, сорвала аплодисменты большой законодательской аудитории. Но в камерной обстановке броская риторическая оболочка тускнеет, и по зрелом размышлении понимаешь, что эмоционально впечатляющая формулировка не выдерживает проверки на истинность.

В чреде государств мира, упорядоченных по жизненному уровню населения, СССР стоит не ближе пятого десятка, тогда как Испания, например, задвинута не далее третьего. Годовой взнос в бюджет ООН каждого государства-члена приблизительно пропорционален количеству населения и производительности его труда. Сопоставляя наш 11-процентный вклад с точно таким же вкладом Японии и с 25-процентным вкладом США, можно поверить, что среднестатистический советский человек работает в 2,5 раза хуже японца и в 3 раза хуже американца. Но вот поверить в то, что он работает хуже испанца — это уж извините! По официальным данным, доля личного потребления в валовом национальном продукте в 1985 году составила 64% в США и лишь 36,6% у нас. Значит, в относительном исчислении мы живем отнюдь не так, как работаем, но вдвое хуже, если иметь в виду американцев.

Загадки тут нет никакой. Чтобы убедиться, достаточно повнимательнее отнестись к материалам родной прессы даже «застойного» периода. Так, «Правда» сообщила 8 апреля 1983 года, что у нас 180 атомных подводных лодок (АПЛ), а у США — только 123. За истекшее семилетие разрыв вряд ли сократился, а ведь современная субмарина, эдакий подводный дредноут типа сгоревшей АПЛ «Комсомолец», тянет на несколько миллиардов рублей. Будучи с визитом в Москве, министр обороны США Р.Чейни сказал, что всего (вместе с обслуживанием) вооруженные силы у них насчитывают около двух миллионов человек. Состав же Советской армии и флота — четыре миллиона, и прямые военные расходы, по свидетельству министра иностранных дел Э.А.Шеварднадзе, достигали четверти национального бюджета. Больше (относительно) тратит разве что Израиль, пребывающий в постоянном военном напряжении. Наконец-то и на самом высшем государственном уровне признано, что «у нас была одна из самых

милитаризованных экономик в мире» (выступление Президента СССР на съезде профсоюзов осенью 1990г.)

При всем том условия жизни семьи советского офицера едва ли не самые худшие среди европейских армий, зато у семей советских генералов и маршалов, судя по выводам Комиссии по привилегиям и льготам ВС СССР, наоборот — самые лучшие. О глубине этого внеслужебного разрыва можно судить хотя бы по добавке в 3,3 миллиарда рублей, предусмотренной в оборонном бюджете 1991 года на социальное обеспечение защитников родины.

К сожалению, досужая молва все валит на «космос», единственную, пожалуй, научно-техническую область, где наше передовое положение неоспоримо. На самом же деле гремящие теперь на полигонах мирные взрывы разносят в пух и прах не просто дюрале-титановые конструкции боевых ракет средней дальности, но долголетний труд миллионов людей, который мог быть овеществлен в мебельных гарнитурах, колбасах, сапожках, дубленках, одноразовых шприцах... А сколько миллионов квартир скармливается ежегодно двадцатимиллионнозевному молоху управляющего аппарата? А сколько школ и больниц зарыто в циклопической братской могиле, именуемой «Волга — Чограй»?

Даже короткая «перестроечная» память хранит целую гирлянду хозяйственно-экономических руководящих инициатив: интенсификация и коренная реконструкция производства на базе научно-технического прогресса (1986), социальная переориентация народного хозяйства (1987), стабилизация экономики и постепенное вхождение в рыночные отношения (1989) и, наконец, форсированный переход к регулируемому рынку (1990). Та же память услужливо подсовывает примеры романтических достижений, которые и не снились буржуазным прагматикам.

Не желая возиться с налаживанием индустрии услуг и увеличением производства товаров массового спроса, наше государство (в лице руководства) перепоручило сию благородную миссию кооперативам, но при этом не забыло о себе, заломив тройную (если не четверную) цену за сырье, оборудование и помещения. Таким образом оказались убитыми два зайца сразу (за счет потребителя, естественно): получен доход за избавление от забот. А советские словари продолжают

отстало твердить, что «в социалистической экономике акциз не применяется»¹.

Второе достижение — это двукратное (!) удорожание самого массового наркотика, от чего выиграли самогонщики и в первую голову — государство, являющееся самым производительным самогонщиком в нашей стране. Сегодня госпроизводство спиртных напитков возвращается уже к уровню 1984 года (по объемам, но отнюдь не по ценам) и, конечно же, увеличивается плата в медвытрезвителях, видимо, за дальнейшее совершенствование комфорта и культуры обслуживания добровольно-принудительных клиентов. Не так комичен, как кажется, совет «официального алкоголика», напечатанный «Трудом» (22 июля 1990) в колонке «улыбнитесь с нами»: «Не морочьте людям головы своей рыночной экономикой, немедленно уменьшите цену водки, и все станет на свое место».

И третье, — «золотая лихорадка». Полуторным повышением цены на золото государство подарило десятки миллиардов владельцам сокровищ и триллионы себе самому, поскольку является монопольным держателем национального золотого запаса.

В свете таких достижений вопрос «кто подтолкнул снежный ком инфляции?» предстает чисто риторическим. С точки зрения сиюминутной выгоды инфляция нужна владельцу недвижимости, сокровища и печатного станка, но, похоже, не в коня корм. Не потому ли краеугольным камнем последней экономической инициативы правительства явилось опять-таки повышение цен? Отвечая на вопросы в Верховном Совете СССР, премьер Н.И. Рыжков говорил о необходимости в создавшихся (созданных?) условиях «мотивации производительности труда». Разве не лучшая мотивация — это возможность для труженика купить товары по доступным ценам без очередей? Как-то удавалось «без мотивации» десятилетиями поддерживать военный паритет с сильнейшей державой мира, а теперь в условиях подлинной международной разрядки остро потребовалась «мотивация». В соответствии с какими экономическими законами государство смогло создать передовую космическую отрасль, но оказалось не в состоянии без 20-копеечной мотивации обеспе-

¹ В самом конце 1990 года замминистра финансов РСФСР открыто назвал акциз в качестве инструмента финансовой политики, но многие парламентарии не сразу поняли — о чем это он.

чить удовлетворение естественных надобностей граждан в общественных местах? Почему до сих пор хотя бы половина технической мощи оказавшегося столь гибким в изменении вывесок Минводхоза—Минводстроя—концерна «Водстрой» не переориентирована в русло дышащей на ладан программы «Жилье-2000»? По какой причине за один лишь 1989-й год еще 40 миллиардов рублей сгнули в бездне сверхнормативных запасов и строительной незавершенки? Думается, намереваясь начать ускоренный переход к «рынку» повышением цен, руководство страной в очередной раз собирается переложить собственную беспомощность на плечи трудящихся. То же пренебрежение нуждами людей, только в модернизированной упаковке, — перестройка. Знаменитая фраза, очищенная от лукавства, имеет следующий вид: «Мы — народ — живем так, как мы — руководство — работаем».

Но ведь и руководство не в вакууме сидит, прислушивается, наверное, к рекомендациям представителей экономической науки, а последние порой не могут между собой договориться. «Фонд накопления «съедает» у нас до трети национального дохода» — пишет экономист В.Попов («Нева», №10, 1989). «В 1987 году общий объем капитальных вложений в США был 746 миллиардов долларов. В том же году весь объем вложений в СССР составил 205 миллиардов рублей» — считает экономист К.Вальтух («Вечерний Новосибирск», 11 мая, 1990). Разве не утверждают эти специалисты диаметрально противоположное: «в сравнении с США мы слишком много-мало накапливаем»?

Поневоле возникает впечатление, что «прогрессист» и «традиционник», скрестившие шпаги над нашей больной экономикой, одержимы каждый своей идеей-фикс и селекционируют достижения экономической науки сообразно своему пристрастию в надежде на успех облюбованной схемы. «По существу, такая надежда опирается не на научное знание, но на слепую веру; это своего рода «нетерпение» ума, попытка перепрыгнуть через необходимые ступеньки прогресса» — эта сформулированная в упомянутой публикации В.Поповым меткая характеристика образа мышления сторонников директивного планирования не менее справедлива и по отношению к идеологии «рыночников». Ражие «купцы» теперь незаметно для себя превратились в своих антиподов—«кавалеристов», оседлав резвую кобылку

по кличке «Нетерпение», которая тут же закусила удила. И самое, пожалуй, неприятное — они, подобно своим предтечам, уверены, что «имеют право на эксперимент».

Обозреватель «Комсомольской правды» в одном из октябрьских номеров с подкупающей безыскусственностью рубанул: «А к месту ли торопливость? Убежден, не только к месту — просто необходима». Ну, до того охота в рыночный рай поскорей, что напрочь забыта народная мудрость об уместности торопливости при ловле блох, и, прямо как у Моисея после ночной консультации на горе Синае, — ни тени сомнения в том, что

Нам предприимчивость сделать все сумеет,
Нам конкуренция тьму и мрак развеет,
Приватизация нам выправит дела.
Надавишь кнопку «маркетинг» — поехала, пошла!

Радикальную реакцию на отступ правительства от его же собственной декабрьской (1989) программы всесоюзная молодежная газета не попыталась и смягчить флером ложной скромности: «Давно надо было переходить к рыночной экономике. Мы предупреждали, что будет упущен последний шанс на спасение от краха, но нас не слушали». Да, какое же там «давно», коли и сейчас-то Минфин не может даже подсчитать прожиточный минимум по бескрайним просторам огромной разношерстной страны, а Банк СССР не в состоянии отождествить вкладчика, имеющего несколько сберкнижек, а профсоюзы только-только с этой весны начали переставать быть приводным ремнем (бичом?) к массам. Какое «давно», коли едва вызрела наконец мысль о высшем предназначении «орудия подавления», сформированная Президентом СССР перед Верховным Советом в следующей форме: «Государство, отказываясь от защиты предприятий, будет защищать людей».

Но с молодым задором и комсомольским огоньком на всю 22-миллионную читательскую аудиторию газета провозгласила: «Карточки — злодейство... рынок — благодарный гений» («КП», 9 июня, 1990, стр. 2). На следующий день она порадовала читателей мнениями политэкономических вундеркиндов, которые «левее съезда», симпатизируют «нашим людям в Моссовете», считают себя «близкими к позиции

социал-демократов», а также великодушно отпускают Литву на все четыре стороны, ибо «насиленно мил не будешь». Не знаю — как кого, а меня «Комсомолка» окончательно убедила: Политология? — Ну, это совсем просто. Чтобы не слишком уж отстать от 13-летних реформаторов, спешу предложить свою версию радикальных перемен, черпая вдохновение в кладезе мудрости — фольклоре.

Итак, анекдот «прежних» времен. Разговаривают двое экономистов. 1-й — Победа социализма неизбежна в мировом масштабе. 2-й — Не забыть бы оставить уголок капитализма на каком-нибудь острове. 1-й — Зачем это? 2-й — А чтоб знать что почем.

Равновесные цены, вырабатывающиеся в процессе абсолютно свободного продуктообмена на рынке и точно соответствующие истинным затратам общественно-полезного труда, являются абстрактной идеализацией. Так, если, скажем, в Лондоне фунт картошки стоит столько же, сколько фунт апельсинов, это означает не столько равенство трудозатрат, сколько различие жизненных уровней египетского феллаха и валлийского фермера. Цена продукта концентрирует в себе не только технологию, но и географию, и историю, и политику. Но все же в среднем мировые цены гораздо ближе к равновесным, чем самые изощренные прейскуранты, формируемые в недрах Госкомцен. Если мы действительно намерены принять за эталон взаимостоимость различных товаров (включая труд) в развитых капиталистических странах, то должны приветствовать предложенное правительством удорожание хлебопродуктов, транспортных тарифов и даже жилищ. Вместе с тем, чтобы быть последовательным, оно должно позаботиться о трехкратном удешевлении стиральных и швейных машин, телевизоров, холодильников, одежды и обуви, одновременно обеспечив существенное увеличение выпуска этих товаров.

2. Наш фундаментальный дефицит

Идея устойчивого динамического равновесия, заимствованная из теории автоматического регулирования, настолько заворожала наших «купцов», что перед их мысленным взором померкла вся многосложность социального существования, и

общественное благоденствие стало казаться тривиальным логическим следствием любезной сердцу аксиомы. Они безотчетно верят, что «свободный рынок» автоматически приведет экономику к блаженному состоянию. Вот два примера подобного рода мышления. «Рынок — необходимый элемент товарного производства, где каждый производитель есть прежде всего собственник продукции и средств производства, юридически независимое лицо, свободное производить то, что находит нужным, и продавать продукцию кому хочет по договорным ценам» (В.Тихонов, «Москоу ньюс», №24, июнь, 1990). «Весь мир построен на рыночной экономике и процветает» (М.Коробкова, «Вечерний Новосибирск», 7 июня, 1990).

Представляю, как ухмыльнулись экономические деятели стран Общего рынка откровениям академика («Москоу ньюс» поступает за рубеж), зная, что в ЕЭС строго определены поставщики и покупатели, цены и квоты товарной продукции, что чрезмерно активных «юридических лиц» подстерегают гигантские штрафы за перепроизводство. И потом, в некоторых высокоразвитых странах до десяти процентов работоспособного населения являются коллективными собственниками предприятий, на которых трудятся (вот бы нам такое), но чтобы каждый производитель был собственником средств производства — это что-то из области коммунистических утопий. Наивность новосибирской пенсионерки до зарубежного читателя не дойдет, поэтому улыбнемся сами и вспомним древнюю притчу о недовольной лошади.

— Мне назначено носить царя природы, твоего любимца человека, а Ты создал меня столь несовершенной, — обратилась она к Творцу. — Чего же ты хотела бы? — среагировал Предвечный на упрек. — Высокие стройные ноги, лебединую шею и, конечно же, природное седло. — Хорошо. Но сначала взгляни на образец — отвечивал Господь и создал верблюда. — Нет, нет! — взмолилась лошадь. — Лучше я останусь прежней. — Будь по-твоему — согласился Бог и... вдохнул в верблюда жизнь в назидание потомкам строптивницы. С той поры лошади дрожат и бьются, впервые завидев верблюда, а Всевышнему не приходится отвлекаться на удовлетворение тщеславных вожеланий.

- Идеал наших нетерпеливых «рыночников» давно материализован, например, в Латинской Америке, но Атлантика,

похоже, слишком широка для «лошадиного» зрения, зато живущие на том берегу «верблюды» отлично ощущают достоинства природного седла.

Провертев дырку в заборе, можно, конечно, подглядеть, как спорится работа у соседа, как ловко у него все получается из-за того, что рубаха на нем белая, а лопата в руках кленовая, — и поспешить завести себе точно такие же. Действительно, наивысшая производительность труда и наивысший уровень потребления достигнуты именно капиталистическими странами. И вот уж созрел безоглядный пиетет в отношении капиталистического способа материального производства вообще, и вот уже раскрыта формула всеобщего благоденствия: товар — деньги — товар. Да здравствует рынок — светлое будущее всего человечества! Так и просится сентенция из платоновского «Котлована»: счастье наступит исторически, оно произойдет от матерьялизма, а не от смысла.

Было бы опрометчиво рассматривать повесть-сказку «Скотский хутор» лишь как политический памфлет, хотя бы и весьма меткий, в чем-то даже пророческий. Этот «батискаф» Джорджа Оруэла, преодолев приповерхностный слой жизненных коллизий, проник в труднодоступные психологические глубины и высветил потаенные закоулки человеческой натуры. Остановим внимание на одном из таковых.

Победоносное восстание угнетенных животных фермы против ее владельца — алкаша Джонса, вырвало четвероногих обитателей из трясины унижительного рабства к свету свободного труда и радостного быта. Однако постепенно все завоевания были утрачены в результате двуличия, тайных интриг и коварного оппортунизма свиней. Тирания восторжествовала, и, казалось бы, «ветр вернулся на круги своя». Но Джордж Оруэлл дает понять, что круга не получилось, что возвратная часть траектории прошла ниже отправной точки — человеческого свинства — к свинству ч е л о в е к о - п о д о б н о м у . Дело в том, что новые хозяева фермы, совершая постреволюционную эволюцию — «из грязи в князи», упорно учились играть в карты, пить вино и курить табак, полагая эти навыки атрибутами человеческой породы. Свиньи окончательно возомнили себя людьми, овладев в конце концов «важнейшим» человеческим качеством — прямохождением. Они и не подозревали даже, что всего лишь

поднялись на дыбы. Как тот «отец» подмосковного городка, соорудивший перед своей резиденцией уменьшенную копию кремлевской стены, пригодную разве что для размещения аршинной надписи: «Осторожно! Недремлющий провинциализм».

Это недремлющий провинциализм восторгается участием в недавних румынских выборах семи десятков политических партий, забыв, что взлет многопартийности начался с политического убийства. Это он призывает сегодня нас любоваться стабилизацией потребительского рынка в Польше, хотя само потребление и производство сокращаются, суперинфляция сделала поляков миллионерами, а темпы роста безработицы вдвое превышают ожидавшиеся. Это он, недремлющий провинциализм, безапелляционно возглашает: «Запад нам поможет!» Хотя чего бы это ради? США уже вырастили себе собственноручно хор-р-рошего конкурента и теперь стабильно имеют 50 миллиардов долларов годового дефицита в торговле с Японией, а сами американцы непатриотично предпочитают «тойоты» «крайслерам». Зачем им выпестовывать в нашем лице еще одного достойного соперника на мировом экономическом ристалище, из расовой солидарности, что ли? Всем мечтающим взлететь на монгольфьере доброго забугрового дядюшки в светлое рыночное будущее пожелаем запастись аварийным балластом хотя бы в виде следующего авторитетного высказывания:

«Многое, что мы видим сейчас в экономике Западной Европы, — результат слияния или союза экономик той или иной страны с транснациональными монополиями США. Отделаться от объятий американского экономического спрута нелегко, особенно если экономическое господство подкреплено военной оккупацией». Это слова директора Института мировой экономики и международных отношений АН СССР А.Н.Яковлева, сказанные в интервью «Комсомольской правде» (25 декабря 1983).

Ох, опасное это дело — спешить навстречу будущему, руководясь обезьяньим инстинктом. Даже если подсмотренные сквозь щель сцены жизни соседа кажутся столь соблазнительно повторимыми. Но нашим «купцам» их идол с символом доллара в руке (вместо кадуцея), похоже, заслонил все хитросплетения международных и межличностных отно-

шений. И вот уж модерн-Меркурий, обутый в крылатые кроссовки «Адидас-торшн», возносит своих почитателей в эйфорические выси свободы и процветания, тогда как многие тяжкие вопросы бытия остаются на грешной земле.

Уж на что был полемически подкован М.А.Бочаров, когда зачитывал Российскому съезду подготовленную первоклассными специалистами (остававшимися тогда в тени) программу, где чуть ли не по дням были расписаны на полгода вперед меры по выводу экономики из кризиса¹, а ведь споткнулся на простеньком вопросике: по какой цене он собирается распродавать земли в ходе намечаемой кампании приватизации?

Будучи зачарованы несомненными успехами капитализма, наши воинствующие «прогрессисты» и слышать не хотят ни о каких осторожности и постепенности, ни о какой специфике условий и разнице масштабов, тотчас подозревая реакционера в каждом, кто не готов с разинутым ртом подхватить их символ веры: «Пропасть не одолеть в два прыжка». А зачем, спрашивается, вообще скакать-то? Наш народ как-то уже скакал за восторженными теоретиками очертя голову в «светлое будущее», да приземлился в тоталитаризме. Сталин ломал народное хозяйство через левое колено, а теперь экономические радикалы собираются ломать его через правое — вот и весь плюрализм.

Сибирский писатель В.К.Сапожников предпринял настоящее социологическое исследование массового мнения по вечным российским вопросам «кто виноват?» и «что делать?» («Сибирские огни», №6, 1990). Он пришел к выводу о существовании единственного вырочительного средства: «развязать силу народную, отдать судьбу народа в его руки». По его мнению, день, «когда народ обретет власть, не будет первым днем рая. Но это будет первый день зрелости народной, день, к которому мы, Русь, шли тысячу долгих лет». Оно было бы прекрасно, кабы знато, что за штука такая — власть народа, она же — демократия. Власть Советов? Или власть всех кухарок?

¹ На походной складной скамеечке под знаменем «500 дней» после М.Бочарова появились еще кандидаты в экономические Наполеоны, но... А знаменосец в конце концов оказался не нужен никому.

На мой взгляд, более продуктивен вывод Сапожникова по первому из поставленных вопросов: бесполезно стремиться взыскать на кого-то персональную вину. Лет десять назад довелось мне прочесть объемистую рукопись, где советская трагедия выводилась из... климатических условий России. Дескать, народ, проводящий полгода в засыпанных снегом бревенчатых избах, разбросанных по бескрайним пространствам, являл собой идеальную лабораторную массу, бесструктурный агар-агар для социальных экспериментаторов. Это, конечно, курьезный пример умозрительного фантазирования, но сама идея заменить вопрос «кто виноват?» на «что виновато?» представляется здоровой. В самом деле, почему не попытаться открыть первопричину в экономических отношениях, в особенностях истории, географии и даже климатологии, в особенностях национального характера? И пытаются, и либеральный ответ уже имеется: во всем виноваты промышленная отсталость, отсутствие демократических традиций, многовековая привычка к рабству. Вот, например, рассуждение Г.Х.Попова: «В свое время такая кооперация была у России с Западной Европой. На этом Россия продержалась примерно 200, если не 300, лет, с петровских времен. Западная Европа была промышленной, а Россия вывозила хлеб, мясо, удачно найдя свое место в европейской системе» («КП», 1 ноября, 1990). Известный экономист, кажется, совсем забыл, что с петровских времен есть-пошел промышленный Урал Демидовых-Строгановых, а 200 лет назад Джеймс Уатт только-только изобрел свой регулятор к паровой машине. К началу первой мировой войны Россия стремительно приближалась к четвертому месту в мире по объемам промышленного производства, а Япония едва входила в первую десятку. Вот вам и «промышленная отсталость».

Англия — родина парламентаризма и образец демократии — начиная с нормандского завоевания стала родиной крепостничества и на долгие века превратилась в образец абсолютизма такой степени тотальности, каковой не сумел достичь ни один французский Людовик. «Англия являлась самой феодальной страной во всей феодальной Европе» (Д.Петрушевский. Очерки по истории Английского государства в средние века. С.-Петербург, 1903). Испания, напротив, никогда не знала крепостного права; свободный,

исполненный достоинства кастильский крестьянин вошел героем в мировую классику. Но в новое время каудильо почти на полвека угнездился именно в Испании. Каких-то два века назад служанку, укравшую хозяйские часы, английское правосудие отправляло на виселицу. Русский же дворовый за подобное отделялся порцией «горячих» на конюшне. А Японию Бог создал вообще для того, чтобы опрокидывать самые вроде бы незыблемые доктрины. Если новгородскому республиканизму уже тысяча лет, то японская история не знала ничего похожего. Японские крестьяне полтысячелетия были фактически собственностью самураев, и даже сам император жил в золоченой клетке почетным заложником сегуна (верховного военачальника). В середине прошлого века японское общество все еще опутано тенетами тотальной слежки «всевидящее око», всемерно поощряются тайные доносы, передвижение по стране регламентировано строгой системой специальных пропусков, правительство еще выдает лицензии на отстрел... кровного врага. Крепостное право в Японии было отменено на десять лет позже, чем в России.

Нет, либерально-упрощенческий подход, эмблемой которого сегодня стал гроссмановский синдром «история человечества — это история его свободы», поверхностен и необуздан, а в отношении Японии — просто несостоятелен. Крестьянский поэт Сергей Клычков, вероятно, сказал бы:

О, сколько раз шальным наскоком
рассеивал я тьму проблем
и проницал сверлящим оком
игру космических систем.
Но вот меж градом и деревней
стою растерян, наг и сир
пред непостижимостью древней,
в которой пребывает мир.

Если в 1940-м году в школах богатейшей страны мира основными проблемами были: болтовня и чуингам на уроках, шум и беготня в коридорах, то теперь — наркотики, беременности, самоубийства. В 1940-м году цивилизация жила в страхе перед мировой войной, с 50-х — в страхе перед глобальным атомным уничтожением, теперь — в страхе перед экологической «бомбой», а впереди уже маячит ужас перед

массовыми психотропными и психотронными воздействиями. Что все это значит? Полвека пущего освобождения? Но тогда что же такое иго?

История человечества — это, скорее, история его системности, история нарастания «тонкоустроенности» через разделение, метапереход и единение (не слияние!) на новом уровне сложности. Разве не о том свидетельствует, например, история всемирной религии? И не на этом ли пути нам суждено наконец «справиться с нашей гениальной глупостью»? ¹ А чего уж точно не хватило нашему народу в его революционном порыве, так это скепсиса. Вследствие сего фундаментального дефицита наш народ все боролся и боролся с контрреволюцией, в стране же тем временем исподволь победила конторреволюция.

В этом «исподволь» слышится название зазеркального мира с вывернутой моралью и перевернутой законностью. Этот испод мира видимого, как тень неотвязен, но отнюдь не так безобиден. Мир тайновластия не признает границ, ни сословных, ни имущественных, ни национальных, ни идеологических, легко, как и положено тени, огибает препятствия и непринужденно принимает форму той поверхности, на которую падает. Мир тайновластия един по природе и в коммунальной квартире, и в штаб-квартире ООН, и в образе супруги премьера, и в лице лоббиста, и в облике гангстера. Мир тайновластия непобедим, но не бессмертен. Ему патологически недостает осознания гибельности собственной эффективности: тень наличествует лишь постольку, поскольку существует тело, которое ее отбрасывает.

¹ Выражение христианского ученого М.Пирсона (Великобритания), употребленное на симпозиуме по проблеме единения религиозного и научного знания (Новосибирск, декабрь 1990).

ЭТОТ СТРАШНЫЙ МОНСТР КРИПТОКРАТИЗМ (тристих)

Извечной и зловещей мечтой
вирусов является абсолютное
мировое господство.

(Стругацкие. Сказка о тройке)

Стоит рубеж тысячелетья на пороге.
Скажи, родимый наш советский криптократ,
своим деяньям ныне подводя итоги,
небось все шире улыбается ваш брат?

Не правда ль, сколько бы его ни костерили,
как ни клеймили, ни куражились пред ним —
всегда очищенным он восставал из пыли,
из лужи всякий раз выныривал сухим.

Вас не прельщает безмятежности элизий
и не страшит людского гнева океан.
Погасит качку всех наскоков и коллизий
большой остойчивостью ваш катамаран.

Под обтекаемостью палубных надстроек
многоотсековость несущих корпусов,
муссоны кадровых, структурных перестроек
жмут в несрываемость бумажных парусов.

Крепит негнувшийся параграфов рангоут
нерасплетаемый инструкций такелаж.
Всегда готов непотопляемый дредноут
к любым реформам принятовить свой багаж.

★ ★ ★

Погрузились в Лету навсегда
времена ликбезовских ячеек,
смычки и голодного труда,
времена семи- и трехлинеек.

Ты, как феникс, вышел обновлен
из горнила сокращений штатов...
В кабинете — пластик, диктофон,
свет плафонов холоден и матов.

Сдан в архив полувоенный френч,
рыбий взгляд, чугунное величье.
Здесь отныне грамотная речь,
ультрасовременное обличье.

Здесь входящим — новая стезя:
у дверей их не осадят круто
и сакраментальное «нельзя»
выдадут со ссылкой на компьютер.

Не стуча и пальцем не грозя,
возмущенным вежливо и здраво
лишь напомнят: «Жалуйтесь, друзья.
Жаловаться — это ваше право».

Что ж, упоминанье о правах,
несмотря на выпренную модность,
будит в душах только липкий страх,
сеет в мыслях только безысходность?

Право есть... Но, замыкая круг,
всходы деловитого посева
вам подскажут, что заклятый друг
приберег гораздо больше лева.

* * *

Дорогой советский криптократ!
В этот век для нашего народа
ты ценой поднялся во сто крат,
и от Командоров до Карпат
приумножилась твоя порода.

Каждого поздравить нету сил,
если хочешь, передай соседу.
Час триумфа, кажется, пробил,
ты страну почти что покоришь.
Полную не жаждешь ли победу?

Только второпях не говорил: «За!»
Вникни в иронический трагизм
прежде, чем наложит шуйца визу
Что приобретет под видом приза
вирус, победивший организм?

Одолев здоровье и лечение,
посрамив врачей и медсестер,
в камере подземной заточенья
примет он без срока, иль мученья
оборвет сандаловый костер.

А в итоге тесаный гранит
оживет порою в лунном блике,
дрогнет бахромою эпифит,
если ветер шалый пробежит
по венку, что возложила Nike.

Этот тристих родился на заре перестройки, нынче я изменил в нем всего два слова. А тема, тема не только не ушла, но даже не потускнела. К сожалению.

3. Как мы заживем

Стоит ли сегодня скакать, выпуча глаза, через пропасть, которую «не одолеть в два прыжка»? Не лучше ль задержаться над обрывом, поразмыслить на холодную голову да присмотреться к противоположному берегу? Авось заметим там не только преуспевающую капиталистическую Канаду, но и влачащую существование капиталистическую Аргентину, жизненный уровень населения которой с 60-х годов неуклонно падает, а внешний долг столь же неуклонно приближается к стоимости валового национального продукта, хотя там нет ни наших отопительных проблем, ни наших военных расходов. Вместе с тем в Серебряной стране Аргентине, «где женщины, как на картине», имеется все, о чем только мечтают наши «купцы». Частная собственность, товарные и фондовые биржи? — сколько угодно; конвертируемая валюта? — а как же; рынки труда, капитала и ценных бумаг? — пожалуйста; свобода предпринимательства и конкуренция? — ради бога; профсоюзы и многопартийность? — само собой. Но президент Карлос Менем вдруг призывает своих сограждан бороться за... «гуманный капитализм». Скоро уж десять лет, как страной правит демократически призванная партия Справедливости, но простой аргентинский труженик все более безнадежно вопрошает: «*j Donde esta, Husticia?*»¹ П.Бунич же им

¹ Где же ты, Справедливость?

так успокоительно, — мол, человечество идет к отмиранию эксплуатации, движется в направлении к социалистическому идеалу («Известия», 29 мая, 1990). Тут С.Шаталин убежденно подхватывает: «Эксплуатация человека человеком сейчас просто нереальна, она иррациональна» («КП», 11 сентября, 1990).

Утверждать подобное теперь, когда в роли субъектов и объектов эксплуатации выступают уже не «человеки» и даже не общественные классы, а страны, когда целые континенты (Африка, Южная Америка) сидят в глубокой долговой яме и все производительные усилия их народов уходят на уплату процентов, можно лишь в упоении благостными видениями. Суровая реальность проступает в заявлении нового президента Чили Патрисио Элвина: «У нас меньшинство живет, как в высокоразвитых странах, тогда как большинство — в условиях бедности и жуткой нищеты» («КП», 17 мая, 1990). Когда телепрограмма «Время» показывает заваленные колбасами прилавки в Сантьяго-де-Чиле, за рамкой экрана остается неумолимый статистический факт: душевое потребление мяса в Чили вдвое-втрое ниже нашего. Правительство Сальвадора Альенде попыталось уравнивать всех чилийцев до среднестатистического, но улицы Сантьяго огласились тогда звоном сковородок, несомых вместо транспарантов манифестантками из высших разрядов шкалы потребления. Что же нам теперь, прыгать в «Чили» только потому, что потребительский рынок там со времени гибели С.Альенде очень стабилизирован?

На примере самой читаемой ежедневной газеты можно заметить определенное сбавление оборотов свободно-рыночной эйфории в последнее время. Соб. корр. П.Веденяпин из Монреаля: «Капитализм — это прежде всего учет и планирование. Буквально во всем» («КП», 22 ноября, 1990). Специальный корреспондент «Комсомолки» Ю.Гейко в сообщении из Карачи 5 декабря 1990: «Есть на свете страны, после которых наш социализм кажется благом». Капиталистические, капстраны, Юрий. Как же это вы упустили? А между тем: «Идет чумазый, идет! Идет с фальшивою мерою, с фальшивым аршином и с неумолимою алчностью, глотать, глотать, глотать». Словно только что произнес это Салтыков-Щедрин, а не в 1886-м.

Лицо подлинно свободного рынка (точнее — его свиное рыло) явственно проглянуло в сериале «Как мы свинью продавали», начатом в номере от 12 декабря. Убедившись экспериментально, что постоянно провозглашавшиеся предприимчивость, деловитость и конкурентность на свободном рынке суть предприимчивость корысти, деловитость чистогана и конкурентность наглости, «Комсомолка» 21 декабря 1990 применила-таки точный эпитет к вождьленному рынку: «Да, мы готовы к рынку. Но к рынку цивилизованному». Отрадно, что в этой позиции популярнейшая газета наконец-то выходит из «комсомольского возраста».

«Повернуться к рынку лицом» — зовут «купцы». Это заклинание нуждается в существенном дополнении, чтобы претендовать на роль побудительного лозунга: «Повернемся к рынку лицом с открытым забралом и без розовых очков!» Следуя модернизированному таким образом призыву, мы обязаны, во всяком случае, хотя бы поставить вопрос: «Почему, сделав прыжок в рынок, наше общество приземлится непременно между США и Канадой, а не между Аргентиной и Мексикой?» Если кому-то ведома гарантия счастливого исхода, пусть поделится уверенностью с широкой общественностью, правда, тогда все же останется загадкой причина затянувшегося молчания. Ладно там — обыватели или журналисты, перед которыми открылась вдруг новая истина «человек — купец своего счастья». Они находятся в состоянии молитвенного экстаза перед грядущим товарным раем, религиозно верят во всемогущество ПДК (Предприимчивость завалит товарами, Деловитость обеспечит высокое качество, а Конкурентность обусловит низкие цены), и им, следовательно, не до скрупулезного рефлексирования. Только почему не слышать известных политологов, почему экономические академики Н.Петраков, Л.Абалкин, С.Шаталин, А.Аганбегян безмолвны по этому вопросу? Неужто блуждают в сомнениях? Но тогда авторитетным поборникам большого скачка следует расстаться с позой уполномоченных судьбой провозвестников неизбежного всеизобилия.

К великому сожалению, разной степени косвенности признаки настырно свидетельствуют в пользу второго варианта «приземления». Наиболее известный и часто упоминаемый — это состав нашего экспорта, который неумолимо

отводит Советскому Союзу роль сырьевого поставщика для индустриально развитых стран. Теперь вот грубо-зримо возник «дай-дай» — показатель: всего за 2 года наш внешний долг вырос с 36 до 55 миллиардов рублей, а тенденция такова, что в 1991 году ожидается 20-миллиардная добавка на шею будущим поколениям. Назову еще несколько менее очевидных, но не менее тревожных признаков.

1) В развивающихся странах наиболее престижны профессии не физика или конструктора, а коммерсанта и адвоката. У нас с конца 60-х конкурсы в физико-математические и технические учебные заведения постоянно снижаются, а в торговые и юридические — постоянно растут.

2) В передовых странах курильщиков становится все меньше и меньше. В США, например, их число сократилось на треть за истекшие 20 лет, тогда как на Африканском континенте потребление табака стремительно увеличивается. Сравнительно недавно процент курящих в СССР и в США был одинаков, сегодня же у нас курильщиков вдвое больше, чем в США. Попробуем сопоставить себя в этом аспекте с одним из новых индустриальных «тигров Азии» Сингапуром. Там давно запрещены реклама табачных изделий и курение в общественных местах. За брошенный на тротуар окурочек — штраф 500 долларов. У нас же готовая к «цивилизованному рынку» «Комсомольская правда» 16 декабря помещает цинично-обольстительный клич молдавской табакофирмы «Тутун»: «Если вы хотите говорить о чем-нибудь другом, небрежно стряхивая пепел с ароматно дымящейся сигареты, вам готовы помочь». Они готовы «с использованием соусов и ароматизаторов» помочь отнять у детворы еще толику фруктов и чистого воздуха! А правительство РСФСР спасает от разорения американскую табачную компанию «Филип Моррис» крупнейшим за всю историю разовым контрактом на поставку нам двадцати миллиардов сигарет в 1991 году. В результате детишки недополучат заграничных продуктов и лекарств, ну, да сами виноваты, — пусть учатся останавливать трамвайное движение, переворачивать автомобили и поджигать киоски.

3) В апреле 1990 года на Вацлавской площади в Праге 23-летняя туземка и 35-летний эфиоп слились в половом трансе перед возбужденной толпой зевак. Ну ясно же: у

оружейных свиных должно быть все «как у людей» и даже шибче. Ясно, но не всем, — и соб. корр. центральной нашей газеты прокомментировал этот факт следующим образом: «демократия, оказывается, тоже хороша в меру». Стопроцентная демократия, стало быть, — плохо? Вот случай провинциального восприятия, когда содержание потеряно за формой, а внешние факторы прикаты за сущность. Да ведь, если действо, подобное пражскому, произошло бы перед храмом западной демократии Капитолием, оно, вероятнее всего, закончилось бы судом Линча.

4) Какие модели скрываются в умах наших «передовых» говорунов за популистскими речевыми символами, дает представление следующий сюжет. В заметке «На что нацелены утверждения генерала Макашова» («Известия», 21 июня, 1990) В.Надеин потребовал смещения командующего военным округом, поскольку тот «продемонстрировал непонимание предназначения армии в правовом государстве». Что, генерал-полковник организовал путч или возглавил военную хунту? Отнюдь. Если говорить о профпригодности, то более обоснованным видится требование освободить должность сотрудника всесоюзной газеты от журналиста, продемонстрировавшего непонимание роли прессы, которая в правовом государстве является средством осуществления плюрализма мнений и не предназначена для преследований за слова. Если некоторые повороты выступления генерала порождают палеонтологическую ассоциацию, то репрессивные призывы его обличителей (В.Надеин, увы, совсем не одинок) вызывают историческую реминисценцию: с варварством — по-варварски. Вот вам и вся демократия, в провинциальной интерпретации.

5) Наконец, еще об одном признаке, так сказать, метафизического свойства. Генерал-полковник Д.А.Волкогонов всего каких-то 6—7 лет назад не понимал, кто такие Солженицын и Сахаров, «находясь (по его собственному признанию) в состоянии идеологической запертости и не располагая подлинной информацией» («Литературная Россия», №24, 1990). Но уже в 1988 году директор Института военной истории в объемистом труде объяснил нам, кто такой Сталин, и вот-вот обещал, кто такой Троцкий. Еще три года тому Д.А.Волкогонов (по свидетельству его соратника контр-адми-

рала Э.Ю.Зиминой) отказался поддержать опубликование повести Ю.Полякова «Сто дней до приказа», а сегодня уже страстно отстаивает принципы свободы и демократии. Такой огромный путь духовного перерождения за столь краткий срок сознание пожилого, давно сформировавшегося человека может проделать лишь через посредство иррационального надпространства, доступного медиумам и поэтам.

«Без утопий мир становится слишком рационалистичным» — уверяет Волкогонов, и недавние выборы президента в Перу замечательно иллюстрируют это мнение. После первого тура там лидировал популярный латиноамериканский писатель и видный перуанский деятель М.Льоса, но, когда были подсчитаны результаты второго тура, оказалось, что победил мало кому до того известный ректор сельхозуниверситета А.Фухимори. Все дело в том, что он — японец по национальности, и «магнетическое поле», питаемое авторитетом экономической супердержавы, повернуло в его сторону стрелки трансцендентных симпатий перуанцев. Оставляет немного места для радости тот факт, что подобный мистический иррационализм высоко котируется и в нашей общественно-политической жизни. Недаром выдающийся носитель сознания такого типа, придающий магическое значение именам и названиям, проявив чудеса идеологического перешоривания, ходит нынче в маяках российской перестройки.

Таковы некоторые неблагоприятные футурологические симптомы, заметные в бурном потоке нашего нынешнего существования. Сюда же можно отнести поползновения правительства заполучить «карманные» профсоюзы, — этап, давным-давно пройденный индустриальными странами. Или еще — цепную реакцию «приусадебных» суверенитетов, запущенную 1-м съездом нардепов России и увенчавшуюся требованием Краснопресненского райсовета к ВС России об уплате за аренду занимаемого здания. Так недремлющий провинциализм утверждает верховенство районных законов над союзно-республиканскими. Этот демарш, быть может, убедил российских парламентариев в том, что живущему в стеклянном доме негоже бросаться камнями.

На таком безрадостном фоне ярким пятном выделяются, пожалуй, только героически-ненасильственные действия армии, пограничников и союзной милиции особого назначения в мас-

совых конфликтах. Так нелегко молчать и сохранять спокойствие, когда в тебя летят оскорбления и булжники. Израильские солдаты вон не устояли и десятками убитых палестинских демонстрантов дали козырную карту в руки иракского диктатора. Дай Бог, чтобы ребятам в униформе представлялось как можно меньше поводов для проявления выдержки и хладнокровия. Воодушевляет еще пример Монголии, которая своим молниеносным бескровным броском к плюралистическому государственному устройству вколотила блестящий гвоздь в гроб доктрины «западной свободы — восточной несвободы». Однако в целом у нас нет причин для бодрого оптимизма, а есть все основания прийти к следующему неутешительному прогнозу. Не уравновешенная доброй порцией рационального скепсиса юная романтическая восторженность имеет все шансы перерасти в зрелую мистическую веру. Политический авантюризм, реализуя свое «право на эксперимент», обручает веру с недремлющим провинциализмом — и от этого законного брака рождается на свет божий очередная материализованная пародия.



Ради быстрейшего утверждения новой общественной ориентации сознательно смещают акценты, выпячивают преимущества, приглушают издержки. Но теперь, когда «рыночная» идея необратимо овладела массами, продолжать поддерживать энтузиазм иллюзиями становится не только безнравственно, но и рискованно. Спор между «радикализмом» и «почвенничеством» о том, каким путем идти России, беспредметен, если правда, что системность есть мера исторического развития. В мировом разделении труда давно определились мастера и подмастерья, подносчики и уборщики. Интегрироваться в мировое хозяйство — это не то же самое, что отпереть золотым ключиком абонементную дверцу, ибо все «экологические ниши» высших рангов уже заняты. Зато далеко еще до аншлага в нижнем ярусе. Помните?

Из Ливерпульской гавани всегда по четвергам суда уходят в плаванье к далеким берегам.
Плывут они в Бразилию, Бразилию, Бразилию.
И я хочу в Бразилию к далеким берегам.

Не эти ли кипплинговские строки зародили «хрустальную мечту» о сплошь белоштанном Рио? Мечту, вылившуюся затем в законченную провинциальную схему счастья из «мало поношенного смокинга, платиновых зубов и голубых экспрессов у теплого моря под пальмами».

Бразилия, почти равная России по территории, населению и природным ресурсам страна, входящая в десятку промышленных стран западного полушария, — мировой чемпион по неравномерности распределения национального достояния. Средний доход на душу населения 370 долларов в год, а средний внешний долг и того... больше.

Мы не сможем даже воспользоваться заманчивым шаблоном экономических чудесников — Сингапура и Тайваня: не те размеры, не то прошлое, не то окружение, не та социальная среда, не те мировосприятие и психология. Путь Союза к новому статусу в мире — это по необходимости СВОЙ путь вне зависимости от того, какими «измами» собираются мостить его те или иные политические дорожники. В нашем положении склонность подражать Германии, Испании или даже Польше — не более чем снобизм претендующего на столичность провинциала. Думать, как избежать теперь участи капиталистической Бразилии — это и есть для нас шанс сравняться когда-нибудь с капиталистической Швецией.

Обрести бы жизнерадостность бразильцев, среди которых самоубийц в несколько раз меньше, чем среди обеспеченных скандинавов. Да поучиться бы еще достоинству у бразильцев, из которых 30% постоянно голодают, но не получают рисомолочных даров от Индии. И не транслируют по телевидению странно задиафрагмированный взгляд на то, как сыто живет 800 миллионам индийцев, имеющим валовой сбор зерна ниже советского уровня.

*Декабрь 1990.
Новосибирск*

От редакции: Некоторые положения этой статьи представляются нам спорными, поэтому мы надеемся на продолжение разговора по предложенной автором теме.

Михаил Комар

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

1

Какой-то подонок украл у меня фотografiю, поблекшую, в пятнах, на которой рядом стоят Бруно Шульц, польский писатель, Станислав Игнаций, польский писатель, Бруно Ясенский, польский писатель, и глядят в объектив с таким нетерпением, ожиданием и надеждой, будто в нем должна появиться окончательная разгадка загадки.

Неизвестно, кто сделал снимок.

Неизвестно, когда он был сделан.

И где.

Но под силу ли без него рассказывать историю литературы, искусства и памяти в Восточной Европе?

2

Когда началась мировая война и огни над Европой погасли надолго, быть может, навсегда, Бруно Ясенскому было 13 лет. Из Варшавы, которой угрожало немецкое наступление, его *завезло* в Москву.

В этом сонном, бело-розовом, вязком городе он увидел два поразительных изобретения человеческого ума: Царь-пушку и Царь-колокол.

Царь-пушка была отлита во славу российской империи. Это самая большая в мире пушка. Такая большая и тяжелая, что пороховой заряд, потребный для выстрела, расколол бы ее ствол.

Царь-колокол был отлит во славу российской империи. Это самый большой в мире колокол. Такой большой и тяжелый, что никому еще не удалось извлечь из него звук.

Наступила зима 1917 года, и внезапно Москва затряслась, закружилась, взяла разбег.

И если кто-то хочет действительно понять все, что случилось тогда и потом, то ему не следует забывать об этих двоих: пушке и колоколе.

Ясенский вернулся в Польшу. Он славил революцию как мрачный карнавал надежды и наказания. Как путь, на котором Христос во второй раз умирает в муках и спасает своих — «черных, оборванных людей от мастерка и лопаты».

Сильные слова — как же им не верить, раз они такие сильные? И Ясенский верил сначала словам, потом своей собственной вере в то, что нужен огромный пожар, который уничтожит города, разрушит машины, сожжет Париж. Тогда на Елисейских Полях наконец зазолотятся хлеба, а плечистые загорелые люди будут жать пшеницу и, счастливые, плодить целые «фаланги детей».

За роман «Я жгу Париж» его выслали из Франции.

В Москве его встретили триумфальные арки, плакаты, оркестры, делегации рабочих, крестьян и красноармейцев.

3

Станислав Игнаций Виткевич привез из России страх перед вшивостью, свифтовское отвращение к вонючести человеческого тела и уверенность, что от революции не убежишь.

В 1918 году ему было 33 года и он говорил: «Хочу кончить жизнь со смыслом».

В веселящейся от независимости Польше этого не принимали всерьез.

Как не принимали всерьез и того, что он не раз повторял: что великий переворот обязательно наступит, ибо он представляет собой потаенную надежду европейской культуры, ее пророческий сон, ее негативное исполнение. И когда он совершится, то он разрушит самую культуру, разрушит ее память, а пустое место заполнит варварскими воплями палачей в мундирах. Тогда даже смерть, эта самая интимная частица жизни, будет обобществлена, так как выбор будет очень простой: или к стенке, или в шеренгу расстрельного батальона.

Вторую возможность Виткевич отверг.

На первую он соглашался при одном условии: чтобы стреляли «умнейшей пулей», которая «попадет прямо в сердце». Все его творчество, провокационно смешное, полное

ужаса, атеистическое и паническое, посвящено искусству умирать со смыслом или, точнее, искусству умирать в ненасытной жажде смысла. Что, впрочем, одно и то же.

4

Во время Великой войны, да и после ее окончания, через Дрогобыч промаршировали пять армий. Каждая из них несла освобождение, каждая из них оставила за собой пожарища, обрюхаченных женщин и множество трупов. Это было нормой. В конце концов, рождения и смерти согласуются с планом Творца, верно?

Бруно Шульц почти всю свою жизнь прожил в Дрогобыче. Он имел возможность заметить, что, создавая мир, Бог использовал, по крайней мере, один прочный материал. Он использовал время.

Ибо время — есть. Оно течет и течет в одном и том же направлении, захватывая власть над всеми: деревьями, людьми, предметами. Оно не кончается. Оно попросту есть.

Чтобы воспроизвести его течение, надо довериться нелживой памяти. Но память подчиняется законам времени, законам коллективной грезы, записанной в Библии. Неужели нет выхода?

Время Бога — бесконечное, а значит, бесконечно совершенное.

Все, что ему подчинено, должно, выходит, быть сортом похуже.

Жалка природа в своем «нечистоплотном бабском буйстве». Жалок мир вещей, «пожираемых плесенью, ослепших

¹ Гробу с мнимыми — а что они мнимые, знало много людей — останками Виткевича салютовали по очереди: советские пионеры в красных галстуках, почетный караул советской армии, почетный караул польской армии, духовенство в положенных ритуальных одеждах, гурали с гусями и волынками, дамы, господа, педагогический корпус и дети школьного возраста. Вот оно, новое духовное измерение Восточной Европы: московское ханжество в братских объятиях польского самодурства. Виткаций сначала катался со смеху, затем неминуемо принялся писать новую главу «Немытых душ». (От переводчика: В этой написанной позже, чем сама статья, авторской сноске речь идет о «перенесении праха» С.И.Виткевича, устроенном властями СССР и ПНР весной 1989 года.)

от старости». Жалки люди: бедные манекены, набитые клубками лоснящихся кишок и грезящие по приказу Господа.

Но если бы удалось обнаружить свое собственное время, какой-то «боковой отросток времени», тогда можно было бы придать Божьей свалке ощутимо новое значение: «Нет мертвой материи. Мертвизна — лишь видимость, за которой таятся неизвестные нам формы жизни». Собственное время, неповторимое, единичное, до боли свое, замкнутое в судьбе, — условие смысла. То есть условие поэзии.

А потом можно уйти с робкой улыбкой.

5

Бруно Ясенский был арестован в Москве в июле 1937 года. Умер вроде бы в декабре 1939-го, на этапе из тюрьмы в лагерь. Неизвестно, где находится его могила. Впрочем, эти кладбища давно перепаханы. Из эстетических побуждений.

Станислав Игнаций Виткевич умер в сентябре 1939 года. Он перерезал себе горло, когда узнал о вторжении рабочей-крестьянской Красной армии на польские земли.

Бруно Шульц умер в ноябре 1942 года. Его убил гестаповец в drogobыцком гетто — двумя выстрелами, оба в голову. Шульцу было 50 лет. Его схоронили на еврейском кладбище. Потом кладбище перепахали. На его месте сейчас стоят розово-голубые корпуса жилого микрорайона.

У меня возникает впечатление, что в Восточной Европе жизнь обнаруживает неожиданную склонность преобразовываться в судьбу.

6

Когда Бруно Шульц в «Коричных лавках» описывает Отца, который — после того, как объявил протест против «террора недостижимого совершенства Демиурга», — начинает трепыхать руками, как крыльями, чтобы вознестись к небу, грамотный читатель вздыхает с облегчением. С первого взгляда видно, что перед нами известный поэтический прием. Метафора, которая настолько составляет общее место, что даже освобождает от размышления.

Но проза Шульца демонстративно привязана к конкретности. Это попытка упрямого исследования вещей и связей между

ними в сгущающемся свете, в сужающемся пространстве, всегда наперекор «словам, которые уклоняются от мысли».

Этим творчеством как в прозе, так и в графике управляют две аксиомы. Первая: в акте обиходного называния, в акте употребления слова или штриха мы стремимся — из стыда или страха, по лени или по глупости — обойти стороной темные и странные компоненты мира, без которых (мы это чувствуем) жизнь была бы невозможна. Вторая: мир — это язык, тайна которого расположена на уровне простейших связей между словом и вещью. Быть может, следует признать, что Шульц это видел и описал то, что видел: в Дрогобыче летали.

К сожалению, современные европейские реестры взлетов, левитаций и других сверхъестественных событий не очень точны, особенно в отношении нашей части континента. Не буду удручать читателя подробной критикой специализированных сочинений — напомним только пример «Отрубленной руки» Блеза Сандрара, где автор ни словом не обмолвился о чудесах, совершавшихся в Восточной Европе на протяжении последних трехсот лет. Он исходил из предположения, что такого рода опыт, наблюдаемый из окна трансконтинентального поезда или с палубы аэроплана (а откуда еще смотреть на эти края, полные болот, непроходимых лесов и городишек, замирающих с заходом солнца?), ускользает от разумного описания. Он остается чудачеством — то ли ярмарочным, то ли кунсткамеры. Но ведь это ошибка. Чудо, откуда бы на него ни смотреть, имеет отношение не только к отдельным индивидуумам, но и к группам, иногда крупным, имеет общественное значение. Значит, оно не подлежит ведению кунсткамеры. Оно — часть музея, то есть пространства, которое знает (или хотя бы должно знать) свои размеры, свое время и смысл своей деятельности.

В местах, расположенных к югу от Дрогобыча, через Перемышль и Краков к Праге, и к северу, через Кодень¹, Гродно, к Вильнюсу, летали часто и с восторгом. Левитировали охваченные лихорадкой контрреформации католические проповедники; и раненные хасидским расколом ученики виленского Элиаху; и возносящиеся в испарениях грез о Третьем Риме православные иерархи — не считая членов меньших Церквей и сект, возникавших на окраинах католицизма, иудаизма и православия. Признанные официально чудотворными или не признанные, иконы Богородицы возвращали людям жизнь и здоровье, а Големов любого размера тут создавали так же часто, как и проекты окончательной разгадки тайны бытия, с Богом или против Бога.

На линии, проходящей через Дрогобыч, жили рядом поляки, евреи, украинцы, армяне, белорусы, татары, немцы и русские. Рядом существовали культуры, с одной стороны, обреченные на более или менее близкое сходство (иногда просто путем подражания), а с другой — до боли, до крови волнующие своими отличиями. В этом тигеле религий и языков ценность, присущая данной культуре, легче, нежели где-то еще, могла быть подвергнута испытанию соседским взглядом, обычаями и языком, иронической дистанцией, добродушным любопытством или ненавистью. Может, поэтому жажда правды не растворялась в теплом месиве релятивизма. Наоборот, она порождала крайние виды правоверия, вплоть до превращавшихся в ересь.

Если верить литературе, если верить свидетельствам Станислава Винценца, Чеслава Милоша, Тадеуша Конвицкого² —

¹ Старинное село на Буге. После восстания 1863 года царские власти «сослали» народившуюся здесь греко-католическую икону Богородицы в Ченстохову, где она находилась под замком («под арестом»). — *Перев.*

² Все три названных писателя, условно говоря, представляют литературу бывших восточных окраин Польши — «кресов», — возможно, наиболее живой и плодотворный элемент польской литературы XX века. Лауреат Нобелевской премии по литературе Чеслав Милош и прозаик Тадеуш Конвицкий — оба родом из Литвы; покойный Станислав Винценц, чье имя русскому читателю, к величайшему сожалению, мало что говорит, — с Западной Украины. — *Перев.*

тот мир был, возможно, опасным, но и пленительно прекрасным, возможно, дьявольским, но и мягко улыбающимся, возможно, жестоким, но, пожалуй, более трогательным, чем наш; он был полон необыкновенных запахов, вкусов и звуков, но, наверное, так уж оно есть и будет, что самые прекрасные — те миры, которых больше нет.

8

На этом снимке молодой парень с крестиком на груди, с заливчатски падающей на лоб прядью светлых, почти белых волос, смотрит в объектив с такой счастливой улыбкой, словно хочет всем рассказать, что уже разгадал тайну бытия.

Парень держит в руке металлический прут, которым только что, на другом снимке, разбивал головы евреям.

Снимок сделан в Понарах¹.

По-видимому, в 1941 году.

Таких снимков много, из Киева, Братиславы, Будапешта, Бухареста, Загреба, очень много.

9

Кого считать европейцем? Милан Кундера написал в «Искусстве романа» (и, кажется, в «Похищении Европы»), что европеец — это тот, кто «испытывает тоску по Европе». Это определение весьма рассердило Иосифа Бродского². Он принялся лихорадочно напоминать, что русская культура, во-первых, существует, а во-вторых, является частью европейской культуры (даже если доминирующее в ней славянофильское течение выдвигало по адресу Европы безжалостные обвинения и обещало ей гибель). Более практическое, более восточноевропейское определение предлагал Александр Ват в

¹ Место массовых убийств евреев под Вильнюсом.

² Бродский в своем ответе Милану Кундере, безусловно, полемизирует не с этим определением, что видно даже из дальнейшего — хоть тоже не совсем точного — описания его ответа здесь. Вдобавок, «Искусство романа» вышло позже этой полемики. Статью Иосифа Бродского «Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому», которая была ответом на статью чешского писателя «Предисловие к вариации», см. в «Континенте» №50. — *Перев.*

«Моем веке». По его мнению, европеец — это человек тонкий, чувствительный, образованный, который не нарушит своего слова, не украдет последней корки хлеба у голодного и не донесет лагерному надзирателю. Из дальнейших слов Вата вытекает, что в путешествии по стране ГУЛАГ он встретил только одного настоящего европейца. Это был армянин.

Журналисты используют термин «Восточная Европа» в отношении к тем землям и странам, которые, не входя в состав Советского Союза, тем не менее находятся под контролем советских гарнизонов. Таким образом, сегодня Дрогобыч лежит где-то в Евразии, за пределами Восточной Европы. Но он принадлежал к ней почти до конца XVIII века, до разделов Польши. А в течение всего XIX века он, в свою очередь, находился в Центральной Европе — в границах монархии Габсбургов. Центральная Европа распалась в 1918 году. Ее дальнейшая история — это уже только конвульсии, страшные, печальные, жестокие и глупые.

Где лежит Европа? Жозеф де Местр утверждал — по крайней мере, некоторое время, — что ее сердце бьется в Петербурге. Были два сердца: второе — в революционном Париже... Жюль Мишле считал, что восточная граница Европы проходит где-то на полпути между Парижем и Веймаром, и обвинял Гете в загрязнении «Фауста» отвратительным, неевропейским «славянским элементом». А сегодняшний Веймар, грязный, неприглядный, — где он лежит?

Интуитивно я предполагаю, что Европа была и, быть может, остается духовной территорией, а ее границы обозначены встречей европейской культуры — сплава иудео-христианской нравственности, греческой философии и римского права — с другими, хотя иногда и похожими способами мировосприятия, которые она сама считает чуждыми. Я хотел бы также предположить, что решающим для необычайности этой культуры является ее внутренний надлом — увечье, которое становится источником силы. Историки напоминают, что европейское самосознание строилось в тесной связи с сарацинской, татарской и оттоманской опасностью. Думаю, что в ее основании лежит страх. Не страх конкретной военной

опасности, ибо это страх вселенский, — скорее, страх жизни. То есть страх смерти. Это культура, которая, будучи не в силах справиться с проблемой смерти, выдвинула принцип свободы выбора между добром и злом, принцип умеренности и принцип ограниченного доверия к самой себе. Лешек Колаковский в «Поисках варвара» пишет, что «умение подвергать себя сомнению <...> лежит у истоков Европы как духовной силы». Но стоило бы добавить, оно лежит и у истоков ее отступничества, у истоков уверенности в том, что европейская культура — слишком слабый инструмент, недостаточный для решения проблем, перед которыми Европа поставлена (из этой уверенности родились два смертоубийственных европейских движения: национализм и коммунизм)¹.

Кажется, границы Европы на востоке окончательно сформировала эпоха барокко с ее острым ощущением формы и столь же острым ощущением метаморфозы; эпоха, любовавшаяся чудесами и в то же время беспредельно скептическая. Похоже, что линия границы прошла как раз через Дрогобыч, на север к Вильнюсу, на юг к Праге.

И именно тут, на окраинах, должно было возникнуть сознание драматической напряженности между европейской нормой и бытовой конкретностью. Освященные Богом торжественные формы, королевско-императорские формы, государство, право, официальные и чиновничьи мундиры, ордена, школьные программы, молитвы и проклятия оказывались слишком хрупкими, чтобы устоять перед стихией времени, и

¹ Эрих фон Людендорф в 20-е годы XX века пришел к выводу, что всю эту культуру (т.е. западную цивилизацию) остается только «выбросить на свалку», ибо она не вооружает Нацию на борьбу с «неуловимым, смертельным врагом» (без которого Нация, естественно, не могла бы существовать; в этом конкретном случае речь шла о комбинированной угрозе — большевистской, еврейско-капиталистической и римско-католической). В результате великий немецкий вождь перешел в синтоизм. Это не был изолированный случай в тогдашней Германии, которая в тот период терзалась проблемой своего места в Европе и вопросам принадлежности к Западу (реже) или Востоку (чаще) посвятила непомерно много времени и энергии. С известными результатами.

такими же летучими, как грезы обычных, маленьких людей. Проще всего это определил Бруно Шульц, когда писал (вслед за другим жителем Галиции) о «половинчатом и нерешительном характере действительности».

Может быть, Восточная Европа — странное, печальное и гротескное чудище, которое существует только потому, что не может смириться со своим существованием...

Сознавая исчезновение форм, Бруно Шульц, житель Восточной Европы, сочувствовал всем Демиургам мира. Он хотел поддержать их, поэтому спасал память о летучих грезах,

о корнях мандрагоры,
о нюрнбергских механизмах,
о гомункулах в цветочных горшках,
о тайне почтовых марок, уложенных в кляссеры,
и о провинциях настолько далеких, что почти нереальных.

10

Существо данного явления наиболее четко и ярко обнаруживается на его окраинах. Провинция, по самому своему существу, больше, чем метрополия, чувствительна к ценности нормы. Она упорно ссылается на норму. Предостерегает от опасностей. Защищает — дорогой ценой.

Эта цена — уродливость, смехотворность и забвение.

11

Но что осталось от того мира?

Ведь он сгорел в Треблинке. Ведь он, вывезенный по этапу, до смерти оголодал и замерз в сибирском безлюдье. Ведь он истек кровью в усмирительных экспедициях оккупантов и в безумной войне соседа с соседом.

Выжил ли он в языке? Поэт скажет: да, безусловно, — и приведет доказательства. Но польский язык восточных окраин со своей фонетикой, морфологией и лексикой — сегодня уже только трогательный реликт. Идиш и иврит бесповоротно исчезли из этих мест. Белорусы, украинцы и литовцы жалуются на далеко зашедшее обрусение их языков. Даже карaimский язык подвергся «дегебраизации».

Восточноевропейский купец Генрих Шлиман принялся искать следы Трои, поскольку предполагал, что сохранились могилы героев. Может быть, ограбленные. Может быть, разрушенные. Но что они, так или иначе, есть, несомненно должны быть... Могилы и кладбища были знаками жизни, его неповторимости и возобновления.

Во время 2-й мировой войны, да и после ее окончания, в Восточной Европе действовали органы, задачей которых была ликвидация кладбищ. СС создало «зондеркоманды», чтобы уничтожать могилы тех, кого предварительно убивали. То же делало и НКВД. Недавно белорусская газета «Литаратура и мастацтва» сообщала, что в конце сороковых годов специальные бригады ликвидировали в окрестностях Минска массовые могилы тысяч людей, расстрелянных там в 1937—1941 годах. Белорусские авторы пишут: «...приложить такой огромный и изнурительный, прямо-таки египетский труд! Выкопать столько трупов! Где их скрыли? Вывезли и закопали? Сожгли?»

Потом поощрения свыше уже не требовалось.

И вот кладбищ нет. Нет могил. Надгробными плитами выложены улицы и дворы на Украине, в Белоруссии, Литве, Польше, Словакии и Чехии.

Это хороший строительный материал, рассчитанный на вечность.

Восточная Европа лишилась памяти. Плаксиво, с соплями под носом и с облегчением, в котором так нуждается нечистая совесть.

Но это не означает, что она будет ссылаться на память.

Когда наступит время, а раньше или позже оно наступит, обрывочная, увечная память, память — обвинение другим, память — алиби своего лицемерия смягчит страх Восточной Европы перед свободой.

Я боюсь того момента, когда окажется, что я свободен политически и невольник духом

Что же должен сделать археолог, который ищет следы той Восточной Европы и ее наличия в сегодняшнем опыте?

Ему придется осторожно подбирать деталь к детали, слово к слову, слой к слою, без гарантии, что удастся восстановить картину живой правды.

А может, все-таки что-то выжило?

В литературе, в искусстве.

Несомненно правдивая информация: в Дрогобыче летали.

Сентябрь 1988

КОМАР Михаил родился в Варшаве в 1946 году, окончил экономический и филологический факультеты Варшавского университета. Автор нескольких книг: главные среди тем, которыми занимался или занимается, — Джозеф Конрад (в частности, его этика в применении к польской коммунистической действительности), история террора (в т.ч. и в СССР).

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Джаб Наминов Б у р х и н о в

ПОСЛЕДСТВИЯ КАЛМЫЦКОЙ ДЕПОРТАЦИИ 1943—1957 гг. В НАШИ ДНИ

В связи с 550-летием юбилея героического эпоса калмыцкого народа «Джангар», правительство Калмыцкой АССР Республики пригласило меня с супругой, Намджал Санджиевой, урожд. Баяновой, в качестве официального гостя принять участие на торжественном заседании фольклорно-этнографического международного симпозиума и на народных гуляниях, проходившие с 20-го по 27-е августа 1990 г. в г.Элисте.

Празднество «Джангариады», несмотря на его огромные размеры в республиканском масштабе, было очень хорошо обдумано и организовано. Буквально все правительственные учреждения под руководством Совета Министров участвовали в подготовке до мельчайшей подробности в деле организации, приема и устройства многочисленных гостей не только из Союза, но также и иностранных гостей из Западной Европы, Америки и Азии.

Аэродром г.Элисты в эти дни превратился в международный аэровокзал. Здесь можно было слышать одновременно калмыцко-монгольскую речь, а также русскую, английскую, французскую, китайскую, японскую, немецкую, бурятскую и говор представителей народов Северного Кавказа и Центральной Азии... Город Элиста по этому поводу был убран: все государственные здания, залы, театры, стадионы, улицы, площади, парки были разукрашены художественными транспарантами на тему эпоса «Джангара»... Местные жители, одетые по-праздничному, а многие и в народных калмыцких костюмах, с достоинством встречали гостей с музыкой, пением и танцами в аэропорту...

Приветствия официальных лиц: Председателя Верховного Совета В.М.Басанова, Председателя Совета Министров Б.Ч.Михайлова, П.Ц.Биткеева, директора «Калмыцкого института общественных наук», иностранных калмыковедов-

монголоведов, депутата Верховного Совета Давида Н.Кугультинова и многих других деятелей республики на открытии торжества, как и на различных докладах, научных симпозиумах, по всему городу отмечались с большим достоинством и пафосом... В этих выступлениях чувствовалась неиссякаемая любовь и уважение к народному эпосу «Джангар» как шедевру народного творчества, в котором выражалась народная мудрость, мораль, этика и жизненная философия калмыков-ойратов в борьбе за справедливую жизнь...

Помимо калмыков-американцев и калмыков-французов в количестве 75 человек, целая плеяда участников калмыковедов и монголоведов из многих стран украшала этот праздничный юбилей Калмыцкой республики своими на редкость интересными научными докладами об эпосе «Джангар»... Об этой международной научной конференции о «Джангаре» и о проблеме эпического творчества, наверно, будет написано особо Калмыцким институтом общественных наук АН СССР.

Следует сказать, также артисты Калмыцкого Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан», гордость Калмыкии, с большим подъемом и энтузиазмом отметили Джангариаду... Артисты-подростки в ансамбле «Калмыкия» под руководством П.Надбитова произвели фурор у зрителей... Видимо, достойная смена народных артистов подрастает и успешно развивается. Но также большим сюрпризом является для всего калмыцкого народа постановка впервые первой калмыцкой оперы-балета «Джангар» композитора Пэрвэ Чонкушова, либретто Б.Очирова, при участии Государственного бурятского академического театра оперы и балета. Нет никакого сомнения в том, что с постановкой оперы «Джангар» открывается новая страница в истории калмыцкого театрального искусства. Публика была в восторге и достойно отметила заслуги калмыцкого композитора П.Чонкушова и артистов оперы и балета.

Какое счастье — благодаря «перестройке и гласности» в СССР калмыкам-американцам удалось в этом году побывать в Калмыкии и повидать родственников, друзей после всех этих мытарств, пережитых во время поголовной депортации всего калмыцкого народа в Сибирь в период культа личности... Еще в прошлом году, 1989-ом, калмыки-американцы допускались в Калмыкию только при наличии там родствен-

ников! В связи с угрозой СПИДа в Калмыкии и передачей спектрофотометра в качестве подарка детской больнице г.Элисты, мне нужно было добиваться особого приглашения от Министерства здравоохранения. Мне пришлось писать о моей просьбе М.Горбачеву и д-ру Чазову, министру здравоохранения СССР.

Несмотря на все невзгоды, наш многострадальный калмыцкий народ должен жить при любых условиях, развиваться и бороться за самосохранение!

Вот поэтому калмыкам-американцам нужно гордиться тем, что в КАЛМЫКИИ жизнь бьет ключом: духовная и творческая мысль, инициатива в области культуры, живописи, издательства, радио-телевидения и в области экономических и технических кооперативов — при любых условиях движется, развивается... Это залог нашей будущности! Это наследство для подрастающего поколения!

Но не успел я отдохнуть от поездки, как получил десяток ДУШЕРАЗДИРАЮЩИХ писем от матерей с больными детьми из Калмыкии. Среди них есть дети и русской национальности, рожденные в г.Элисте.

*Предав гласности краткое содержание этих писем, может быть, удастся найти пути и возможности в республиканских и союзных организациях, учреждениях, чтоб как-то облегчить участь больных детей, включая ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, прежде чем искать помощь в далекой Америке.

Первое письмо:

«Уважаемый Джаб Наминович!

...Извините, пожалуйста, за беспокойство, но к Вам меня заставляет обратиться необходимость, ибо я не вижу другого выхода. Моя дочь тяжело больна. Ее зовут Света. В 1985 г. она потеряла голос. Врачи обнаружили ПАПИЛЛОМУ на голосовых связках в гортани. Первую операцию сделали в июне 1985 г. С тех пор она говорит шепотом... ПАПИЛЛОМА постоянно растет, вследствие чего каждые три месяца производится неприятная операция по ее удалению. Если ее не удалить, она может задушить дочь. Я писала во все концы страны, в официальные медицинские учреждения, обращалась к знахарям, но нигде не получила помощи. Здесь никто

не может помочь, и поэтому я вынуждена обратиться к Вам, так как долг матери — помочь своему ребенку, испробовав все средства. Вас глубоко ценят за ту благородную помощь, которую Вы оказываете здравоохранению Калмыкии.

Воспользовавшись случаем, я хотела бы обратиться к Вам. Не сможете ли Вы помочь, то есть хотя бы узнать, КТО и ГДЕ в США или в других странах может облегчить страдания дочери. Дайте мне ответ отрицательный или положительный.

Я с уважением отношусь к Вашей способности сострадать другим странам и отдельным людям. Я надеюсь на Ваше милосердие, верю в Ваш гуманизм, знания и умения. Вы — моя последняя надежда. Еще раз извините за беспокойство, но, обращаясь к Вам, я, возможно, использую последний шанс в надежде, что Вы откликнетесь на мою просьбу.

С уважением Бакуева Екатерина Степановна.

Элиста, Калмыцкая АССР».

Содержание этого письма переведено на английский язык и с особым сопроводительным письмом я послал д-ру Атकिन-Киин, специалисту по операциям папилломы в г.Филадельфии, штат Пенсильвания.

Второе письмо:

«...Пишет вам Бадукова Полина Борисовна, врач из городской поликлиники г.Элисты. Мое безвыходное тяжелое положение и личная трагедия заставили обратиться к Вам. Я лишена материнского счастья. У меня двое детей, оба больны эпилепсией с раннего детства, в течение 22 лет я и мои близкие страдаем вместе с ними. В нашей стране не могут оказать эффективной помощи, а для лечения в другой стране необходимо согласие клиники принять больного. Дочь в тяжелом состоянии. Прошу помочь мне спасти и сохранить сына 12 лет, он учится в 7 классе, успевает на 4 и 5, надеется выздороветь и осуществить свои мечты. Он нуждается в эффективном лечении и обследовании, болезнь может отступить. Убедительно прошу Вас проявить к моей материнской трагедии акт милосердия.

Бадукова Полина Борисовна.

Калмыцкая АССР, 358009, г. Элиста,
ул. Молоканова, д.49—19».

Содержание письма матери на английском языке с просьбой послано г-ну Эдмонду Ф.Нотбэрту, президенту детской больницы г.Филадельфии, ПА. 04.09.90.

Третье письмо:

«Уважаемый Джаб Наминович! К Вам обращаются родители детей, больных детским **ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЗОМ**, за советом и помощью.

Таких детей в нашем городе свыше 50 человек. Они не получают **КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ**, так как это заболевание (некоторые ее формы) практически неизлечимо. Нам хотелось бы узнать, как в США оказывают помощь, лечение таким детям? В числе их, например, один ребенок — Абушинова Света, ей 12 лет, с заболеванием: болезнь Штрюмпеля, атипичный вариант с мозжечковыми нарушениями, выраженным нижним парапарезом, диспонией мышц ног. Выписку из ее истории болезни прилагаем. Девочка заболела с 7 лет, до этого росла и развивалась нормально. В настоящее время ей очень плохо, не передвигается самостоятельно, а в семье всего четверо малолетних детей, растут без отца. Каждый год ее возят родные в Москву, в Первый Московский медицинский институт. Пока результата нет. Также в тяжелом состоянии дети семей Бальджиковых, Стальниковых и т.д. Просим Вас оказать содействие в лечении некоторых из этих детей. По поручению родителей: Чавчалов Петр Петрович, Депутат Верховного Совета Калмыцкой АССР; Утнасанова Зоя Санджиевна, 358003, г.Элиста, 2-й мик-н, дом 38, кв.57; Убушаева Людмила Хорцхаевна, г.Элиста Калмыцкой АССР.

Выписка из истории болезни № 1277 Первого медицинского института в г.Москве.

Касательно: **АБУШИНОВА** Светлана, 12 лет, 358000, г.Элиста, Калмыцкая АССР, 2-й микрорайон, дом 38, кв.57.

«...настоящее заболевание: **БОЛЕЗНЬ ШТРЮМПЕЛЯ** — началось с 7-летнего возраста, когда впервые было замечено дрожание рук и подтаскивание правой ноги. При повторных осмотрах обнаружено: выявлены значительные изменения желчного пузыря — перегиб в средней трети, утолщение стенок, увеличение углов печени холестаз по внутривнутрипеченоч-

ным протокам среднего и мелкого калибра, повышение эхоплотности печени, реактивные изменения поджелудочной железы: очаги уплотнения, увеличение размеров, что позволяет объяснить боли при движении в правой половине грудной клетки. Дисфункция хорд митрального клапана обусловлена функциональными изменениями.

Кранилограмма: череп небольшого размера, гидроцефальной формы, небольшие гипертензионные изменения в костях свода. Глазное дно — в норме. Р-грамма — в норме. Общие анализы крови, мочи, биохимия сыворотки крови, состав спинномозговой жидкости — в норме. Компьютерная томограмма головного мозга от 10.06.89г. патологии не выявила».

Содержание письма матери с особым сопроводительным письмом отправлено г-ну Эдмонду Ф.Нотбэрту, президенту детской больницы г.Филадельфии.

Четвертое письмо:

Выписка из истории болезни № 22100 Первого Московского медицинского института.

Касательно: АЛЧИНОВ Эрднэ, рожд. 30.11.85г.

С первого года рождения Алчинов Эрднэ находится под наблюдением врачей. В результате врачебного консилиума в составе ассистентов-профессоров: Г.В.Калашникова, Л.Н.Гусевой, Н.А.Финогенова, Г.С.Пашкевича, Л.Г.Кузьменко и полных профессоров: А.Г.Румянцева и Т.В.Чередниченко был установлен следующий диагноз у Алчинова Эрнэ: ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ. Через три месяца следующий врачебный консилиум состоится относительно биопсии печени.

Калмыцкая АССР, г.Элиста, 358007, ул.Пирогова, дом 27, Альчиновой Татьяне Васильевне.

Содержание письма матери, как и выписку из истории болезни, с особой просьбой на английском языке я послал г-ну Эдмонду Ф.Нотбэрту, президенту детской больницы г.Филадельфии, Филадельфия, ПА, 4 октября 1990г.

Пятое письмо:

«...У Андрюши ДУБЯГИ, рожд. 1985 г. — кефалогематома левой теменной кости, перенатальная энцефалопатия. По мнению врачей-сурдологов, во время родов произошло двухстороннее поражение звуковоспринимающего анализатора.

Диагноз: НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ГЛУХОТА.

В два года ребенку был выписан советский карманный слуховой аппарат К-11С, пробовал носить и другой аппарат К-10С, но, к сожалению, качество этих аппаратов не на высоком уровне, и при потере слуха у Андрюши они малоэффективны. С двух лет ребенок обучается дома по методике советского сурдпедагога Э.И.Леонгарда.

С аппаратом ребенок различает 40 слов и 5 простых предложений. Очень нужен высококачественный слуховой аппарат, с тем чтобы улучшить разборчивость речи. Я отчетливо отдаю себе отчет в том, что мой ребенок глухой, остатки слуха у него минимальные, однако мое страстное желание — подготовить ребенка к жизни, к общению с окружающими слышащими людьми, с тем чтобы он как можно меньше ощущал свою глухоту, и три года занятий показывают, что я могу это сделать, но нам необходим **КАЧЕСТВЕННЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ.**

Моя огромная просьба: помочь нам, если есть, конечно, такая возможность, в приобретении слухового аппарата японского производства.

С уважением Любовь Николаевна ДУБЯГА.

СССР, Калмыцкая АССР,

358000, г.Элиста, ул. Юрия Клыкова, дом 9, кв.18».

Эти откровенные, душераздирающие письма женщин-матерей из родной Калмыкии с больными, искалеченными детьми не требуют дальнейших комментариев, объяснений...

За границей по временам просачивались тревожные сведения, что еще в 1925 году Совнарком РСФСР был предупрежден докладом научно-медицинской экспедиции проф. А.В.Молькова об угрозе процесса вырождения калмыцкого

народа. В докладе, в заключении, говорилось, что естественный **ИММУНИТЕТ** к туберкулезу находится еще на первичных ступенях развития.

В газете «Советская Калмыкия» от 3 августа 1990 г. д-р Михаил Иг. Эренценов, известный авторитет по урологии в Калмыкии, заявляет: «...заболеваемость туберкулезом по республике на 100 тысяч населения составляет 67,3, а по Российской Федерации показатель 40,6. Остается высокой заболеваемость туберкулезом детей и имеет тенденцию к увеличению с 13,4 (в 1988г.) до 16,8 (в 1989г.)!» Д-р М.И.Эренценов добавляет: «...то можно без труда представить себе последствия насильственного переселения калмыцкого народа в Сибирь. Это не могло не сказаться на **ИММУННОЙ СИСТЕМЕ** конкретно в тот период и на **ПЕРСПЕКТИВЕ ВЫЖИВАНИЯ НАРОДА...**»

Как известно по переписи от 1892—1897гг., на территории Астраханской области проживало около 200 000 калмыков, а в 1989 г. — около 147 000. Калмыцкие демографы должны сделать реальный вывод из этих данных в историческом масштабе.

В той же газете «Советская Калмыкия» д-р М.И.Эренценов заявляет: «...вскрытие умерших детей за 1988—1989 годы показало, что из 340 в 134 случаях смерти были **ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОПРОВОЖДАЛИСЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫМ ИММУНОДЕФИЦИТОМ ВРОЖДЕННОЙ ФОРМЫ !!!**»

Если это медицинское заключение подтвердится, то нам, калмыкам, где бы они ни проживали в различных странах, следует требовать содействия, помощь не только в Москве, но также во всех нужных международных инстанциях, Всемирной организации здравоохранения, Организации Объединенных Наций....

Если **ДЕКЛАРАЦИЯ** от 14 ноября 1989 г. Верховного Совета СССР о признании **НЕЗАКОННЫМИ И ПРЕСТУПНЫМИ РЕПРЕССИВНЫХ АКТОВ ПРОТИВ КАЛМЫЦКОГО НАРОДА**, подвергнутому **ДЕПОРТАЦИИ В СИБИРЬ** зимой 1943/44г., имеет значение и силу, то Советское правительство в Москве должно особо обратить внимание на **ИММУНОДЕФИЦИТ ВРОЖДЕННОЙ ФОРМЫ** у калмыц-

ких детей, рожденных в период **ДЕПОРТАЦИИ** их родителей в Сибирь, и принять соответствующие мероприятия... если не поздно.

Я глубоко уверен в том, что правительственные органы **КАССР** уже сделали выводы о причинах **ИММУНОДЕФИЦИТА ВРОЖДЕННОЙ ФОРМЫ** у калмыцких детей!

Судя по содержанию только одних этих писем, калмыцкая общественность не будет молчать!

В спешном порядке, за последние шесть недель, мне удалось устроить **БЕСПЛАТНО** в больницы г.Филадельфии, штат Пенсильвания, следующих лиц:

1. Светлану Бакуеву в больницу «Пенсильвания» г.Филадельфия на исследования и операцию горла: хроническая **ПАПИЛЛОМА**.

2. Бадуков, мальчик 12 лет, будет принят в детскую больницу г.Филадельфии, если будут представлены дополнительные диагнозы из Союза. На основании этих данных медицинский консилиум решит вопрос о приезде Бадукова в **США** на операцию от **ЭПИЛЕПСИИ** в острой форме.

3. Андрюша Дубяга, мальчик 5 лет, будет принят на исследования специалистами-сурдологами больницы «Пенсильвания» г.Филадельфии, чтобы определить специальный слуховой аппарат для мальчика, страдающего **НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ГЛУХОТОЙ**.

Автор этих строк обращается к калмыцкой общественности за рубежом, а также в Калмыкии и всем друзьям калмыцкого народа с просьбой оказать содействие больным детям Калмыкии.

*Джаб Наминов Бурхинов
5 декабря 1990
США*

***БУРХИНОВ Джаб Наминов.** Родился в 1921 году в Югославии. Представитель по внешним делам Калмыцкого комитета и Общества Калмыцкого Братства в США. Участник многих международных конференций под эгидой Организации Объединенных Наций в защиту прав человека. Живет в США.*

ИСТОКИ

Владимир О г н е в

АМНИСТИЯ ТАЛАНТУ Или до и после «Нового мира»

ДО «НОВОГО МИРА»

В последнее время много пишется о роли «Нового мира» А.Твардовского в отстаивании достоинства литературы. Это верно. «Новому миру» суждено было стать последним оплотом Художника в море разбушевавшегося Торга и Бесчестия. И то, что «Новый мир» держался последним и до последнего, можно сказать, героически, история русской и советской словесности не забудет.

Однако, в силу ряда причин, и в первую очередь потому, что литераторов, боровшихся с реакцией до «Нового мира» 50—60-х годов, попросту мало сохранилось (одних сжили со света в прямом смысле, других — в переносном), многие сегодня представляют дело так, что с журнала «Новый мир» все хорошее началось и им же закончилось. Нет, журналу А.Твардовского пришлось быть *концом* сопротивления передовой интеллигенции деформациям отечественной культуры, которая перестала существовать организационно, потеряла свой орган. Концом, но далеко не началом.

И все, кто готовил почву подлинной культуры, а не фасадной, фальшивой подделки под нее, без труда восстановят факты правдивой истории литературы, начиная с послевоенных лет.

Я помню, что именно тогда, увидев в увеличительное стекло войны всю страшную правду о нас, о себе, так отличающуюся от розового неведения довоенных лет, мое поколение начало трезветь, думать, сомневаться в догмах. Именно с критики догм, попугайства, насилия над пробуждающейся мыслью начинали мы свой непростой путь к правде. Мы говорили еще старыми словами, в которых топили порой новый смысл. Но мы искали эти новые слова.

Наш общий долг сегодня — долг отечественной культуры — с вершины данного нам опыта жизни и исторических событий восстановить имена, факты и даты той борьбы за истину.

Откроем же собственные запасники памяти и честно, без предвзятости восстановим путь правды, не щадя никого, а прежде всего — себя.

«Амнистия таланту!»

Такой «неосмотрительный» лозунг был выдвинут мной в свое время. А время оказалось «не своим». То есть «своим» наполовину, на некоторый срок.

Это было время «оттепели».

Термины тоже приходят и уходят. Эренбург был точен в определении общественного состояния той, увы, краткой поры надежд и упований. Но «враги перестройки», если использовать нынешнюю терминологию, нашли и тогда свой вариант толкования русского слова, как известно, гибкого и многозначного: «гнилость», «сырость», «идейную распутицу» — определили они синонимом к оттепели.

Сегодня оттепели вернули первоначальный смысл — весенний, с гулом начинающегося ледохода...

Мне уже поздновато радоваться весне, возможно, настоящей, безобманной, но я радуюсь. Я такой же, как все, — живу надеждами.

Но почему же с такой долгой раскачкой втягиваюсь я в общий, можно уже сказать, массовый фронт борьбы с косностью, воинственной защитой деформированного и коррумпированного общества? Почему другие имена, чаще всего мало что значившие в истории 40—50-х годов., да и просто бывшие тогда юнцами, слышны сегодня громко и уверенно в прогрессивной печати? Мало, мало голосов старой гвардии, готовившей это долгожданное время радикальных перемен, слышу я. Но они есть, и беспокойное чувство вины овладевает мною. Устали мы? «Повыбило железом», как говорил поэт? Или что-то другое мешает, сдерживает перо мое, смущает?..

Разобраться в этом нужно самому. Честно говорю — не разобрался до конца. Но какие-то главные чувства — на поверхности.

Общественный смысл служения литературе, вопреки императивным обстоятельствам насилия авторитарной системы, нуждается, конечно, в анализе. Но лучше всего знаешь себя, а говорить о себе, по известным нравственным правилам — трудно. Хочешь не хочешь, а получается, что ты ставишь себя в фокус общественного внимания. Примерам — несть числа, стоит ли умножать их?

Но, может быть, что-то значит и мой опыт?

Надеюсь теперь, хотя бы отчасти, я пояснил свое состояние, ту неуверенность, с которой я преодолеваю немоту и начинаю свой рассказ о времени в лицах 40—50-х годов.

«ТО ВРЕМЯ...»

К Сталину у меня было странное отношение. Фигура эта просто не обсуждалась в семье, у моего отца были свои резоны не очень боготворить «отца народов». В 1937 году было его первое знакомство с нахмуренными бровями Системы, первый звоночек — к счастью, отца выпустили сравнительно скоро.

Помню, в первый день его возвращения, мы отмечали флажками на карте Испании продвижение республиканцев, и отец, уколов палец булавкой с черным флажком, сказал матери, что видел такую же карту «там» и что это «странно» — «им там нет дела до Испании. До революции — тоже...».

Надо сказать, что у отца был «длинный язык» и он умудрился сидеть при Скоропадском и Петлюре, а при власти Советов спас его от очередной отсидки В.Г. Короленко, с которым была знакома мама, полтавская учительница.

Я по молодости лет не очень вникал в его бунтарские высказывания. Не думаю, что у отца была сознательная позиция, скорее инстинктивное нежелание подчиняться насилию и произволу в любой их форме.

Как бы то ни было, но в 1942 году, возвратившись после первой контузии долечиваться в черноморский городок, где мы жили перед войной, я узнал, что не огромная воронка на месте родного очага поглотила моих родителей и малолетнюю сестренку, а... судьба «спецпереселенцев» — они были вы-

сланы в Казахстан вместе с армянами и греками, а мне пришлось проявить немалую смекалку, чтобы не разделить их судьбу... Но об этом как-нибудь позже.

«То» время осталось в детской памяти ночными разговорами родителей, что надо поехать за бабушкой и дедушкой на Украину, что они там умрут с голоду.

— Почему у бабушки такие толстые ноги?

— Опухли, внучек...

Недолго пожили они на Кавказе — дистрофия, внутреннее кровоотечение — трудно удержаться, когда хочется есть и впервые за долгое время голода есть еда...

И вот мы уже хороним их, одного за другим — бабушку и дедушку, на кладбище, на высоком берегу Черного моря...

А на жаркой улице, летом 1932 года, впервые вижу умирающего с мешком за плечами. Люди проходят мимо, кто-то крестится...

А отец выводит за ухо оборвыша из нашего сарая, там хранили картошку и свеклу. Ведет в дом и... сажает за стол: «Поля, накорми...»

Оборвыш говорит по-украински, и мама плачет.

Еще до школы, — видимо, мне было лет пять, — ездили к дедушке. У него была бахча, пчелы. На песчаном берегу Ворсклы стояла мельница, куда мы ходили с дедушкой — кому-то отдавали «гличик с медом». И жизнь казалась мне, несмышленику, вся в мальвах и солнечных зайчиках.

«То» время было временем ночных шепотов, к которым я не прислушивался, — у меня была своя детская жизнь. А голос отца, его вздох: «Перелет.... недолет...» — мне были непонятны. А означало, однако, это многое: сосед справа, профессор, арестован, сосед слева, адвокат, взят ночью.

Шел 1937 год.

Я хорошо стрелял в тире в каску и в кружок на груди, слева. У меня была своя программа: футбол, утренняя ловля крабов на берегу, школьный театр, где я играл роль шпиона и падал, пораженный неотвратимой пулей чекиста, уроки музыки, которые я брал у Кости Челикиди на мандолине «за так» и на рояле у астматической дамы из Ленинграда — за большие по тем временам деньги — у меня прорезались некие способности и я даже сочинял пьески...

Но в 1941 году мне подарили чемодан для нот и смены белья 20 июня. А 22-го я вынул из чемодана лишние теперь ноты, оставив смену белья и оловянную ложку, с которой мой дедушка, говорят, «ходил на турка».

«За Сталина!» я не успел крикнуть ни разу — эшелон разбомбили летом 1941 года в степи, двое суток я не видел света, а потом все яснее видел мир и начал понимать кое-что, чему раньше не знал истинной цены.

Война окончилась для меня в 1946 году.

В резервном полку меня вызывал играть в шахматы офицер из СМЕРШа, и я каждый раз холодел, выигрывая у него. Я скрывал, что родители — в ссылке, и думал, что игра в шахматы подстроена, чтобы я «раскололся».

В Литинституте я тоже скрыл, что отец и мать мои — «враги», мучительно ждал «разоблачения».

Как-то ночью пришли в общежитие два чекиста и арестовали Эмку Манделя, который взял себе потом псевдоним Наум Коржавин. Я промучился до утра без сна, а наутро пошел на риск: явился куда надо и сказал, что Мандель — мой солдат и что я за него ручаюсь.

Последствия были странные: Мандель, конечно, продолжал сидеть где-то в Караганде, но меня вызвал заместитель директора Литинститута, милейший Василий Семенович Сидорин, и сказал, что ему дважды звонили — справлялись обо мне, спрашивали, не сумасшедший ли я или притворяюсь.

Сидорин, умудренный опытом, отвечал, что я действительно странноватый парень, но характеристики хорошие по всем пунктам. Тогда я признался ему, что не все «пункты» так уж хороши и что я скорее уйду из института, чем подведу его. Сидорин был тронут моим признанием, но посоветовал молчать. Времена были жесткие.

— А он что, действительно ваш солдат был?

— Представьте себе, — улыбнулся я, — в лагере, на переформировке, этот Швейк (я говорил о Манделе) попал в наш взвод. Морозы стояли под сорок. Он не вылезал из нарядов вне очереди. Утром, еще в темноте, когда приносил ведро с баландой (вода и капуста — «по третьей норме»), непременно поскальзывался на пороге и оставлял всех без завтрака. Землянку нашу видно было издалека — капуста примерзала до весны.

Перед отправкой на фронт я уговорил врача части откомиссовать Манделя — он погиб бы в первом бою, трудно представить более непригодного для войны человека. Да и что-то вроде катаракты было в его правом глазу.

Я был покорен его стихами, после отбоя читал он мне Пастернака.

— Знаете, и об этой части своей биографии, о связи с Манделем... не надо, — сказал Василий Семенович. — Я понимаю, что вам неприятно от меня слышать такое, но, поверьте, я старше вас...

Те, кто старше, всегда почему-то этим гордятся.

Кстати, еще одна реплика «в сторону». Пережив тяжелые времена, оказавшиеся не очень красивыми для некоторых лиц по части гражданского мужества, лица эти апеллируют к будущему: вот придут новые поколения, они будут свободны от наших комплексов страха, свободно распрямят спины и тогда... А что тогда? Вот вопрос.

Опыт показывает: новые поколения надеются на еще более новые. Мужество принято откладывать. Искать для него подходящие времена. А их, подходящих, не бывает. Времена, они всегда почему-то подходящие для одних и не подходят для других.

Да, время оттепели мы ждали, но оно обмануло нас. И все-таки Хрущев был первым человеком Великого Поступка. Все во мне протестовало, когда обыватели разменивали имя Хрущева на дешевые анекдоты. Рабы всегда рады безопасному глумлению над тем, кто не поднял непосильную тяжесть.

И раньше и теперь особенно несоизмеримыми с судьбой народной кажутся мне иные претензии интеллигенции.

Я не сразу понял, что именно раздражало меня, когда я читал повествование А. Вознесенского о том, как на него стучал кулаком или махал рукой Н. С. Хрущев. Было такое, что спорит. И может быть, скажи об этом один раз, в определенном контексте, это и произвело бы нужное впечатление. Ну что хорошего в том, что глава огромного государства угрожающе размахивает руками перед носом поэта? Однако одного раза А. Вознесенскому показалось мало. Теперь уже и раз и два появились фотографии

Хрущева и Вознесенского, сопровождающие текст, поэт снова привлек внимание к этому историческому факту. Это уже походило на перебор.

Я не был на этой встрече, другие свидетельствовали: да, бледный Вознесенский что-то неразборчиво бормотал, пытался читать стихи, чтобы доказать, что кричат на него напрасно, зрелище было не такое, чтобы назвать его схваткой гигантов. Стыдное, одним словом, со всех точек зрения, печальное свидетельство фарса — более, нежели противостояние Искусства и Власти, хотя, конечно, в своеобразной, шаржированной форме, было отражением вечного несовпадения интересов перегруженного политическими заботами, но не интеллектом Молоха Власти — и Художника.

Помню, как Вознесенский, прямо оттуда, приехал ко мне на Аэропортовскую, как, совершенно раздавленный случившимся, пил чай и говорил, что его «выталкивают» из страны, как он не выдержал, всхлипнул, а жена моя утваривала его прилечь на диване и принесла плед. Состояние Андрея в тот день мне не понравилось. Горячее состояние, растерянность вызывали жалость. Когда он ушел, я сказал жене: «Неужели его сломают? Он так слаб, чтобы выдержать то, что выдерживали до него...»

Когда я слышал и слышу, что поколение «шестидесятников» — баловни судьбы, разнеженные легким успехом, я не согласен с таким утверждением хотя бы потому, что это говорят, как правило, враги нового, завистники, озлобленные посредственности.

Но надо быть честным и говорить прямо: преграды, стоявшие перед талантом в 30—50-е годы, мягко выражаясь, несравнимы по «толщине» стен с перегородочками времен Хрущева и Брежнева.

Там кровь лилась, здесь — слезы и чернила.

Души калечили во все времена. Но по-разному.

И тут самое время вернуться к разговору моему с Василием Семеновичем Сидориным и мудрости тех, кто прожил больше и дольше.

Каждому поколению свойственна «ностальгия по настоящему». И мое не было тут исключением. Мы думали: война, страх репрессий, сорок девятый позорный год, иезуитское насилие над убеждениями, материальные поощрения отступ-

ничества, раболепие перед силой, корысть доносительства — все это будет сметено ветром XX съезда партии, пусть мы и не пожнем урожая новых посевов правды и справедливости, иные поколения будут свободны от деформации душ, и культура Отечества вновь воспрянет ото сна, вернется к великим заветам неподкупной совестливости.

Однако все чаще стали убеждаться мы и в том, что молодые таланты, освобожденные от давления силы объективных обстоятельств, от страха за жизнь, продолжали нести в генах своих тот же страх и *новые болезни* проникали в их души.

Выстрадавшее братство по идее все более становилось эфемерным.

Атомизация талантов становилась нормой.

Каждый, в лучшем случае, торопился в одиночку и погромче, чтобы слышали далеко, вызвать на бой Дракона, а кое-кто предпочел кормить его с ладошки, усыпляя гнев зверя, благо и драконы становились бутафорскими, «битвы» и игры почти не отличались друг от друга.

... Василий Семенович не раз вспоминался мне. Грустно, с улыбкой понимания, учил он нас быть честными *в рамках возможного*. Многие из нас так и жили. В рамках.

А хотелось не чувствовать их, чтобы они не натирали шею.

НЕМНОГО О «КОСМОПОЛИТАХ»

После войны ах как хотелось догнать время! Сколько помню себя, всегда торопился. На первом курсе пробыл один семестр. Для чего-то сдал экзамены досрочно, и второй семестр застал меня на втором курсе. На четвертом — уже работал в редакции «Литературной газеты». Как? А очень просто: сбегал систематически с последнего часа лекций, прыгал на ходу в трамвай («аннушка» ходила тогда по бульварам), доезжал до Кропоткинской площади и бежал на Второй Обыденский переулок, в красивый особняк, где почему-то всегда наталкивался в коридоре на главного редактора Ермилова, который удивленно провожал меня взглядом. Среди прочих странностей была одна, мне нравящаяся: он не запоминал своих — малочисленных тогда — сотрудников в лицо.

Печататься начал рано. В том же, 1949 году, до истории с «космополитизмом», меня пригласила «Правда» сотрудником отдела литературы и искусства. Однако анкету пришлось вернуть — разразился скандал в институте.

Ему предшествовали следующие обстоятельства. Меня и Евгения Винокурова профком послал долечивать военные хвори в Ялту, в военный санаторий. Там мы и прочитали в газетах, что некие «космополиты» в своем «низкопоклонстве» перед тлетворным Западом грозили разрушить отечественную культуру.

Мы ничего не поняли, но стало тревожно. По возвращении в Москву застали конец «чистки» в альма-матер. Припомнилось, что Павел Григорьевич Антокольский, грубо вытолкнутый из института, в свое время не дал творческой характеристики Василию Федорову, считая его поэзию эклектичной и банальной. Припомнилось и многое другое. Например, что студент нашего курса Константин Левин, еврей по национальности, писал «очернительские» стихи, дошел до того, что посмел вывести в одной поэме нашу русскую девушку, которая жила с оккупантом.

Я ринулся в бой за Левина, апеллируя как к его биографии фронтового лейтенанта, инвалидности (ему оторвало ногу в Румынии), так и к случаям измены наших «русских девушек». Я назвал три фамилии только из нашего класса, которые уехали в Германию.

Меня сняли с комсorghов курса, поставили вопрос об исключении из комсомола и института. Спасло «хорошее прошлое».

Вскоре пришло приглашение из «Литературной газеты» занять место в отделе критики. Как я уже говорил, печатался я рано, но то было наивное и в других жанрах. Первая же моя статья, которую я прочитал тогда в Ялте, не принесла мне радости. Я раскрыл долгожданный номер столичного толстого журнала и прочитал, до и после моей статьи, названия соседних: «Гнусный космополит Шкловский» и еще кто-то «гнусный». Винокуров читал из-за моего плеча и хмурился. Я знал, кто такой Шкловский, и не верил своим глазам.

Но они, наши глаза, привыкали потом и не к таким вещам...

История с «космополитами» впервые обнаружила раскол в рядах студентов Литинститута. Как-то, сама собой, началась поляризация, и она оказалась долговременной, чем это можно было предположить поначалу.

И водораздел прошел, конечно, отнюдь не по национальному признаку, а совсем по иному — обнаружилась нравственная, человеческая сущность людей.

Постепенно получало очертание то явление, которое с годами крепло и усиливалось, расширяя свое влияние: умение людей, обделенных талантом, ставить на «лозунг», вытеснять умных, заменяя их дураками, унижать интеллигентных, возвышая хамов, укрощать строптивых, выращивая холуев.

Менялись времена — менялись лозунги. Но тактика оставалась прежней. Талант легко подпадал под очередную «статью» неписаных кодексов верноподданничества.

Кем только не приходилось быть таланту: и «очернителем», и «эстетом»; и «антипатриотом», то «оторванным от народа», то идущим «на поводу мещанства», то «копающимся на задворках общества», и «злопыхателем», и бог знает кем еще...

У него читали между строк, «раскрывали подтекст», обнаруживая страшные смыслы и намеки, — одним словом, служили «родине и партии» не талантом, а... бдительностью, резко разделив постоянные теперь роли — «автоматчиков партии» и... подследственных, которым оказывался каждый, кто умел писать и имел совесть.

Оказалось, что и легче и прибыльнее не иметь таланта.

Надо ли удивляться, что идеей разоблачения «космополитизма», высосанной из пальца Сталина, искалечившей многие судьбы одаренных людей, воспользовалась та же бессмертная когорта обделенных способностями.

Ни для кого не секрет, что и мутная волна «культурного» шовинизма наших дней — в основе своей — имеет вовсе не патриотические корни, это продолжение той же линии — попытки прописаться в искусстве по чужому паспорту...

В самом деле, кого из торжествовавших в те мрачные времена сохранила память литературы? Да никого. Запомнились их жертвы. В постыдных делах участвовали, конечно, не одни бездарности, но людей более или менее способных, «согрешивших» по части неправых гонений во время очеред-

ной «кампании», были все-таки единицы, и те — от страха, не по убеждению. Если в 30-е годы большинство разделяло варварскую веру в наличие «врагов народа», то уж после Отечественной войны таких наивных надо было поискать.

Страшные, циничные фигуры появились на сцене жизни...

К.Симонов в «Записках человека моего поколения» просто и ясно сказал об одном из них, самом, пожалуй, типичном представителе этой категории — А.Софронове: «литературный палач». Тут ни убавить, ни прибавить.

Но тема «космополитизма» была бы неполной, если бы я умолчал об одной истории, в которой, увы, не совсем красивая роль досталась и самому К.М. Вернее, он сам ее выбрал.

Много лет меня мучили сомнения: правильно ли я поступил, вмешавшись с лучшими побуждениями в ход этой истории?

Вот такая история.

«Литгазета» долго оставалась островком, на котором нашли спасение последние «космополиты». Их не трогали, Симонов этим гордился. Чистка, которая прокатилась по другим редакциям, «Литгазету» обошла.

И вот однажды мне показали странное письмо. Большая группа подписавших его благодарила Симонова за то, что он благородно вступился за лиц еврейской национальности. Письмо пришло не то из Бердичева, не то из Жмеринки. Оно было как-то связано с ответом сотрудника редакции Р.Бершадского по другому письму на эту же, тогда особо «щепетильную», тему.

В.А.Косолапов, работавший одним из замов Симонова, как член партбюро, по требованию двух-трех сотрудников, недовольных политикой главного редактора в вопросе «пятого пункта», на завтра готовился собрать членов партбюро.

Когда я зашел к нему, он был бледен и мрачен. Я знал Косолапова с лучшей стороны и ожидал, что он предпримет что-нибудь, чтобы не дать «оппозиции» шансов нанести удар по Симонову. Я в то время был безоговорочным сторонником К.М. Но Валерий Алексеевич, как я узнал, даже не предупредил К.М. о готовящейся на завтра акции. Это удивило и огорчило меня. Косолапов был «человеком Симонова», тот взял его в «Литгазету», доверял ему. Но, видимо, страх был

сильнее чувства товарищества. (Кто знает, пришло мне как-то в голову, не желание ли освободить душу от памяти этого малодушного поступка, руководило потом Косолаповым, когда он совершил один из самых смелых поступков, опубликовав «Бабий Яр» Евтушенко?) Но тогда Косолапов явно смалодушничал.

И я, схватив такси, помчался на ул. Горького. Симонов был дома. Он выслушал мою сбивчивую речь как будто спокойно, но я ни до этого, ни после не видел его таким испуганным. «Я этого никогда тебе не забуду, Володя», — сказал он, пожимая руку при прощанье. Так мы перешли на «ты». (Впрочем, ненадолго...)

Для меня было ясно, что письмо из Бердичева или Жмеринки — чистой воды провокация. Не исключал я и того, что эти десять или двенадцать подписантов — либо «подсадные утки», либо полные идиоты. Стиль письма был предельно провокационен, Симонов представал чуть ли не убежденным сионистом, его подозрительно лобызали за это.

Партбюро было закрытым. Продолжалось долго. Но когда оно закончилось, все вышли оттуда растерянными.

Симонов нанес удар первым. Это была его, печально известная в устных пересказах, речь о еврейской нации, ее историческом коварстве и т.д.

На следующий день был дома арестован Р. Бершадский.

Его, правда, вскоре выпустили. Но черная тень легла на сотрудников «Литгазеты». Кто-то, конечно, торжествовал. Началась полоса «сокращений» и уходов «по собственному желанию».

Я не спал несколько ночей. И всё время думал, как бы развивались события, если бы я не предупредил Симонова о нависшей над ним опасности?

И не находил ответа...

О ФАДЕЕВЕ И ВОКРУГ НЕГО...

Можно подумать, что я далеко ушел от темы Сталина, но это не так.

В фильме Тенгиза Абуладзе «Покаяние» есть сцена, которая меня потрясла больше всего. На берегу реки свалены штабеля бревен. Женщина и девочка, ее дочь, бредут между

штабелями, разыскивая имя отца и мужа на срезах толстых сосновых тел. Так, зная, что лес сплавят по реке, политические ссыльные писали прощальные «письма» близким...

«Лес рубят — щепки летят»... Мы говорили это, вздыхая, думая в те годы о судьбе людей, ставших жертвами геноцида сталинских лет.

Я помню: страх был. Но я помню также: большинство верило, что так надо — лучше кто-то пострадает невинно, чем «шпионы», «убийцы», засланные к нам мировым капиталом, подорвут, подожгут наш светлый дом.

Мой отец рассказывал, как их с мамой и трехлетней сестренкой везли летом в эшелоне через красноводскую степь, как отец стучал часовым, чтобы они открыли засов двери (умерла женщина, она уже разлагалась, он хотел поднести к щели мою сестренку, чтобы та могла вдохнуть свежего воздуха), как часовой со смехом ударил прикладом по железному засову двери, на всю жизнь изуродовав челюсть ребенка.

И я помню, как плакали сотрудники «Литературной газеты» в зимний день траурного митинга, когда Симонов читал стихотворение на смерть вождя, как давили женщин и детей на Самотеке, пробивавшихся к Колонному залу Дома Союзов, чтобы *вблизи* увидеть своего бога...

Моя дочь ничего не понимает. Она мыслит рационально. Она не видит «логики» в том, что было.

А я смятен и растерян, была, была даже в общем сумасшествии своя логика. Щепки хотели снова стать деревом. В силе и росте ствола мечтали узнать и собственный вклад в ЖИЗНЬ.

И шли под топор.

Сталин был, конечно, богом, а бог, как известно, высоко. Но, через многоэтажные построения из душ своих подданных, бог этот касался перстами и наших голов. Странная эта мистическая связь доходила до сознания не сразу, а спустя некоторое время после того, как, неизвестно почему, волосы на макушке подымал некий внезапный ветер...

Так, уже после публикации моей статьи «Две правды» — это была первая статья об опальном Илье Сельвинском — я узнал от Симонова, чему обязан такому «смелому» шагу редакции. Оказывается, незадолго до того Сталин пригласил

группу писателей и дал им понять, что Петр Великий и Иван Грозный давно заждались признания их положительной роли в русской истории.

Трагедия в стихах Ильи Сельвинского «От Полтавы до Гангута», о которой я написал статью, была тем яичком, которое дорого к святому дню. Но то, что знал Симонов, как оказалось, не все знали.

В том числе и такой опытный царедворец от журналистики, как Давид Заславский. Ровно до полуночи в «Правде» была заверстана его реплика «Правда одна!», в которой от молодого критика Огнева, если бы реплика увидела свет на следующее утро, осталось бы мокрое место. Если бы... не бог.

Один из его «апостолов», вероятнее всего Суслов, снял реплику в подписной полосе.

Д.Заславский, впрочем, своего шанса не упустил. Прошли годы, и в «Правде» появилась еще одна реплика — «Упразднитель сатиры», в которой он не оставлял камня на камне от моей статьи в «Знамени», где я поддержал «Прохора XVII, короля жестянщиков» Г.Троепольского и позволил себе назвать всю современную «сатиру» «возней вокруг криво пришитой пуговицы».

Как-то так получилось, что и еще один мой материал в «Литгазете» задел высший партийный орган, теперь уже на довольно высоком уровне. В статье «Искусство критической уклончивости» я вдоволь посмеялся над льстивой и угодливой критикой. Причем высокие цели были задеты рикошетом.

Е.Сурков пел дифирамбы тогдашнему руководителю отдела литературы и искусства «Правды» В.Щербине, договариваясь до того, что Владимиру Родионовичу в монографии об Ал.Толстом удалось то, что не удалось в свое время... Виссариону Григорьевичу.

Другой апологет сильных мира, старейший критик К.Зелинский, восхваляя А.Фадеева, запутался в комплиментах и, будто спохватившись, сделал одно «замечание» под занавес: мало показан «героический труд на шахтах». Я позволил себе заметить, что героический труд на шахтах, контролируемый гитлеровцами (речь шла о «Молодой гвардии»), не очень героичен.

Статья вызвала широкий резонанс. Герой моего первогоopusа высказался прямо: «В Сибирь его!» Любовь Фейгельман, услышав это, серьезно испугалась за меня. Герой второго, Фадеев, посмеялся и спросил у Симонова — кто я, что пишу, но обида его оставалась еще долго. Не привык он к такому тону разговора.

— Будем считать это экспериментом, — лукаво улыбаясь, сказал мне Симонов. — Но не советую увлекаться.

Никто, помнится, не советовал мне демонстрировать независимость суждений. Не помню такого. А я просто был самим собой, может быть, и не представлял возможных последствий, не знаю.

В начале пятидесятого года Фадееву кто-то услужливо передал мой реферат «Литературные заметки. О Фадееве и соцреализме». Я написал его, как теперь вижу, не очень серьезно, скорее хлестко по стилю, чем глубоко. Я писал, что такого метода нет и быть не может, что реализм бывает только реализмом, без добавочных определений, а о фадеевских статьях по поводу метода отзывался уже вовсе без пиетета.

Кажется, В.Дорофеев или кто-то другой из аппарата Союза писателей пригласил меня для беседы (помню только, что именно Дорофеев рассказал мне о реакции руководителя Союза на мое сочинение). Фадеев не ругал меня, он возмущался преподавателями Литинститута.

«Ну, ладно, — так примерно якобы сказал он, — у этих молодых карбонариев голова набок, но куда смотрят отцы?»

О том же, только несколько иначе, вспоминал потом Лев Суббоцкий, тогдашний оргсекретарь СП. Он вел у нас какой-то спецкурс, кажется, он назывался «советская литература». Он и Г.Бровман. Бровман до 1949 года был смелым и даже рисовался смелостью. Потом, как и А.Дымшиц и многие другие, «напуганные» сорок девятым годом, сломался и уже до смерти оставался охранителем.

Суббоцкий всегда ходил в военном кителе, при погонах. Кажется, он был в ранге полковника, военюрист. Был тверд в убеждениях. Оставался преданным другом Фадеева, мыслил несколько прямолинейно, в искусстве понимал немного, но был предельно и придирчиво честен и принципиален. Недавно узнал я о том, что и его не миновал 1937 год. Я относился к нему хорошо, с уважением.

На его посту как-то незаметно оказался А.Софронов, Суббоцкого оттеснили. Он гордо молчал, не боролся за место в аппарате.

Не знаю, что тому было причиной, но вскоре он пытался покончить жизнь самоубийством. Стрелял в висок, но чудом остался жив.

После его смерти, наступившей через несколько лет, я и еще один мой друг пытались составить книжку статей Суббоцкого. Увы, оказалось, что все его речи безнадежно устарели еще при жизни. А человек был хороший...

Запомнился мне день самоубийства Фадеева. Лев Суббоцкий встретил меня во дворе Союза возбужденный:

— Вы слышали? Саша, Саша, какой молодец! Я всегда верил в него! Он сразу смыл с себя кровь... Теперь ему все простится.

Он беззаветно любил друга молодых лет. Преданный идее, он страдал, когда и ему открылась пропасть злодейства, когда вокруг Фадеева начали ходить слухи, имевшие и не имевшие под собой почву.

В печати А.Фадеев ругал меня однажды — за Маяковского. Я не обиделся. Ругал он честно, со своих позиций. По тем временам Фадееву ничего не стоило вообще «закрыть» меня как литератора. Фадеев был личностью немелкой, личное не примешивалось к его поступкам в литературе.

Это потом, когда пришли другие люди на смену Фадееву и его соратникам по революции, все начиналось и заканчивалось отношением писателя к ним лично, к их интересам. В то время, о котором веду речь я, дело обстояло иначе. А может быть, я был наивнее и не видел за поступками других причин, кроме интересов литературы, не знаю.

Но вот пример. Симонов рассказывал мне смешную историю, о которой, в свою очередь, поведал ему Фадеев. Группа лиц, уже тогда замыслившая некий заговор против талантливых писателей, пыталась оформить свой приход к литературной власти через Фадеева, пригласив его на дачу одного из «заговорщиков». Готовились тщательно. Ставку делали на нестойкость Фадеева к спиртному.

Тот, увидев батарею бутылок, а главное, состав участников застолья, сразу все понял. Потирая руки, уселся на отведенное ему почетное место, налил стопку и заговорил о

классике, о Слове, его богатстве и могуществе. И как ни пытались заскучавшие инженеры человеческих душ повернуть ход мыслей застолья в прагматическое русло, единственно представлявшее для них интерес, Фадеев не давал им такой возможности. Пил, закусывая, все более увлекаясь тем, что вспоминал: «А вот Флобер! Помните как там у него?..» Никто, конечно, ничего такого помнить не мог.

Короче говоря, где-то за полночь веселый Фадеев, так и не дав возможности нашим термидорианцам пробиться к заданной теме, выпил на посошок и встал. В неловкой паузе, вконец смущенный, а того более — разочарованный хозяин дачи выдохнул: «Все-то ты, Саша, у нас знаешь...»

«Как он хохотал! Как он потом хохотал!» — веселился Симонов.

Имен участников этого застолья я не называю, многим писателям легко представить, о ком шла речь (а для читателя такие комментарии о личностях излишни).

Не сразу придут их времена, дорвутся они до пирога, получат свое благополучие, свои регалии, премии, власть над одаренными людьми.

О МАЯКОВСКОМ, ТАКТИКЕ И МОРАЛИ

Вот я упомянул, что Фадеев ругал меня за статью о Маяковском.

Так получилось, что именно вокруг имени трагического поэта Революции суждено было разворачиваться многим коллизиям литературной жизни тех лет.

Дискуссия о творчестве Маяковского в 1953 году имела свою предысторию. Началась она со случайной рецензии по случайному поводу в «Литгазете».

Но длинное и неожиданно кроважадное продолжение не было случайным. В «теме Маяковского» сконцентрировалась болевая ситуация тех лет. Сегодня, перечитывая материалы дискуссии, по-моему, трудно даже понять, вокруг чего загорелся сыр-бор. И с одной и с другой стороны выступала неправда. Схоластика замахивалась на схоластику, и мечи были картонные. До конца никто не договаривал, все клялись штампами, вырывая друг у друга цитаты и перевирая «верую»

великого поэта. Но подспудно чувствовалось — речь шла совсем не о Маяковском, а о некоем неблагополучии, застое в поэзии, о стихийном поиске кислорода для ее легких.

Внешне же определилось два лагеря. Эквилибристическая позиция более знающего и интеллигентного В.Перцова и группа С.Трегуба и примыкающих к нему страстных упрости-телей — сестры поэта Л.В.Маяковской, Н.Маслина, А.Колоскова и др.

Обе, как говорится, хуже — были эти позиции. Но выражали объективно и разное отношение к поэту Революции, его новаторской роли в судьбе русской поэзии.

Моя же статья «Ясности!» в «Новом мире» у Твардовского, видимо, обнажила не только позицию В.Перцова, чья книга была тогда выдвинута на Сталинскую премию. Она задела нечто более актуальное — констатировала глубокий разрыв между задачами поэзии и современной практикой. Как ни старался смягчить эту позицию Ан.Тарасенков, заместитель Твардовского, горячий апологет моей статьи, ему, очевидно, это не совсем удалось.

Статья стала главной мишенью многих органов печати. Ей достались самые резкие формулировки. «Крикличая статейка “Ясности!”» — так писала «Правда» в редакционной статье.

История со статьей в «Новом мире» привела и к первому моему конфликту с Симоновым. Она же дает неплохое представление о *тактике* в литературной жизни тех лет, мастером которой был Константин Михайлович, о чем я, человек, остававшийся негибким в таких делах, не мог догадываться.

Но обо всем по порядку.

Однажды Симонов в беседе со мной начал фантазировать. Ему нравились мои непечатавшиеся работы о Маяковском. Он сказал, что думает о книге. Автором ее видит меня.

Поговорили, я думал, он забыл про разговор, но оказалось, что нет. Пригласил домой. Долго говорили о концепции будущей книги. В конце Симонов решительно сказал:

— Ну, вот что. Собирайте все, что вам понадобится для работы. Я даю вам три-четыре месяца за счет «Литгазеты». Надо будет больше — прибавим потом. В доме творчества, скажем, в Ялте, вы напишете книгу. Я думаю, надо отбросить все известное, как будто никто не писал о нем. Вы — и стихи.

Полное собрание сочинений. Поняли? Согласны? Как будто ничего не писалось. Это трудно. Но, я думаю, это единственно правильный путь. *Заново прочитать* Маяковского! Через неделю я вернусь из командировки, собирайтесь в отпуск.

Но через неделю литературная Москва уже читала редакционные «подвалы» «Правды» с осуждением и моей новомирской статьи.

— Вы сами все испортили, — сердито и холодно резюмировал Симонов. — Теперь не может быть и речи о нашей идее.

Конечно, не отзыв статьи в «Правде» изменил решение Симонова — о готовящейся новомирской статье он заранее не знал и его обидело, что я не посоветовался с ним. Об этом мне сказал А.Ю.Кривицкий. И еще, добавил он, Симонова статья беспокоила — от меня, считал Симонов, можно было ожидать «заносов». А для большого замысла, для книги о Маяковском, это уже было неоправданным риском.

Так я упустил хороший шанс — в невиданно хороших условиях написать, может быть, главную свою книгу. Маяковского я любил и, думаю, знал и понимал.

Но на этом эпопея с Маяковским для меня не закончилась. И снова случай свел тут меня с Симоновым.

Ему был поручен основной доклад на дискуссии 1953 года. Он попросил меня помочь. Я согласился.

Об этих страницах биографии К.М. я рассказываю впервые.

Я переехал на его квартиру на четверо суток и не возвращался домой, пока не завершил работу. Жил я в кабинете К.М. за цветастой занавеской, перегородившей комнату поперек. Тогда в кабинете на полках были только книги самого Симонова. Все издания на разных языках. И никаких других книг. Большой стол стоял вдоль узкой комнаты. И папки, много папок на стеллажах вдоль стен. В моем закутке — эти самые симоновские издания и узкая тахта.

Утром и вечером (поздно) Валентина Серова в тесном черном свитере и в шлепанцах — симоновских тапочках — приносила мне кофе. Обедал я чаще всего с ней вдвоем. Еду приносили из ресторана. К.М. появлялся к ужину. До этого просматривал написанное мною; никогда не выражал своего

отношения. Был по-деловому сух и сдержан. До поздней ночи он передиктовывал машинистке свой текст в другой комнате. Я продолжал работу в кабинете. Писал я тогда только от руки и всегда переживал, что почерк неразборчив. Но К.М. разбирал его хорошо.

Однажды К.М. спросил меня, указывая на стопку журналов «ЛЕФ» и «НОВЫЙ ЛЕФ», полный ли у меня комплект, и, получив утвердительный ответ, добавил после долгой паузы:

— Это бы все тоже надо прочитать... Но все не успеть.

Я сказал, что все и перечитано. А иначе о каком же Маяковском мы ведем речь? Все эти благоглупости о Маяковском, «преодолевавшем» левое искусство, абсурдны. Но на них и держится «наука» маякововедения.

Симонов никак не отреагировал на мои слова. Но тот факт, что в докладе он обошел, по сути, эту проблему, говорит о многом — он не принял или не считал возможным принять (тактически?) мою версию.

Но в *тактике* Симонова вскоре мне пришлось убедиться на другом примере.

В тот день, когда Симонов должен был делать доклад, он ушел рано. Вошла Серова и, поерошив волосы на моей голове, что она делала часто, зная, что я смущаюсь, сказала:

— Костя отпускает тебя. Звонил, чтоб поели без него.

Я отказался от трапезы и, пошатываясь от бессонницы, распрощался.

До доклада оставалось время, и я заснул дома, поставив будильник.

Сидел я в середине зала, недалеко от выхода, весь — внимание, с бьющимся сердцем, будто мне самому предстояло выступать. Чувство благостной утомленности, удовлетворения исполненным долгом наполняло меня. Теперь я мог расслабиться. Начало доклада разочаровало. Я не нашел в преамбуле ничего «своего». Далее — то тут, то там вспыхивали знакомые мысли и примеры. Увы, углы казались сглаженными, острота снята, мысли, да простится мне откровенность, то и дело сворачивали к осторожным, проверенным формулам.

Нет, я не узнавал своего текста. Да и как я мог предполагать, что Симонов использует без изменений мой текст. Передиктовывая, он просто, видимо, отталкивался от каких-то близких ему положений, развивая их или, наоборот, споря с ними.

«Так я просто напрасно тратил силы? — думалось мне с горечью. — Но почему же К.М. не прервал меня во время работы, не сказал, что это ему неинтересно, ну, извинился бы и отправил меня домой. Вот почему он был сух и сдержан?»

Так гадал я, расстроенный, пока... не услышал своей фамилии. Я не сразу осознал, что речь идет обо мне, но несколько человек обернулось, а кто-то шепнул рядом: «Как он тебя...»

Да, да, Симонов говорил о моей «ошибочной» статье в «Новом мире». Говорил твердо, осуждающе сурово. Я почувствовал, как краска приливает к лицу, как колотится сердце. «Не надо было пить кофе», — помню, подумал я. Едва дождавшись перерыва, я ушел домой.

Сейчас трудно в это поверить, но мне казалось, что земля сошла со своей оси. Как я еще был наивен! «Коварство, предательство» — эти слова вертелись в голове, когда я ворочался ночью. Почему он не предупредил меня, что вставит в *мой* доклад критику по *моему* же адресу? Тогда все было бы иначе, я мог бы понять это, оценить его принципиальность. Ведь Симонов не скрывал, что статья «Ясности!» ему не понравилась.

На следующий день в редакции я столкнулся с К.М. в коридоре. Он поздоровался со мной. Попросил зайти. Я ответил, что не могу — занят. Мучительно долго сочинял письмо ему и рвал. Потом просто написал заявление об уходе, спокойное, без выяснения отношений. Зазвонил телефон. Секретарь К.М., Татьяна Александровна, просила срочно зайти к главному с папкой «загона» по отделу поэзии. Я взял заявление, папку и пошел к К.М.

Когда я вошел к главному, там были Н.Атаров и Б.Агапов, члены редколлегии. Симонов кивнул на кресло у своего стола, чтобы я сел, и отошел к стене, где у развешанных свежих полос продолжали спор темпераментный Атаров и вальяжный Агапов. Иронически улыбаясь, К.М. примирил интересы

сторон тем, что тут же снял материал некоей третьей стороны и, когда все еще кипящий и мрачный Атаров и уже перенявший шуточный тон главного Агапов вышли из кабинета, Симонов, положив мне руку на плечо, сказал:

— Я хорошо понимаю ваше состояние. Но иначе было нельзя. Все серьезнее, чем вы представляете. В ЦК готовилось постановление. В статье нашли политический поворот. Вас клеили к группе Трегуба. Он — подлец и демагог, вывернулся бы в любом случае, но вы бы пропали. Я вывел вас из группы, сделал акцент на незрелости. Простите! — Симонов шуточно поднял руки, но закончил вполне серьезно: — Когда-нибудь вы мне скажете спасибо.

Нет, «спасибо» я не сказал Симонову. Ни тогда, ни после. Но, возможно, он — дитя времени, мастер тактики — и в самом деле спасал меня, нанося в докладе превентивно-спасательный удар. Ведь все в те времена, да и позднее, зависело от формулировок, оттенки которых для непосвященных мало что значили, но для посвященных значили все, определяя, может быть, дальнейшие судьбы.

Заявление я так и не отдал Симонову. Но что-то в наших отношениях надломилось надолго.

А совсем недавно, Б.Рунин рассказал мне, что Симонов и его убеждал в том, что, заклеив в одной статье, «спасал» его, Рунина, от расправы более серьезной...

О, времена! О, нравы!..

КОНТУЖЕННЫЕ РЕЖИМОМ

Вот говорят, что лезть критики, нравственная ее ущербность, приведшие к так называемой «секретарской литературе», якобы были законом для лет поры послевоенной и всех последующих...

Это и так и не так.

Всегда были разные люди, разные степени твердости и податливости человека обстоятельствам.

Да, многие сломались в те нелегкие времена. Я знал их близко, иные ходили в друзьях. На моих глазах совершался печальный процесс нравственного насилия над ними, посте-

пенного приведения их к послушанию, иногда внешнему, порой же — и к полной деградации. Тяжело это вспоминать, неловко называть имена.

Хочу подчеркнуть, что эпоха, конечно же, не пощадила никого.

Но правда на стороне тех, кто полагает, что все-таки не время само по себе виновато.

Диву давался я, к примеру, наблюдая талантливых людей, не стыдившихся своей слабости, а как бы раздвоившихся изначально: их внутренние убеждения, привязанности, даже любовь оставались прежними, достойными по выбору идеала, но перо их писало другое — что «надо» было писать.

Для моего поколения символичной в этом смысле была фигура такого нашего учителя в критике, как Анатолий Тарасенков. Влюбленный в поэзию, обладатель лучшей и полнейшей библиотеки поэтических раритетов XX века, он мог часами, со слезами радости, читать Пастернака, восхищаться ритмами «Улялаевщины», обожать Ахматову, Цветаеву, переходя на полусеппот, читать Гумилева... В его доме я познакомился с Ариадной Цветаевой, Симоном Чиковани, с которым до смерти грузинского поэта меня связывала дружба. Тарасенков нежно относился ко мне, предоставил мне доступ в уникальную свою библиотеку. Беседовать с ним о поэтах было необыкновенно интересно и поучительно. Он сидел в глубоком кресле, всегда подогнув ногу и охватив ее одной рукой, другой же выписывал ритмические фигуры и время от времени закрывал ладонью глаза... Будучи на поколение старше, он, вероятно, любил во мне собственное прошлое, прошедшее на войне, как говорили, весьма достойно. А может, и просто рад был слушателю, который понимал стихи и разделял его пристрастия.

Но официальные его оценки Пастернака и Сельвинского не раз оказывались прямо противоположными тем, какие я слышал от него дома.

Когда я читал полные доброй благодарности воспоминания В. Астафьева о критике А. Макарове — писатель написал книгу о критике — случай уникальный! — мне никак не хотелось разрушать этот идеализированный образ Александра

Николаевича, с которым меня связывали многолетние добрые отношения, который и меня встретил добрым участием (правда — не в письменной форме).

Однако В.Астафьев знал уже «другого» Макарова, критика, раскрывшего свои добрые задатки новому, счастливому, для таланта времени (а Макаров, как и Тарасенков, был по-настоящему талантливым человеком). Увы, я помню и другого Макарова.

Когда К.Симонов сменил В.Ермилова на посту главного редактора «Литгазеты» в 1950 году, он первым делом пригласил своего однокашника по Литературному институту, Сашу Макарова, возглавлявшего в то время раздел литературы и искусства, и сказал ему: «Саша, ты знаешь, как я тебя ценю. Наши отношения всем известны. Но, прости меня, ты очень робок. Я начинаю новую газету. Мне нужен смелый человек, который не дрогнет в трудные дни...» Макаров тут же подал заявление. За точность слов Симонова — ручаюсь. Он сам рассказал мне это во время долгой беседы (речь шла о моем «повышении», от которого я отказался решительно и навсегда). Позже и Макаров подтвердил мне, что такой разговор был, что он огорчился и «задумался» над словами Симонова.

Но, видимо, не надолго. Он был мягок, Макаров, как воск. Внутренне интеллигентен, много читал, знал наизусть версты строк, чувствовал талант, что меня прежде всего подкупало в нем. Причем тонкость и чуткость приятно сочетались в нем с настоящим, ненаигранным демократизмом. Все это так.

Но его нравственные провалы в трудные годы — не зачеркнешь. Он успел сильно поскользнуться на крутом повороте конца сороковых. Его горькое соглашательство, в том числе и в личной жизни, знали мы, близкие ему люди, стоило ему мук раскаяния. В последние годы он стал слабоват по части выпивки, и тогда русская его натура особенно раскрылась в своей надрывно-разрушительной глубине, но интеллигентски мягко скрываемой сути.

В отличие от Тарасенкова, натуры не менее богатой, но не сумевшей проявить себя, А.Макаров, хотя бы в счастливые годы «оттепели» много и плодотворно поработал, сумел что-то оставить потомкам.

О добрейшем, податливом Иосифе Гринберге ходили анекдоты. Окружающие знали, что он пишет только положительные рецензии и потому не верили его оценкам и тогда, когда они были справедливы. В «Литгазете» пятидесятых было много остроумных людей. Но З.Паперный не знал себе равных. Это ему принадлежала знаменитая острота: «Критик Гринберг. В графе «пол» пишет «нет».

Блестящим автором устных оценок оставался грузинский критик Бесо Жгенти — письменные его статьи были ужасны, общесловием своим и правоверностью начисто отрицая природное чутье слова и былые задатки...

Не говорю уже о таких критиках старшего поколения, как А.Дымшиц, полностью переориентировавшихся на «почетное» охранительство. Они подверглись большим перегрузкам истории и не выдержали их. О Дымшице сострил я: «Дымшица без Огнева не бывает». Но стоит признаться, Дымшиц почему-то меня не трогал. Как полагала Ольга Берггольц, только потому, что к стихам не имел отношения.

К.Зелинский, В.Перцов — маститые критики — умели «лаудировать» (словечко В.Овечкина). Е.Книппович убедила сама себя, что «партийность» ей к лицу, но сидела эта шляпка на ней как-то странновато...

Самуил Яковлевич Маршак в беседе со мной отозвался о всей этой троице весьма резко и даже неприлично, что мешает мне привести цитату в ее голом виде. Смысл заключался в любви указанных критиков, безбрежной и небескорыстной.

У меня сохранилась переписка с К.Зелинским, по которой легко можно проследить, как менялись «убеждения» Корнелия Люциановича даже в короткие промежутки времени — во время «оттепели» и сразу после нее. Приводить цитаты из писем я не буду. Вспомнил я о эпистолярном наследии К.Зелинского в другой связи. Поучительно, что старые интеллигенты все-таки думали о своей репутации, каялись или, по крайней мере, старались оправдаться перед людьми, чтобы не давать повода считать их соглашателями. Будучи членом редколлегии одного из выпусков «Дня поэзии», я просил К.Зелинского выполнить свое обещание — написать о молодых тогда Евтушенко, Вознесенском и Ахмадулиной, тем более что тему предложил сам Зелинский. Но время круто изменилось, и по понятным соображениям кри-

тик не мог уже рассчитывать на лавры первооткрывателя новых талантов, статья его не принесла бы ему дивидендов, напротив, выглядела бы вызовом. Вместо того чтобы честно признаться в этом, Зелинский начал придирается к форме моего обращения к нему в письме-напоминании, пустился в рассуждения о неуважении к старости и в т.п. отвлеченности. Его задело, что в моем ответе отсутствовало слово «уважаемый». Он отметил этот нюанс, его задело то, что для какого-нибудь Старикова или другого приспособленца последующих лет прошло бы вовсе не замеченным...

Старался сохранить реномэ и Виктор Осипович Перцов. Никогда не идя против течения, он, тем не менее, воздерживался в последние годы жизни от неблагоприятных поступков, старался поддерживать лучших писателей. Но, раз ступив на путь несправедливый, трудно вернуться к истине. Помню, я рецензировал двухтомник В. Перцова в «Художественной литературе». В первом томе (30-е годы) критик поносил Илью Сельвинского с весьма ортодоксальных позиций, во втором — хвалил (это были 50-е годы, когда поэт стал вполне официальным). Манера идти за событиями вслед подвела Перцова. А составляя избранное, он, видимо, просто не удосужился перечитать старые работы...

Да, это было поколение, контуженное режимом. И старые боли, напоминая о себе, вызывали опасение, что новые будут страшнее...

Но вот чего я никогда не мог понять, так это угодничания и подличания молодых, сознательно обрекавших себя на позор, хотя ничто не мешало им быть порядочными — ведь даже страх расправы не нависал над ними!

Таким был Д. Стариков, постоянно нацеленный на травлю всего достойного и передового в литературе. Его натренированность по части литературных провокаций и использования своего часа при дурных поворотах политических сюжетов были поразительны. Это он нанес удар по «Теркину на том свете» (кстати, это была единственная добровольная попытка доносительского свойства в нашей печати, считавшей за благо просто не замечать поэму Твардовского). Это он, Стариков, так же иезуитски, не называя Твардовского, в трудные для него дни издевался над «серой борьбой против серости», многословно и витиевато по стилю (ложь всегда находит такой

стиль!) пытался дезавуировать знаменитую статью Твардовского «Проповедь серости и посредственности». Это он договорился до того, что обвинил К.Симонова (опять же выбрав безопасный для него и опасный для Симонова момент, когда тот попал в опалу), обвинил в том, что Симонов призывает молодежь... к дезертирству. Это Симонов-то, среди грехов которого уж чего не значится, так это пацифизма! Вот эта наглость, иначе не скажешь — поразительна; она — прямое производное вседозволенности, уверенности, что таким, как он, все сойдет с рук, а хозяевами небось зачтется...

Зачлось. Да только с другим результатом, чем хотелось. И не хозяевами. А памятью культуры.

Я никогда не отвечал на критику тех, кого презирал, в чьих писаниях угадывал заведомую ложь, корысть, приспособленчество, доносительство или элементарную зависть. Принцип «много чести» и сегодня считаю справедливым. Д.Стариков очень старался вызвать меня на полемику, а когда убедился, что я его не замечая, написал политический донос по поводу моих «Записок из Москвы», публиковавшихся в чехословацкой литературной газете накануне «пражской весны». В свое время я расскажу об этой истории. Сейчас ограничусь тем, что напомним: статья осталась в верстке, в моем архиве, четырежды ее ставили в номер реакционной газетки «Литература и жизнь» и четырежды снимали «наверху» — боялись скандала в международном плане, а не жалели меня...

Может возникнуть вопрос — нужны ли эти воспоминания, стоит ли ворошить прошлое ради того, чтобы напомнить о лицах, которые и так забыты, а значит, в делах нынешних не могут участвовать как живая сила. Думаю, что стоит. Хотя бы потому, что не все сегодня видят прошлое в верном свете. И порою, не зная сами, как это все было на самом деле, склонны опираться на собственные предположения больше, чем на факты.

Так, в очень хорошей книге о критике С.Чупринин, вслед за В. Астафьевым, написавшим «Зрячий посох», видит в Александре Макарове чуть ли не ведущую фигуру 50-х годов, явно преувеличивает его значение и вклад в развитие критики. В создании мифа о Макарове участвовал и Л.Аннинский.

Может быть, картина станет более полной, если я приведу примеры из текста одной рецензии (внутренней). Сразу же во избежание кривотолков добавлю, что рецензия эта — на мою вторую книгу, «Книгу про стихи», вышедшую в 1963 году — *помогла* выходу в свет моей работы, что после долгой перестраховки издательства, напуганного судьбой первой моей книги («Поэзия и время» — сборник статей, тираж которого был полностью уничтожен). Следовательно, никакой личной обиды на Макарова быть не может.

Речь идет о принципиальных вопросах, о позиции Макарова, отчетливо выраженной в этой рецензии. Это сейчас важнее.

Заранее прошу прощения за обильное цитирование. Но это необходимо.

Отдав должное книге и ее автору, Макаров продолжает так.

Сокрушается, что «в отдельных работах вопросы мировоззрения оттеснены», что Огнев «кое-где хочет показаться слишком «широким», чуть-чуть щеголяет... полемичностью», рекомендует автору написать вводную статью «Мировоззрение и талант», не забыв при этом «ленинские положения», считает неверным утверждение, что «будущие гении будут ближе всего к... общечеловеческим идеалам», прямо полемизирует с тезисом о всечеловечности образов народного эпоса («...Не всякое народное творчество обладает качествами, которые приписывает ему автор. Вспомним «Сказания о нартах» хотя бы. Мне кажется, важно было бы подчеркнуть идейную роль искусства, искусство как средство познания...»). И далее: «...Идейность куда-то провалилась». «Что это за мировая философия? Неужели такая, где в одну кучу свалены экзистенциализм и марксизм». «Выходит, мы как бы извиняемся перед Якобсоном и даже спешим поступиться агитками». «Внесоциальные, а потому не выдерживающие критики оправдания «нового искусства». «...Гуманистические цели без политики и хозяйствования — пустая фраза». «Совость человечества» — понятие чисто буржуазное. Нельзя забывать о двух культурах... А то все эти рассуждения начинают отдавать сегодняшней теорией надклассовости...» «Я не хочу обвинять Владимира Федоровича в том, что он поддался веяниям «идейного сосуществования», этому подда-

лись и «закаленные бойцы, но...» «Вряд ли... я подметил все места, грешащие «общечеловечностью». О Цветаевой: «Это попутный панегирик, а не раскрытие трагедии поэта. А как бы ее пример мог лечь в книгу, если бы здесь поменьше сожалений... побольше о роли мировоззрения. И не «дело не в том», а как раз «дело в том»! «Цельность личности Заболоцкого... для меня все же сомнительна». «...Умоляю автора, когда он говорит «об усилиях таких гуманистов», не забывать о том, что Мартынов — советский поэт». «Алена Фомина» плохо написана, но я бы не сказал, что там не было трезвого отношения к теме». «Фраза о мировоззренческих конфликтах в деревне мне не понятна. Один раз попало слово «мировоззрение» и как-то не к месту». «Восстановление основных норм творческой законности» громко сказано». Далее идет спор о независимости художника. И резюме: «...не просто независимость художника, а независимость в определенных условиях того общества» (имеется в виду время Пушкина). «Окуджава такой же фольклор, как в свое время Вертинский, Эльза Крамер». Сетует, что я опираюсь на пример «абстрактной живописи» — нехорошо. «...Надо ли школу перевода начинать с Пастернака. Ей-богу, не все его переводы (Шекспир, Гете) хороши». «...На месте автора я для раскрытия «магии»... взял бы не этот безнадежный ахматовский «Сонет», зовущий в потусторонность». Считает, что не нужно ссылаться на Эренбурга. «И кому это произведение служит». Цитирует: «...умение заставить опять засиять обветшалое, угасающее слово...» (упрекает в двусмысленности). «...Образы Ахматовой настолько *полемичны* сами по себе, настолько в них своя философия, что хочется прежде всего спорить с ними, а не любоваться мастерством выражения». И уж совсем «красиво»: «Сейчас и под 30-е годы подставляют теорию «винтика», но этой теории никогда (в отличие от журналистов) не жила страна и литература, тем более в 30-е годы — годы Стаханова, Демченко, Корчагина — годы, проходившие под знаком не винтиков, а героев в жизни и литературе». «Здесь опять мировоззренческий момент нивелирован». «И почему именно сейчас наступает время для романтического. Разве не сказывалось оно в «Молодой гвардии»?.. «Боюсь, что «абсолютно естественный путь» можно понять как пропаганду независимого искусства и свободы творчества». «Здесь в

разговоре... я как бы читаю мемуары Эренбурга». «Самовыражение... Разве здесь главное в одаренности и бездарности, а не в идейной позиции?» Статьи о Вознесенском «нуждаются в коренной переработке». «Вознесенский нуждается в критике... Настолько оторвался от реальной народной жизни и живет только мыслями, представлениями, образом жизни «культурного слоя»... «Вообще имена Пастернака и Цветаевой мельтешат немножко раздражающе». «Заголовок «всечеловечность» неточен». «Все же у Межелайтиса не содружество людей вообще». «А разве «навязанная» необходимость уже перестала быть угрозой?.. И пока она существует, я за догматиков, защищающих национальное (здесь ведь его можно понять и как советское начало), и против лавровского братства». «И дальше о тенденциях общечеловечности. Ей-богу, мы не зря боимся «абстрактного гуманизма». «Смазано и расплывчато понятие гуманизма. Неверно, что гуманизм менял только формы, но не изменял сути». «Здесь слишком много непартийных, идиллических, если можно так сказать, вещаний. О воле к жизни, о прелестях существования, о детской радости видеть мир ясным, незамутненным ложью. Пока же еще одной из главных задач поэзии является укрепление воли к борьбе, мобилизация душевных сил советского человека». Итог: «...Очень советую автору самому пересмотреть текст глазами человека, вооруженного партийным напоминанием о характере и целях нашего искусства». Итак. «Партийность», «мировоззрение», «ленинские положения», классовый смысл «народных эпосов», «подчеркнуть идейную роль искусства», «марксизм», «две культуры», «совесть человечества» — понятие чисто буржуазное», опасность «теории надклассовости», бдительность к опасности «идейного сосуществования», «Алена Фомина» — «трезвое отношение к теме», спор с идеями Огнева о «независимости художника», оценками творчества Цветаевой, Заболоцкого, Мартынова, Окуджавы, явно охранительские опасения ссылок на Эренбурга, явная подстраховка в оценках Пастернака и Ахматовой, апология 30-х годов с точки зрения ее «героичности», спор с утверждением, что «романтическое» только сейчас имеет основу под собой (идеи XX съезда!), «абстрактный гуманизм», Вознесенский, который «оторвался от народной жизни», «непартийные вещания» Огнева о «всечеловечно-

сти»... Боже правый, да где же тут лучшие черты критики 60-х годов, которые хочет усмотреть в фигуре А.Макарова умный и чуткий к *сегодняшней* литературной жизни критик С.Чупринин!..

Нет, явно не ту фигуру взял в прошлом Чупринин. Явное заблуждение. Не такие люди готовили приход нового, свободного от предрассудков и догм поколения критики.

Эта абберация зрения, увы, присуща многим, кто пытается разобраться сегодня в прошлом нашей культуры. Она неплодотворна и сама по себе, и потому, что пессимистична — если *такие* у критики были «лучшие», то какие же те, что «похуже»?..

Заканчивая разговор о контуженных режимом личностях, хочу еще и еще раз подчеркнуть, что время не щадило никого, но каждый выходил из «окружения» по-разному. И потери были разные. Горько и больно писать мне эти строки о людях, в большинстве своем неплохих по всем другим параметрам личности... Но правда есть правда. И тут, как сказал поэт, «не прибавить и не убавить».

О ЛИТЕРАТУРНЫХ «ШТАБАХ» И ПОПЫТКАХ «БУНТА»...

Мне повезло с дебютом. Он пришелся в «Литературной газете» на время честолобивых замыслов К.Симонова отстаивать самостоятельность газеты от прямого диктата разного рода инстанций, в том числе и писательского союза. Хотя и Фадеев, и Тихонов, и Сурков ходили в его друзьях, Симонов умело, не выходя за рамки «советов» и «рекомендаций», проводил определенную, по тем временам, прогрессивную политику.

Скандал в СП РСФСР, связанный с «ослушавшимся» редактором М.Колосовым, а потом и с А.Ананьевым в 1980-м, высветил давно к нашему времени сложившийся характер реальной подчиненности литературных органов печати «штабу», аппарату творческого союза.

Вот что я вспоминаю.

К моему пятидесятилетию В.Б.Шкловский написал для «ЛГ» статью. Назначенный заместителем главного редактора писательской газеты переводом из аппарата ЦК Е.Кривиц-

кий, с которым у меня как-то не сложились отношения, выбросил статью Шкловского в корзину, при этом заявив: «Газета не почтовый ящик. Мало ли что напишут писатели! Мы — не орган писателей, мы — орган секретариата. Об Огневе указаний не было». Конечно, статья бесследно пропала, так как Шкловский черновики не оставлял, а уборщица работала хорошо, была в «ЛГ» на своем месте.

Я был свидетелем странной картины, которая не удивляла ее участников — Г.М.Маркова и того же Кривицкого. В кабинете первого сидел с блокнотом на коленях второй и записывал со слов первого, кого и как надо «поднять», на сколько пунктов, сколько дать места на полосе. На мой вопрос, как это все понимать, мне ответил аппаратный работник СП. Его удивило вовсе не то, что меня, а то, что я еще способен этому удивляться!.. Он искренне не понимал, почему меня это потрясло. Ведь так и осуществляется *руководство* своим органом печати, полагал он.

Режиссер Б.Покровский, беседуя с корреспондентом «ЛГ», рассказывает, как не была напечатана рецензия самого Шостаковича на его спектакль (22.03.89): «Можете себе представить, чтобы, предположим, статью Чайковского... не напечатали, потому что было указание не печатать? И она бы пропала? — А она пропала? — Ну, у меня ее нет...»

У меня, увы, тоже нет статьи Шкловского...

В этом сопоставлении вот что занимает: как одна и та же газета может с олимпийским спокойствием вершить противоположные дела: служить Молоху аппарата и тут же регистрировать это как нарушение этики?

Если мне возразят: так *то* было до перестройки, а *это* — после, я замечу: но и *то* и *это* подписывал тот же Е.Кривицкий.

И тут я не могу не рассказать другой случай. Я и молодой заведующий отделом информации «ЛГ» в 1949 году (или, может быть, в самом начале 1950 года) были вызваны к В.Ермилову, тогдашнему «главному».

— Вот, молодые люди, — сказал Ермилов. — Через час начнется пленум. Ваша задача: разложить, нет, лучше развешать на спинки кресел — всех! сегодняшний номер. И так, чтобы последняя полоса, вы поняли?.. — чтобы последняя полоса была снаружи... Действуйте, тираж уже погрузили.

Мы точно выполнили поручение. И вскоре могли весело любоваться делом рук своих: зал гудел, читая огромную, на всю полосу, статью Ермилова о романе Ф.Панферова «В стране поверженных». Статья называлась: «Дурное сочинительство». До перерыва Фадееву трудно было овладеть аудиторией. Веселое оживление царило в зале. Объявленный перерыв длился дольше, чем положено.

А после перерыва тот же Фадеев объявил о снятии Ермилова с поста главного редактора.

О В.Ермилове принято вспоминать одно дурное. Это он заслужил. Но я, ей-богу, не могу отрешиться от чувства уважения. За один этот поступок. Он знал, не мог не знать, что его ожидает, статья о Панферове не была санкционирована Союзом. И все-таки поступил так, как ему подсказывало профессиональное чутье. Подвел азарт правды.

Вот после этого инцидента и пришел в газету Симонов.

Но и он не заискивал перед «штабом», во многом формируя ту литературную политику и линию поведения, которые считал плодотворными для литературы, а не выгодными кому-либо из сильных мира на улице Воровского.

Я потому и сказал: мне повезло с дебютом, что и я смог проявить свои взгляды, высказать через газету, что думаю именно я.

Подчеркну последнее. Сегодня многие, читая мои воспоминания, возможно, думают, что я оболящаюсь; он, мол, полагает, что Симонов давал ему выражать собственные взгляды, а на самом деле это было нужно самому главному, совпадало с его интересами.

Частично я соглашусь с такой постановкой вопроса. Симонов действительно в те годы видел во мне своего соратника и единомышленника. Но далеко не во всем.

И это последнее обстоятельство дает мне основание считать, что все же стремление к ОБЪЕКТИВНОСТИ в выражении и определении литературного процесса пятидесятых годов двигало главным редактором, когда он предоставлял мне полосу для выступлений, порой приносящих ему лично неприятности.

Немаловажно и другое. Он действительно считал, что газета не может выполнять свои задачи, не будучи многоголосой, игнорируя, как теперь говорят, плюрализм мнений.

Вот примеры. «Новый мир» опубликовал «Дорогу на юг» В. Катаева. Художественный очерк, путевой дневник. Симонов предложил мне написать в номер отзыв, ни минуты не сомневаясь, что отзыв будет положительный. Перед тем как передать мне журнал, говорил о мастерстве Катаева, о завидном чувстве слова. Я тоже предвкушал интересную работу. Перед этим почти все мои выступления носили скорее остро-критический характер, уж во всяком случае не панегирический. И «О любительстве в критике», и «Избранное должно быть избранным», где я предъявлял строгий счет и В. Инбер — что было вовсе внове, и М. Луконину, не говоря уже об А. Жарове.

И вот — В. Катаев, почти классик. Хотелось, помню, окунуться в атмосферу таланта, порадоваться вместе с читателем одаренности писателя.

На другое утро я принес Симонову статью под названием «О «зеркальных пуговках» и мастерстве писателя». Вошел мрачный, смущенный, почти выдохнул: «Так уж получилось. Отрицательная». Симонов поднял брови, попросил зайти через полчаса. Должен сознаться, я почти не верил, что рецензия будет опубликована. В лучшем случае, думал я, будет просить «уравновесить», поискать хорошее, а в худшем, что всего вернее, завернет назад и перезакажет. Ведь он читал очерк.

Оказалось, не читал. Как и я, заранее поверил, что талант есть талант, и что тут добавить. Прошло полчаса, прошел час. Наконец позвал. «Я тут в двух местах, если разрешите, поправил. Пример лишний. Однотипный. И еще усиление мешает. Вот здесь. Все и так ясно». Я вышел от него растерянный, спросил Татьяну Александровну, секретаря (она все всегда о нем знала), когда Симонову принесли из «Нового мира» экземпляр. Оказалось, он сразу же дал его мне, не читая. А вот сейчас велел никого не соединять и прочитал, уже после рецензии. Значит, убедил я его?..

Второй пример. После моей статьи о современной музыке был большой скандал. Т. Хренников, И. Дзержинский, Ю. Шапорин, музыковед В. Ванслов — вот лишь некоторые лица, втянутые в конфликт, а еще — письма, письма читателей. Симонов был зол на меня, его вызвали в ЦК, сказал, что я обладаю странной привычкой «воровать то, что не принято

и бесполезно ворошить», соваться в «чужие дела»: «нам еще музыки не хватало, у нас своих забот по горло». Резко говорил обо мне на летучке. Но уже в следующей, принципиально важной статье, дал мне договорить все до конца, поддержал, хотя оговорил: «спорно».

Пример третий. В Союзе писателей обсуждалась новая книга стихов самого Симонова («Друзья и враги»). Я написал отчет, где позволил себе не согласиться с безоговорочно лестной оценкой многих стихотворений своего шефа. Гранка была набрана. Симонов сказал мне: «Я уже привык ожидать от вас неожиданностей, но это... как бы тут выразиться. Вы хотите, чтобы я подписал?» Лицо было жестким. Он молча зачеркнул текст. Все оценки сохранил я потом в книге «Поэзия и современность». Симонов прочитал в книге критику более спокойно, проворчав что-то вроде: «Ну, это ваше право...»

Конечно, пример третий, казалось бы, не совсем к месту: ведь не дал Симонов напечатать о себе то, что ему было неприятно; но не это заставляет меня относить и данный пример к положительным качествам Симонова-редактора, а то, что после всего, что омрачало наши отношения, он продолжал доверять мне важные выступления, а порою и защищал меня.

Принципиальность в интересах литературы — вот что еще ценилось в отношениях литераторов. Тут я могу сказать, что, хотя и раньше было немало приспособленцев и карьеристов, СТЫД тогда жил, мне кажется, у многих более продолжительно и надежно.

Долгие годы я не мог написать о поэзии Симонова именно потому, что смущала меня наша товарищеская близость в пятидесятые годы. И только в семидесятые, в годы, в известной мере, более трудные для Симонова, написал и добрые слова об этом противоречивом и сложном человеке, эталонном сыне своей эпохи.

А тогда, в 1950 году, узнав примерно за неделю до защиты диплома, что Симонов назначен председателем экзаменационной комиссии, я снял с защиты тему о поэзии К.Симонова и спешно написал другой диплом... Не хочу рисоваться, но щепетильностью такого рода гордился и горжусь.

Защита таланта — права личности — вот что вело нас в смутные годы разрушения культуры. Прогрессивным, знали мы, было то, что помогает свободе художника от пут административной системы, слугой которой был и писательский Союз, его оплачиваемый аппарат.

Ни вчера, ни сегодня «аппаратчики» Союза писателей не были какими-то злодеями и душителями, среди них и тогда служили, и теперь служат системе и хорошие, деловые люди. Но именно *служат*. Значит, зависимы от этой системы, а в ней-то и вся суть. Если кто-то начнет расшатывать систему в одном месте, зашатается — в другом... А значит, система должна защищаться — выталкивая из своего круга посвященных любого «высовывающегося», претендующего на какую-то самостоятельность.

Но потому-то «бунты» отдельных редакторов, — открытые или тихие, более замаскированные, — и служат благу, открывая дорогу некупленному слову, правде о жизни, литературе правдивой и дерзающей на движение, развитию духовной свободы.

ОБ «ЭЛИТАРНОСТИ» И «ДЕМОКРАТИЗМЕ» ИСКУССТВА...

Напуганные элитарностью искусства, мы долго играли в «демократизм» наизнанку. И доигрались до того, что читатель, слушатель, зритель, обладающий интеллектом, способностью чувствовать красоту, разбираться в людях и характерах, человек, не понаслышке знающий, что такое такт, тонкая душевная организация, отзывчивость на чужую боль, природный ум и прочие качества личности (без которых, казалось бы, и за перо, кисть, резец браться не стоит, без него немислим ни артист, ни композитор, — но без чего, оказалось, прекрасно обходятся многие служители муз), — так вот, обладающий этими первичными качествами одаренности потребитель искусства, в ряде случаев ПРЕВОСХОДИТ ныне снисходительных дарителей слова, краски и звука...

Вот в чем проблема, давно известная и стыдная для нашего брата.

Эфемерная грань, порой разделяющая сегодня любителя и профессионала, смущает и тех и других.

И порождает разного рода иллюзии.

На них стоит остановиться.

Иллюзия первая. Профессионал знает ремесло, умеет дать форму некоему содержанию — и только. Любитель знает «жизнь». Ему если чего и не хватает, так это умения придать форму своим наблюдениям и выводам. Качество наблюдения, глубина выводов остаются как бы за скобками.

Иллюзия вторая. Если я, любитель, освоил мастерство, я — писатель. А так как «мастерство» полупрофессионалов, какими являются большинство членов СП СССР, не очень-то и хитрое, его и «осваивают» все, кому не лень, набивая руку, но не утруждая свою нравственно-интеллектуальную сферу.

Иллюзия третья. Самая серьезная по последствиям. Так как проблема ЛИЧНОСТИ не имеет отношения ни к любителю-графоману, ни к большинству членов СП СССР, то все истинно незаурядное, выделяющееся над средним уровнем добропорядочности, а не дай бог, еще и собственный мир художника с «непохожим» стилем — не просто ошарашивают и тех и других — добровольцев и «штатно» служащих прекрасным музам, — но вызывает ярость, граничащую с классовой ненавистью.

Безличность тяготеет к средней норме в «форме» и «содержании» — она обязательно клянется в верности «простоте», «понятности», «традиции», разумеется, понимая все это пошло и банально. Замечу в скобках, что когда серость имеет численное большинство (а она, увы, его давно уже имеет), она занимает круговую оборону и, скажем, через приемную комиссию творческого (иронический парадокс!) Союза не проходят именно ЛИЧНОСТИ, но свободный доступ посредственности почти гарантирован. Заранее.

Сколько помню, неуважение к профессии писателя постоянно подогревалось. Извне.

С одной стороны, Сталин подкупал и разрушал интеллигенцию изнутри. Громадные дачи, гектар земли за высоким забором становились первым признаком политической благонадежности. Формировалась своя культурная «элита» именно по этому признаку.

Не все, конечно, покупались на это.

С другой стороны, режим постоянно держал над интеллигенцией дамоклов меч контроля «народа», под которым понимались многочисленные варианты швондеров и шариковых (читай «Собачье сердце» М.Булгакова), порой наивно уверовавших в классовую непогрешимость свою, а потому и превосходство над людьми интеллигентного труда.

Вспомним, по страницам многих книг самих писателей заискивающе мелькали бесконечные шукари, дворники, поучающие композиторов, домработницы, направляющие гениев на путь истинный.

Читатель постоянно учил писателя, как надо писать.

Писателю оставили одно право: каяться, «исправлять ошибки».

Много позднее стало ясно, что тактика не всегда заметного простым глазом создания силового поля, напряжения между «простыми тружениками» и людьми творческого склада, кто бы по профессии они ни были, была точно рассчитанной и по-своему дальновидной.

Революционное искусство не могло быть недемократичным. Художник то и дело соизмерял свою позицию с позицией народа, искренне стараясь «идти в ногу», не оказаться вне строя. Расчет был верным. Незримый контроль масс (а на самом деле — тех «режиссеров», кто манипулировали мнением народным!) заставлял писателя ущемленно чувствовать себя **ПОДКОНТРОЛЬНЫМ** лицом, диктовал ему путь добровольного принятия **НЕСВОБОДЫ**, которую приходилось то и дело оправдывать перед другими и самим собой.

Пройдут десятилетия, пока художник начнет прозревать, разгадывать под диктатом самоуверенного невежества швондеров тонко рассчитанную тактику бюрократической верхушки государства, швондеров направляющую.

О НАЦИОНАЛЬНОМ ДОСТОЯНИИ

В периоды, когда общая ситуация в культуре заставляла желать лучшего, оживлялись все те, кто имел к культуре отношение весьма относительное. «Оживление» это носило характер агрессивный.

Застарелое наше заблуждение — всюду искать идейные разногласия, равно как и идеалистическая манера видеть и в противнике «человека», смешила циников и приспособленцев.

Они просто били поодиночке каждого, кто обнаруживал талант.

Попробуйте, не поленитесь, восстановить «мартиролог» жертв подобных кампаний. Вы встретите тут имена не столь далекие и фигуры современников. Но объединяло их одно — талант.

Может быть, потому и не выстраивался в нашем сознании общий ряд именно по этому, по одному по этому, решающему, как оказалось, принципу, что время замусорило его и другими — теми, что так микроскопически малы на фоне своих жертв, что как бы и не задерживала их наша память. То же самое время и разделило жертв и палачей, развело их окончательно и воздало по заслугам и тем и другим.

Те, кого распинали, над кем улюлюкала толпа воинственных посредственностей, плечом к плечу продолжали тянуть баржу культуры по своей бесконечной Волге: Ахматова, Пастернак, Зощенко, Мартынов, Заболоцкий, Слуцкий, Окуджава, Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Высоцкий, Трифонов, Искандер, Битов, Можаяев, Абрамов, Андрей Тарковский, Шнитке, Фальк, Губайдуллина, Денисов, Дейнека, Сарьян, Юрий Ильенко, Параджанов, Жилинский, Мухина, Кушнер, Филонов, Булгаков, Юрий Васильев, Лина Костенко, Визма Белшевиц, Сидур, Шостакович, Быков, Адамович, Карякин, Дудинцев, Владимир Корнилов, Александр Каменский, Шкловский, Айги, Татлин, Мейерхольд, Таиров, Некрасов, Гроссман, Яшин, Эренбург, Любимов, Овечкин, Бахтин, Лихачев... — да разве всех перечислить! Проще назвать счастливые исключения из правила...

А я еще не назвал тех, кто пал жертвой репрессий, самоубийц, сломленных или не сломленных эпохой насилия над личностью. Маяковский, Есенин, Мандельштам, Цветаева, Яшвили, Тициан и Галактион Табидзе, Чаренц — великие жертвы «века — волкодава». Многие, многие другие — разве *после* или *до* государственных расправ их имена и репутации не топтали те же бездарные угодники, завистники таланта!

Послушная посредственность не могла не стать главным орудием репрессивного режима. Она осознавала свою силу, свое призвание постепенно, по мере наглядного опыта расправ с самостоятельно мыслящими художниками.

Мало-помалу посредственность действительно стала носителем «идеи».

А.Твардовский интуитивно угадал эту «тайную» связь бездари с расчетами тех, кто привык манипулировать сознанием масс. В статье «Проповедь серости и посредственности», направленной против выступления В.Дружина и Б.Дьякова, пытавшихся «программно» закрепить социальный заказ усреднения советской литературы, А.Твардовский недвусмысленно демистифицировал проблему «обжигания горшков». Удар был нанесен вовремя и наповал. Только после смерти поэта Д.Стариков, сделавший карьеру на поношении всего порядочного, передового в культуре, попытался было, как всегда, витиевато-иезуитски опровергнуть неискоренимое. Но силы были смехотворно неравными.

В годы застоя всплывает старая погудка об «элитарности».

И на этот раз она рядится в посконную рубаху «истинной» народности, защиты доступности. Конечно, как чертик, тут же выскакивает жупел «модернизма» и «западных влияний». В книге «Русская советская поэзия. 1946—1975» («Наука», Ленинградское отд., 1978) под редакцией П.Выходцева и А.Смородина, во вступительной статье П.Выходцева прочитал: «Нигилистические выпады против классических традиций получили должный отпор, но продолжались в других формах и видах». «Выпады» после «отпора» продолжали, оказывается, Асеев, Антокольский, Сельвинский, Эренбург и Огнев. Так как эта чушь не могла получить никакого подтверждения, П.Выходцев, не мудрствуя лукаво, решил применить метод лаконичных сносок. «Причастность к модернизму стала рассматриваться некоторыми критиками как только положительное явление в творчестве тех или иных поэтов». Сноска: В.Огнев, предисловие к «Избранному» В.Луговского. «Все чаще стали писать о больших эстетических достижениях модернистских группировок 20—30-х годов». Сноска: В.Огнев, статья о рифме в сб. «День поэзии — 1962». Энциклопедическая краткость. Было, и все. И точка.

Но было совсем другое.

Ни в одной из указанных статей я не писал о «модернизме». Ни за, ни против. Впервые узнаю, что Луговской отмечен «причастностью к модернизму». А вот «отпор» «выпадам» глупости, посредственности и вульгаризации — чем я действительно занимался и, увы, вынужден заниматься до сих пор — целиком в сфере советской критики. И кстати, в традициях русской классики.

Скучно, никому не хочется читать П.Выходцева, А.Ковалева и иже с ними, вот и безнаказанно печатают они опус за опусом, где невежество и непрофессиональность старательно соревнуются друг с другом.

Подозрительно активны они, эти проповедники серости и посредственности, в проталкивании своих «учебников». То Ковалев под редакцией Выходцева, то Выходцев под редакцией Ковалева. То для вуза, то для школьников. И такая там абракадабра, такое смешение дурного вкуса, ложных фигур и дутых величин с травлей лучших из лучших, талантливейших художников. И на каждом шагу, в каждом абзаце: «народ», «народный», «о народе»... И на каждом повороте сюжета — противопоставление «традиции», «святых могил», — «патриотизма» всему, что не по разуму, что ново, ярко, незнакомо, то есть — ТАЛАНТЛИВО.

Раскроем так называемый «пробный учебник» «Русская советская литература» для 10-х классов общеобразовательной школы, выпущенный издательством «Просвещение» в 1972 году под редакцией проф. В.А.Ковалева.

П.Выходцев подошел к выполнению этой задачи с бесстрашием полного невежды. Хотя в предисловии заявлено, что учебник «поможет... познакомиться с историей литературы советской эпохи, с творчеством крупнейших советских писателей», даст представление о «историко-литературном процессе нашего времени», как раз о «крупнейших» представителях литературы там говорится в последнюю очередь. Если вообще говорится. Что же касается «процесса», то о нем юный читатель получит весьма своеобразное представление. Можно ли из русской литературы совершенно исключить А.Ахматову, А.Платонову, Б.Пастернака, Ю.Олешу, И.Бабеля, М.Булгакова, а после начала пятидесятых вовсе не упоминать о том, что наряду с новыми именами в советской литературе оставались такие мастера, как К.Паустовский, В.Каверин, В.Ка-

таев, Н.Заболоцкий, М.Светлов, Ст.Шипачев, С.Кирсанов, И.Сельвинский, Н.Ушаков, В.Шефнер, поэты среднего поколения: Б.Слущкий, Д.Самойлов, К.Ваншенкин, прозаики Ю.Казаков, Ю.Трифонов, В.Шукшин, более молодые, но уверенно вписавшиеся в процесс: А.Битов, Ф.Искандер, Вл.Соколов, например?... Ну, ладно, почти полностью выпала драматургия К.Симонова, автором одной пьесы предстал В.Розов, нет А.Володина — не один же А.Сафронов был нашим Софоклом! Может, я пропустил где-нибудь петитом набранные имена О.Берггольца, П.Антокольского, М.Алигер? Вряд ли... Не было их — и все тут!

Все усилия автора направлены на то, чтобы возвеличить, ввести в классики фигуры, порой малоизвестные даже литераторам, не говоря уже о читателях.

Кто же «герои» П.Выходцева? Кто представляет вершины нашей словесности? Это... В.Фирсов, который именован художником, в произведениях которого «осмысляются не отдельные события или судьбы отдельных героев, а именно страны и целой эпохи» (!), в чьих сочинениях «сюжетной канвой становится сама история!; имя Фирсова бестактно поставлено через запятую с именами Смелякова и Твардовского. «Заметное место в поэзии», по Выходцеву, «заняли» тот же Фирсов, Сорокин, Сидоров, Примеров, а также Вас.Федоров, которому повезло больше всех классиков вместе взятых. Он упоминается на малой площади скупого учебного материала целых 17 раз! И не только в главе «50—60-е годы», но и в соседних монографиях: в главе о Маяковском — В.Федоров — наследник его традиций, в главе о Есенине — тоже наследник, в главе о Твардовском — он же наследник и Твардовского, вместе уже, правда, с Фирсовым... Создается комический эффект! Автор перестарался до того, что даже и в список рекомендательной литературы включает книгу Вас.Федорова, хотя за бортом остались работы К.Федина, В.Маяковского, С.Есенина, Н.Асеева, М.Пришвина, М.Исаковского, А.Твардовского, С.Залыгина, других известных писателей, выходившие в те же годы. Но они не были удостоены «рекомендательного» списка П.Выходцева.

Написан учебник удручающе серым языком. Многие фразы просто бессмысленны. Бестактно-комически звучит утверждение, что многие зарубежные писатели «признавались» в

том, что они учились у советской литературы. Ничего нельзя понять из таких фраз: «В 50—60-е годы получили дальнейшее развитие, стали богаче все литературы...» «Семидесятые годы — новый этап в развитии советской литературы...» «Новый», и все. Вперед и выше. А в чем новый? Куда — вперед? В каком направлении? От чего уходили, чего завоевывали? «Наиболее заметным» называется... роман «Кавалер Золотой Звезды». Все масштабы в главе о советской русской литературе смещены, акценты спутаны. Рядом с действительно заметными явлениями (В.Тендряков, Ф.Абрамов) появляется имя Владимира Федорова с повестью «Сумка, полная сердец», ставшей в свое время легкой добычей юмористов. Все — со всем уравнивается. В то же время лучшие произведения о войне (Г.Бакланов, В.Быков) размашисто уничтожаются: «...благодаря таким произведениям можно хорошо понять, почему мы отступали до Волги, но совершенно невозможно понять, как оказались в Берлине». И это — в учебнике, призванном внушить юному читателю любовь и уважение к лучшему в отечественной литературе!..

И что вы думаете! Через некоторое время наши авторы снова появились на горизонте с новыми учебными рекомендациями — да все миллионными тиражами...

Долго ли Ваське слушать да есть?..

Под пером проповедников серости и посредственности талант отделяется от народности, как бы уже и противостоит ей.

В книге своей «Свидетельства» я писал о таких лжепатриотах: «Уважение к истинным ценностям культуры — такое же проявление патриотизма, как и уважение к сказкам, песням, святым могилам. Нет прощения невежеству, неразумному обращению с прошлым своей культуры, но нет прощения и бескультурью современному, когда забвение или небрежение распространяется на человека значительного, талант мощный, ум незаурядный и острый... Тот, кто понимает связь между уважением к народу и уважением к подлинным ценностям культуры, никогда не осмелится противопоставить одно другому».

И сегодня к этому добавить нечего. Разве что это: масштабы демократического искусства просто немыслимы без глубин интеллекта. Потенбня писал, что на человека, далекого от образованности, «влияет лишь... часть народ-

ной традиции», между тем как образованный человек «приходит в соприкосновение с многовековым течением народной жизни, взятым как в его составных частях, так и в конечных результатах, состоящих в письменности его времени».

Это не только про важность образованности — про содержание национальной культуры.

О НАШЕМ ЧИТАТЕЛЕ

Как много интересных людей! Умных, содержательных духовно, одаренных. И где же они были? Почему жизнь казалась такой однообразно-фальшивой, поглупевшей тотально, и, казалось, необратимо? Прессу читал автоматически, чаще угадывая направление пути между строк, не читал — «просматривал». Сегодня ночей уже недостаточно — временно отложены серьезные книги, нельзя не читать газет и журналов, со страниц которых встает **НАСТОЯЩАЯ** жизнь с **ТВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ** болями и сомнениями, которых постепенно привыкал ты и не искать в так называемой **ХУДОЖЕСТВЕННОЙ** литературе.

В массе своей книжная продукция отечественной словесности поражала пошлостью, никчемностью, заурядностью — **БАНАЛЬНОСТЬЮ**. Все эти тысячи членов Союза писателей, никакого отношения не имеющие не только к литературе, к интеллигенции вообще, как оказалось, готовили свои графоманские романы и вирши верстами... в пропасть Времени. То есть почему — оказалось? Их не читали грамотные, умные люди, но, увы, читали миллионы людей духовно ограниченных и неразвитых.

Художественное слово формирует души, расширяет круг «посвященных», образуя «читающую Россию».

Слово графомана тоже вербует свои кадры читателей. Море разлитое такой продукции захлестывает не только прилавки книжных магазинов — оно с годами образует заразный жирный слой на поверхности океана художественной мысли, пусть и тонкий, но мешающий дыханию океана.

Мы, захлебываясь от восторга, кричим о миллионах тиражей **ВООБЩЕ**, поголовной грамотности **ВООБЩЕ**, но все меньше понимаем: какой же реально читатель остается у настоящей литературы и расширяется или, может быть, **СОКРАЩАЕТСЯ** интеллектуальная часть нации?

А знали бы, не удивлялись, что **ГОЛОСОВАНИЕ** дает странные результаты. «Их же **ЧИТАЮТ!**» — парируют некоторые адвокаты бескультурья доводы тех, кто пытается обратить наше внимание на несоответствие тиражей официально признанных любимцев муз их реальному творческому весу.

Вот и худо, что читают! В это время они могли бы читать «Мадам Бовари» или «Войну и мир».

Я лично читаю сегодня прежде всего рубрики читательских писем. Завидно точно и глубоко формулируются там принципы разумного мироустройства, достойного поведения личности, обнажаются мели стереотипов, непоследовательные шаги перестройки.

Какой у нас народ — думающий, творчески одаренный, с ясной головой и не пустячной заботой!

Когда-то мы просто **ЛЬСТИЛИ** читателю собственных сочинений, мы не о народе пеклись и не о литературе. Мы справляли еще один ритуал из множества других. Но только теперь, видимо, начинаем осознавать всю пагубность такого рода **ПРИПИСОК**. Равнодушие к истине жестоко покарало и нас, служителей слова. Мы получили то, что посеяли.

Читатель **ПО ВАЛУ** не показывает свое лицо. Он **ВООБЩЕ** читатель.

Время правды, время большой литературы, возрождения попранных ценностей, сапогами растоптанных репутаций и духовных авторитетов обязательно приведет к полной и безоговорочной **АМНИСТИИ ТАЛАНТА**.

И не только — художников.

Читателя — тоже.

ПОСЛЕ «НОВОГО МИРА»

Думал на этом закончить главу. Заглянул в начало. А не «закольцевать» ли текст событиями, связанными с теми, что завершили деятельность «Нового мира» Твардовского?..

Как известно, главным редактором журнала, после недолгих раздумий суетившихся чиновников из аппаратов Союза писателей и ЦК, был назначен Валерий Алексеевич Косолапов, человек поначалу незаметный, а с годами показавший себя порядочным и в меру либеральным. Круто менять курс традиционно «интеллигентного» журнала прогрессивных взглядов наши иезуиты от политики не решились. Рекомендации будущему редактору напрашивались сами собой: «орудуй, тово, потише...» И только.

В.Косолапов им показался наиболее подходящей фигурой. Тем более что дважды обжегшийся на либерализме (об этом ниже), он, по мнению аппарата, особенно брыкаться вроде бы не должен. А «широта» будет соблюдена. «С одной стороны — «Октябрь», с другой... — и т.д.» Оскоромился Косолапов в «Литгазете», где проработал много лет, — взял на себя смелость опубликовать знаменитое стихотворение Евг.Евтушенко «Бабий Яр». Проработал в издательстве «Художественная литература» в трудные годы застоя, старался помочь с публикацией И.Эренбурга, защищал позицию Твардовского, у которого шли тогда первые тома собрания сочинений.

Не знаю, так ли это было, но основываюсь на своих разговорах с Валерием Алексеевичем. Вот как, по его словам, он «полетел» из издательства со своего директорского поста.

На очередном томе (шестом) застопорилась работа над собранием сочинений Твардовского. «Теркина на том свете» не пропускала цензура. Автор поставил ультиматум: прекратит выход следующих томов, если поэма не будет опубликована в шестом томе. Твардовский, как известно, победил. В это же время в производстве была моя книга «У карты поэзии» с главою о «Теркине на том свете». Статья, где поэма высоко оценивалась. Разумеется, ее, статью, отвергли до этого все журналы. Я включил ее в книгу, как говорится, на авось. Надеюсь, впрочем, и на помощь Косолапова. Книга была закрыта на все время решения вопроса о шестом томе собрания сочинений Твардовского. А когда было дано добро на печатание поэмы, Косолапов сделал вид, что и глава о «Теркине» в моей книге «разрешена». Когда спохватились бдящие очи, книга «У карты поэзии» не только вышла, но и поступила в продажу. Приковывать внимание к ней не хотели, меня просто оставили в покое (ну что инкриминиро-

вать автору? Не он же подписывает в печать свою книгу?), а Косолапова затребовали «на ковер». По словам В.А., на него буквально топали ногами: «Как он может притворяться, что не понял указаний? Разрешили Твардовскому, но не Огневу же!» «Как я ни доказывал, что раз вышла поэма, то любой критик может высказывать о ней свои соображения, — говорил В.А. — меня не хотели слушать».

Одним словом, резюмировал Косолапов, уведомили, чтобы подал заявление об уходе.

Правда, недавно Б.Можаев рассказывал мне, что последней точкой в этом деле была другая история, с его, Можаева, публикацией. Важно не то, кто последним «подвел» Косолапова, «подводили» многие, если человек хотел что-то сделать хорошее для литературы.

Тем не менее, именно эта история имела, по крайней мере, два весьма неожиданных продолжения...

Первое — с тем, как я чуть не стал Лауреатом Государственной премии. Книга «У карты поэзии» была выдвинута на премию РСФСР, поддержана, прошла два тура голосований и провалена на последнем, по словам К.Симонова (он был член Комитета по премиям, но в это время находился за рубежом, так что говорил и сам с чужих слов). Провалена потому, что М.Алексеев, председатель Комитета, увидел там статью о «Теркине на том свете». Другие, правда, говорили, что роковую роль сыграла статья о еврейском поэте С.Галкине, гретьи, что вообще дело в «карте» поэзии, где слишком много — об инородцах, а в русских поэтах ходит и «неоперившийся» (?) Андрей Вознесенский... Да что вспоминать! Слухи, они и есть слухи. Официально-то заявили другое: «В прошлый раз мы дали уже критику Борису Соловьеву. Что ж опять?... Дадим лучше какому-нибудь писателю-националу». В общем, на этот раз уважили «инородца». И хорошо сделали. Речь не о том.

Вторая история имеет более сложную интригу.

Многие еще не знали, что именно Косолапов будет главным редактором «Нового мира», но, оказывается, уже состоялось об этом решение «наверху» и сам Косолапов был об этом уведомлен. Однажды раздался телефонный звонок, и В.А. попросил меня встретиться. Мы гуляли почему-то по улице, не заходя в помещение. В.А. предложил мне занять

место его заместителя, но просил держать разговор в тайне. Почему-то особенно часто повторял он эту просьбу. Я был удивлен. «До ответа на Ваше предложение, — сказал я, — хочу сказать, что ведь все это заранее нереально. Вспомните, именно я был замешан в деле с поэмой Твардовского, из-за меня Вы были сняты из «Художественной литературы», и меня Вы же будете предлагать этим людям?» В том-то и парадокс, заявил В.А., что он уже получил предварительное полусогласие на мою кандидатуру. И ничего странного в этом нет. Логика чиновников особая. Именно история с выходом моей книги, получившая огласку в коридорах власти, сыграла положительную роль, считал В.А. Сейчас, добавил В.А., они больше озабочены тем, как выйти из в общем-то позорной истории со снятием Твардовского. «Вот-вот, — подхватил я, — это-то и главное в ситуации со мной... Как отнесется тот же Твардовский к такой моей готовности? Не исключено, что в данной ситуации, сгоряча, никто не поймет меня... Все еще кровоточит».

До сих пор, смею надеяться, рассуждал я, я не давал повода сомневаться во мне моим друзьям и соратникам. Но не допустит ли кто-то, пусть даже один человек, что мною руководит честолубие, а не желание спасти журнал от окончательного поругания?..

Я обещал подумать три дня. Через три дня Косолапов должен был иметь разговор «наверху». Его торопили. Торопил меня и он.

Первый, с кем я говорил, был В.Я.Лакшин. Лицо его исказила ироническая гримаса. Ответа мне уже было не нужно. «Да Вам, Володя, все приличные люди будут плевать в лицо...» Честно скажу, такой быстрый и однозначный ответ меня обидел. Разве все так ясно и просто? А если это так, что же мешало Лакшину хотя бы начать с «уговора»: мол, я понимаю, Вы движимы лучшими чувствами, — что-нибудь в этом роде, — но сами подумайте, все ли истолкуют это так, как надо?.. А он сплеча: в лицо плевать будут, как будто мне так легко дается ответ. Я решил сразу же позвонить Косолапову и отказаться. Но телефон его не отвечал весь день. На следующее утро я получил (через того же Лакшина) ответ на свой запрос от самого Твардовского. Он якобы сказал сухо: «Каждый поступает по своей совести». И это решило дело. Я,

как мне представляется, правильно понял А.Т. Слово «совесть» имело смысл однозначный — будто мне перевели с иностранного языка: «Что же ты, братец, сам не понимаешь? Бессовестное это дело — и все тут».

Теперь о том, как лично я относился к идее преемственности «Нового мира». Лакшин — тот формулировал, как известно, прямо и недвусмысленно: «Чем хуже — тем лучше». Пусть делают из «Нового мира» второй «Октябрь». Моя же позиция была иной. Я исходил из «их» логики — логики чиновного аппарата; как мне представляется, ошибки тут быть не могло. «Они» начнут игры с интеллигенцией, будут искать «меньшее» зло, а не фигуру однозначную. Серая жижа, а не дикий «Октябрь» — вот какое будущее уготовано «Новому миру», если все умоют руки. А потому, сознавая, конечно, что *в полном виде* восстановить старый «Новый мир» в тех обстоятельствах нереально, я полагал, что нужно сохранить *максимум* возможного для продолжения его курса любой ценой. Здесь меня поддерживали некоторые сотрудники и в самой редакции. Они полагали, что думать надо не о самолюбии, не об амбициях, а о преемственности духа журнала, который, кстати, складывался не только в последние годы, а издавна, набирая силу и используя возможности хрущевской поры. К сожалению, как это часто у нас бывает, не обошлось и без разброда и неблагожелательства между разными группами сторонников и противников своеобразного «саботажа». Одни говорили, что в «непримиримой» позиции меньше благородства, нежели сознания собственной исключительности и незаменимости. Другие обвиняли бывших соратников в «коллорабационизме» на почве боязни потерять кусок хлеба. «Всем уходить!» сталкивалось с «Сохранить кадры!».

Кто был прав? Кто знает. Все в то время виделось иначе. И судить сегодня легче, чем было вчера. Не судите, не судимы будете...

Тут надо подойти и с другой стороны. Та почти идеальная команда единомышленников Твардовского, которая сложилась в 60-е годы, в «Новом мире», конечно, неповторима. И человек другого типа, даже близкий по пониманию жизни и литературы, каким был, например, я, не мог зеркально отразить замыслы старой редакции даже при условии, если бы вдруг повеяло новой весной. Но, с другой стороны, ничто в мире не повторяется. И нам оставалось лишь тихо плакать

на похоронах, не надеясь на воскресение «Нового мира»... Что там говорить, и я, внутренне готовый взвалить на себя ношу, не очень верил в то время, что журнал можно спасти. Но считал, помню твердо, что пробовать спасти необходимо.

Огорченный холодным непониманием руководителей старого «Нового мира», я отошел в сторону.

Из последних дней «Нового мира» мне запомнилась действительно последняя встреча с Александром Трифоновичем. Я не был с ним в близких отношениях. Редкие случайные встречи храню цепко. Не был даже уверен, что он знает меня в лицо. В противном убедился, увы, только в эту последнюю встречу в коридоре «Нового мира». Я поздоровался. Он не только ответил мне, как это бывало и раньше, легким кивком головы, но остановился, загородив узкий проход, и протянул руку. Он задержал ее, как мне показалось, дольше, чем принято. И сегодня у меня такое чувство, что он прощался со мной, каким-никаким, а автором *его бывшего* журнала, словно прощался и с журналом, словно говорил этим сильным пожатием: «Не поминайте лихом...»

В дни болезни Твардовского я послал ему первое и последнее письмо. Вот оно:

«Дорогой Александр Трифонович!

Примите, пожалуйста, это письмо как знак глубочайшего уважения и признательности. «Нового мира» больше нет. Но то, что он существовал, не прошло даром. История русской культуры никогда не забудет Вашей самоотверженной и благородной деятельности. Не забудет и не простит она и подлого, трусливого акта платных «патриотов». Они Вас не унизили. Они унизили и покрыли позором себя в глазах всей думающей и чувствующей России.

Я был бы счастлив, если бы мог сделать для Вас что-нибудь. Не сочтите это за гордыню. Так сейчас, наверно, думают тысячи Ваших безымянных и далеких друзей. Я — только один из них.

С безграничной преданностью

*Владимир Огнев.
12 февраля 1970 г.»*

Мария Илларионовна говорила мне, что письмо его «растрогало и удивило»...

«Удивило» — слово, не очень лестное для меня. Оно — свидетельство превратного представления обо мне, об отношении моему к этому редчайшему таланту в поэтическом мире России, великому ее гражданину.

Но мне доставляет удовольствие, что Твардовский все-таки был тронут и моим скромным ответным «рукопожатием» — увы, действительно последним между нами...

Судьба «Нового мира» эпохи Твардовского — действительно — одна из наиболее показательных страниц в борьбе литературы за достоинство правды и совестливости.

И хорошо, что в истории этой есть свои Пимены, в первую очередь В. Лакшин. Они не дают забыть о роли журнала в нашем недавнем прошлом.

Однако прошлое наше было и давним. И так же, как, например, каждый третий пишет сегодня о положительной и героической роли диссидентов, так и многочисленные публикации, а то и споры о собственной роли прекрасного журнала понемногу начинают выглядеть заменой всей остальной отечественной истории культуры. Переоценить то, что сделано «Новым миром» Твардовского, трудно. Недооценить эмигрантскую линию русской творческой мысли — тоже. Но в тени не должна оставаться вся широта спектра общих прогрессивных усилий русской (и не только, кстати!) интеллигенции.

Личные свидетельства очевидцев и участников процесса окажутся тут весьма нелишними. Полагаю, что полезно еще и еще раз вчитаться в наше прошлое, и недавнее, в том числе, внимательными — не говорю — беспристрастными — очами.

Там еще многое не раскрыто.

Да и продолжение следует...

1987—1990

ОГНЕВ Владимир Федорович (1923) — писатель, киносценарист, эссеист, критик. Выпускник Литературного института. Автор около 30 книг, в том числе «Книги про стихи» (1963), двухтомника «Горизонты поэзии» (1985), «Югославского дневника» (1975), книги-эссе о грузинской и литовской литературе и др. Президент Ассоциации писателей «Европейский Форум», гл. редактор журнала «Феникс—XX». Живет в Москве.

Михаил Заборов

МОНА ЛИЗА И МОНОЛИЦА (Об искусстве Олега Целкова)

В какой-то статье об Олеге Целкове критик определил его героев, а вернее (и о том ниже) единственного героя, как «мурло современного хама». Это определение показалось мне очень метким, понятным и точным: да я, собственно, и теперь так думаю, разве что в понятности, точности есть всегда опасность, а именно однозначность, которая образа, ежели он подлинный, никогда не обнимает. Вполне серьезно о породе целковского героя я задумался не без случайного повода, когда на дружеской пирушке в доме Целковых довелось мне услышать и принять скромное участие в абсолютно несерьезной, поначалу, беседе друзей. «Ну вот опять свои рожи мажет, да сколько я его знаю, уж 30, наверное, лет, все одну харю рисует!» — это в шутейной возмущенности речет гостящий в Париже старинный друг Целкова — художник и бард Е.Бачурин. Малорослый и экспансивный — он бурно жестикулирует, расхаживая меж огромными — в стену, — холстами, пред которыми все мы кажемся, видимо, и меньше и смешней, невольно превращаясь в персонажей этих странных, устрашающе-завораживающих полотен. Целков вдруг не шутя, проникновенно, ни к кому конкретно не обращаясь, исповедует: «А знаешь, пока не открыл вот этого уroda (за буквальную точность прямой речи не ручаюсь), много видел и много чего делал, но ничто не казалось мне достаточно важным, а как нарисовал однажды это, так оно меня сразу заморозило, и с тех пор каждый раз с неослабевающим интересом и напряжением вырисовываю это «лицо»...»

А ведь это проблема! И кажется, никем особо не исследованная. Я счел бы ее частным делом художника О.Целкова, если бы не знал давным-давно и в себе подобное же тяготение к некоему «монообразу» (поименуем это так), даже конкретнее — «монолицу». И буквально через несколько минут

другой художник (Янкелевский) и по другому поводу говорит: «В сущности, мы всю свою жизнь создаем одно свое художественное произведение. «Заколачиваем свой ящик», — добавляет он, имея в виду свой «мономотив».

Стиль — это человек, гласит мудрая пословица: человек, правда, иногда меняет стиль (голубой период, розовый период...), но есть под этим нечто органическое, что не сменишь, как не сменишь живот, чресла, мозги... Я убежден, что если выразить математически кривизну линий, свойственных художнику, а также линий его (художника) собственного лица, тела — формулы совпадут, а если потом графически изобразить и существенные нервно-физиологические его циклы, то опять получим ту же формулу. Сознаюсь, подобное исследование осуществить мне так и не удалось (хотелось), результат знаю заранее, как знал Эйнштейн об идентичности гравитации и инерции еще до того, как ее вычислил. Иначе говоря, в произведение наше неудержимо, нахально, животно вторгаемся мы сами, наше естество, наш облик. Тогда конкретизируем «монообраз» дальше: мы всю жизнь рисуем, пишем, мажем, лепим каждый себя самого, свой «автопортрет». Но оказывается, что еще за несколько сот лет до нашего «исторического» застолья на данную закономерность обратил внимание Леонардо да Винчи. Недавно в истории искусства разразился скандал: оказывается, Мона Лиза-то — это сам Леонардо! Но это в общем, как мы (вслед опять же за Леонардо) показали, ясно само собой, с одной, впрочем, оговоркой: когда нет перед художником модели или других «отвлекающих» факторов, художник, естественно, редуцирует к самому себе. Это произошло с Леонардо в его Моне Лизе, и, может быть непреднамеренно, это происходит с О.Целковым в его «монолице». Это, пусть не столь очевидно, происходит со всеми художниками в их «монолицах».

«Да это как понимать?! — воскликнет возмущенно внимательный читатель, — сначала определив целковского героя хамом, вы затем определите его как некий автопортрет художника. Это поклеп и оскорбление!»

Как понимать? — вопрос этот, собственно, и подвигнул автора к написанию краткого сего анализа.

Ну, прежде всего, если б Олега Целкова очень беспокоили подобные мелкопрестижные соображения, таким же было бы и его искусство, и уж конечно не сделал бы он некоторых «чистосердечных признаний» как, например, в автопортретах 66-го, 63-го годов.

Автопортретом поименовано все то же фатально идентичное «мурло». Надо сказать, что Олег Целков не постеснялся «омурлить», «охарить» и «орылить» и т.п. еще некоторых вполне достойных людей (Кастаки и др.) — своих друзей, будучи уверен, видимо, что и им мелкоамбициозные чувства не помешают увидеть за страшную личиной нечто!..

Так как это понимать? За разъяснениями решил я обратиться по самому прямому адресу — к Олегу Целкову и должен сказать, что услышал от него не слишком подробно изложенный, но в общем совпадающий с моим, взгляд.

Мне как-то довелось уже писать, что гений и бездарность объединяет, по крайней мере, одна черта — неспособность к выучке. Из учебных заведений Целкова выгоняли, не подходил он к стандартным меркам, — и стал-таки оригинальным художником. Он был верен себе в период своих неудач, не изменил себе и в годы успеха. «В общем-то я человек счастливый, — говорил о себе Олег, — меня приняли таким, каков я есть».

Человек счастливый... но откуда же он — этот лик дьявола, искушающий душу художника?

В кратком анамнезе, учиненном Олегу, мне не удалось обнаружить на автобиографическом дне художника какой-то травматической коллизии: «В семье меня любили и отец и мать, мир и гармония в доме...» Вот разве два замечания — указания на природу урода, воцарившегося в его холстах, — мне все же довелось от Олега услышать: «Страх? Да нет, не помню, разве когда начал ходить в детский сад. Воспитательницы вываливали на пол кучу игрушек, все бросались их расхватывать, а я стоял у стены...» Вот здесь источником страшного переживания оказывается мир других, неожиданно и грубо ворвавшийся в домашний мир ребенка, тут вполне обозначается то, что впоследствии вырастает в «мурло хама». Но, повторяю, хамства мне мало, и потому не менее, если не более важным представляется замечание другое: «Когда вижу я людей в дикой погоне за мелочными благами, хочется мне

сказать такому: «Зачем? Ведь ты завтра умрешь!» Он сказал это во втором лице, но очевидно, кто несет в себе идею быстротечности жизни, не может не подставить в формулу себя, значит, **ТЫ** включает в себя и **Я**. Вот здесь, видимо, и нащупывается фокус, вокруг которого вращается весь целковский мир если не одноглазых, то одноликих циклопов и циклопий: постоянное, поденное ощущение себя «визави» с той «черной дырой», к которой мы все стремимся, но о которой благополучно забываем в благополучные годы, а Целкову что-то забыть об этом не дает? Я так думаю, ибо фокус этот подобно Кеплеру вычислил еще до последнего «чистосердечного признания», по работам художника, а именно: по кошмарному монообразу, который несомненно и воплощает ту темную идею, сопровождающую художника. Эта смычка — «визави» меж «Я и Оно» (страшное лицо) — столь прочна, что как-то отделилась от остального душевного мира художника, так что неудивительно, что Олег не помнит, из каких семян она (смычка) прорастает. Прочность этой связи доказывается ее незыблемостью, почти полным иммунитетом к внешним влияниям, а относительная обособленность, например, тем, что Олег вообще ведь человек очень общительный и жизнерадостный.

Итак, несколько уже лиц вскрывается в единоличной личине: **Я** (автопортрет); **ТЫ** — другой чужой, то есть это и Он и Они; и еще «**ОНО**» — неопределенное — черная дыра, нечто опять же многоликое, на страхе замешанное; диавол, смерть?! Чтоб закинуть невод в черную дыру «Оно», нужно зацепиться за более или менее очевидное «Я» и «Он» (настолько вообще можно разделить местоимения). **Я-ОН** — это проблема: внутреннее-внешнее. Внешнее не существует для нас, пока не превратится во внутреннее, т.е. не проникнет в виде ощущения восприятия и проч. Проникновение может быть очень даже желательным, но и враждебным, а самое страшное, когда враждебное чужое максимально похоже на внутреннее свое. Это принцип вирусов рака, эйдса, очень уж похожих на «хорошие» и потому проникающих сквозь защитные за́слоны... смерть — она ведь тоже внутри нас. Где-то здесь, на этом скрещении противоположностей, обретается замочная скважина и ключ к пониманию «своечуждости»-«чужесвойскости» целковского героя.

Если бы обратили мы внимание на то, что 90% чудищ, что сотворил Целков, — это «ОН» в прямом — половом значении, и на то, что «ОНА» в его холстинах трактуется существенно иначе (меньше рожи, больше туши), то «своечуждость» героя предстала бы фрейдово-бредовым отцом. Но, кажется, я слишком сгустил краски и именно потому, что не говорил о красках. По крайней мере, в одном пункте мое восприятие целковского героя существенно отличается от авторского (самого Целкова понимания). Оказалось, что Целков видит все светлее и оптимистичнее. Для него мир его чудовищ не столько апокалиптичен, замешан на смерти, сколько эмпедоклово предсущ. Так я мог истолковать дух его высказываний, и это «пред» для меня — символ незапамятного детства художника. Пред нами как бы люди папортникового периода, в ящероподобном величии своем, и воплощают они стихию телесную, грубую, первобытно природную. Оптимистическое толкование художником его художнического мира заставило и меня нет, не отказаться от мрачных лиц, что рассмотрел в единоличном персонаже Целкова, но оценить значение других составляющих этого мира.

Мне уже доводилось высказаться публично («Континент», №47) о том, что в оппозиции «система-среда» среда воплощает начало женское. Естественно, что в очень абстрагированном символизированном искусстве Олега Целкова цветочная среда, в которой живут его герои, представляется мне еще одной, и притом неизменной и царственной, персонажицей. Поэтому ход женских персонажей в картинах Целкова сравнительно мало, женское вообще как стихия — начало количеством «персонажиц» не измеряется, оно много шире и, может быть, даже у Целкова доминирует. Я вспомнил, что черные дыры космически чистых фонов Целкова совсем не черные, но цветные: голубые, зеленые, красные — цвета жизни и более того, часто — ликующей радости жизни. Они рожают пред нами мясистых колоссов, воплощая идею плодородия, красочности и алчной жизнепохоти. Цветовой ряд у Целкова совершенно противен тому демоническому мужскому образу, о коем мы рассуждали, в котором рассмотрели многочисленные Я, ОН, ОНИ, ОНО в их противостоянии и единстве. Теперь, пожалуй, очередь первоначального «Ты». Я предположил, что, говоря второму лицу о скоробежности сей жизни,

Целков выказывает тем груз собственной души, то есть «Ты» — это и Я, что и подтвердилось препарацией «монорожи», причем единство Я и ТЫ (ОН, ОНИ) есть, как говорилось, единение злокачественное — враждебное. Но, как выяснилось, цвет в картинах О.Целкова является самостоятельным персонажем «персонажицей». Этой стихии Целков отдается со сладострастием и бешеным разгулом. Она полностью противоположна той другой «мужероже», и это значит, что сказанное Ты — это все-таки Ты, а в нем не только единство, но и противопоставленность Я. «Ты умрешь» — сказал художник «мурлу хама», а мне дана вечная жизнь в радостной юдоли красок. И потому холсты Олега Целкова представились мне зеленым, голубым, желтым и красным лугом, где юные пасутся кикиморы и непрестанно языческое совершается пиршество рядом и вокруг жертвенника, а на нем кошмарная корчится монорожа побежденного?! Побеждаемого?! Победного?!

Не так ли и мы сию минуту за пиршественным восседаем столом не холстом, где на (спиртовом, правда) огне отличное зажаривается мясо; крабы и прочие чудища морские страшно выглядывают из тарелки. Так воздаем мы должное вечной традиции скоротечной победы над жертвами прожорливой нашей похоти жизни — и за чашей старинного дионисийского вина приятно и интеллигентно говорится об искусстве.

Дмитрий Пригов

НЕЛЬЗЯ НЕ ВПАСТЬ В ЕРЕСЬ

Всякую культуру, очевидно (и даже вполне очевидно), можно описать неким кругом имен, то расширяющимся, то сужающимся, в зависимости от круга задач и исторического момента (скажем, в моменты грозные и военно-патриотические Пушкина-Лермонтова сменяет, однозначно переводимый в другую систему, Суворов-Кутузов).

Связь в культуре, в культурном менталитете имен этих с реальными плодами их когда-то реальной деятельности в некогда реальной жизни не всегда адекватна (в смысле требования некоего прямого соответствия), условна и весьма подвижна (и в смысле интенсивности, и в смысле экстенсивности — при правильном понимании не самого наполнения этих понятий, а их отношения, то есть некоей иррационально-операциональной зоны).

Из выше сказанного совершенно ясно, что речь идет об образе литератора, деятеля искусства, поэта (в нашем случае), так называемой позе лица (мы употребляем более мягкое название, относительно первоисточника, где употреблено слово рожа — что тоже красиво). В сфере масс-медиа подобное именуется имиджем, который (как и образ и поза) для культурного сознания значит порой больше (во всяком случае, является предметом гораздо более частых игровых операций, а также предметом безумных страстей и недоразумений, и не только эгалитарных, но и вполне элитарных), чем сами плоды деятельности персонажа. В результате чего и сами стихи (ведь сейчас, вспомним, мы говорим все-таки о поэте!) прочитываются назад через этот образ, перетолковываются, как и судьба, выстраиваемая теперь в «сновиденческой» казуальности (т.е. от данного момента, но как бы в естественной казуальной последовательности и зависимости к данному моменту), что, собственно, отвечает всегдашнему

предпочтению телеологической выстроенности судеб личностей харизматических (а может, так оно и есть на самом деле, а? — это ты меня спрашиваешь? — а кого же еще? — так ведь это ты сам утверждаешь! — я? ну ладно! продолжим, не оговаривая только отдельной проблемы: с какого момента жизни образ начинает превалировать и уже перестает быть сотворяемым стихами, которые, в этом смысле, как бы теряют смысл как стихи, но только как акт подтверждения). Ясно дело, что некая переизбыточная акцентация на подобного рода проблеме объясняется спецификой данного мероприятия, доминантой которого и есть культурная канонизация либо фиксация этого как совершившегося факта и некое ранжирование статуса среди прочих.

Конечно, жизнь стихов и поэта среди читателей и поклонников (да и для меня тоже, поверьте! — поверить? — хотя, конечно, в это поверить почти невозможно, но все-таки) гораздо сложнее, чем следование воспроизводимой здесь некоей культурологической конструкции, но в случае, когда образ поэта выходит за пределы чисто литературного имиджа (а в русских литературных традициях это обычный случай сложившейся и предпочитаемой поэтической судьбы, мыслимой даже как именно поэтическая судьба по преимуществу, даже, как это принято называть — пар эксеренс), рассмотрение и уяснение подобного рода феноменов (или даже — фантомов) гораздо более способствует уяснению реального способа существования в культуре, чем попытки вычислить это через стихи, скажем.

Так вот.

Задача сия не есть задача ложная, так как именно в подобного рода образе, имидже, позе лица (или чего там еще! — чего еще! — ну, не знаю, чего-нибудь), в некоей, выстраиваемой уже самим культурным (тьфу! не знаю, как и назвать другим способом? — а зачем называть другим? — тогда ладно!) менталитетом, система культурного (переходящего в метакультурное) поведения, этикета, артикулируется культурно-экзистенциальная истина, являющаяся в это время и в этом месте.

Посему смену стилей и направлений (вне их имманентного наследования и противостояния друг другу) можно было бы описать как смену этих самых имиджей, поэтических поз, моментально (с момента их конституирования в культуре) воспроизводящихся, репродуцируемых как норма.

В этом свете гораздо интереснее проследить не случай примитивного плагиата или неотрефлексированного стилевого заимствования, но воспроизведение вышеупомянутой позы, вне ее возникновения в единственной точке пересечения времени, рода деятельности и судьбы, становящейся шкурой, более или менее могущей быть натянутой на подлаживаемые под ее покров и размер дебелие, неутруждаемые (даже не поднимающиеся до осознания подобной задачи) выращиванием собственной (шкур, то есть), плечи — сказано несколько сложно (особенно что касается способности этих вальяжных плечей до любого рода осознания любого рода задач), но правильно.

Значит, теперь — как, собственно, можно было бы бегло описать (кстати, вовсе не для убедительности литературоведческого анализа, а просто для иллюстрации пока несколько смутного феномена, здесь описываемого), как можно было бы описать позу, явленную Пастернаком (вроде, скажем, предыдущих: Пушкин — балагур; символисты — мистагоги; футуристы — хулиганы)? Пожалуй, наиболее подходящее название, которое я мог бы подыскать, — дачник. То есть в этом имени является, проявляется перенасыщенное культуроцентричное, преизбыточно-эмоциональное урбанистическое сентиментальное сознание на крыльях артистического предожидания и опережения, стремительно переносящееся за город, но не могущее быть полностью наложенным на пейзаж-структуру сознания натурфилософского из-за медленного, долго схватывающегося и не успевающего затвердеть мифологического пластификатора — в большой степени из-за постоянного движения (город-загород) и постоянной перемены доминирующей точки зрения (благодаря быстроте смены кажущейся неакцентируемой). К этому стоит добавить странный симбиоз и кентаврический эффект совмещения векторно направленного урбанистического культурного сознания с природно-циклическим натурфилософским, а также проблема истинно артистической дачной праздности (столь прони-

цаемой народолюбиво-ориентированным сознанием, столь неуместной в состоянии и менталитете усадебного быта и усадебной культуры с ее долгими и неотвлекаемыми созерцаниями, и столь свойственной богеме — специально культурой и городом созданному классу освобожденных людей, чтобы проживать и артикулировать почти предельно-возможную в человеческом естестве несвязанность быта и творчества).

В позднее время (т.е. то, что именуется поздним Пастернаком) на этот образ дачника наложились более трагические черты загородного отшельника (с драматическим слежением за всеми городскими перипетиями, полагая все-таки себя живущим его культурными мерками). Правда, более длительное пребывание за городом и ослабление черт юношеско-богемной праздной чувствительности наполняют образ условно-гесиодическими и реально-овидиевскими чертами (последние сравнения говорят о достаточно торжественном звучании понятия «дачник» и о возможности неоднородного истолкования определений, данных другим поэтам, — «балагур», скажем, или «хулиган»).

Конечно, в каждой культуре свои выделенные позиции, занимая которые персонаж может рассчитывать (а культура, в свою очередь, рассчитывает на него) явить некий нормативный образ. Для русской культуры, по разного рода социально-историческим причинам сохранившейся в достаточной архаичности, наиболее выделенным был и до сей поры является образ Поэта. (Характерно, что для поклонников Высоцкого недостаточно его славы и образа барда и они, вполне в соответствии с культурной иерархией, желают утвердить за ним славу и великого поэта).

Для Европы и Америки канонизация образа Пастернака в большей мере связана с удачей «Доктора Живаго» как бестселлера и его экранизацией (не забудем, конечно, всех сопутствующих обстоятельств судьбы, внутри- и внешнеполитических событий, сопутствующих последним годам жизни Пастернака, ну, конечно же, высокий начальный критериальный уровень его поэтической репутации).

Ясно дело, подобного рода подход, акцентирование внимания на культурно-презентативной стороне артистической деятельности отражает нынешние эстетические тенденции, когда имидж, поведение, жест в маркированной зоне искус-

ства значит если не больше, то, во всяком случае, не меньше, чем художественный объект (в изобразительном искусстве — а в последнее время именно изобразительное искусство стало наиболее креативной зоной в порождении новых стилей, направлений и модусов художнического поведения) или текст. Нынешнее отрефлексированное, строительное отношение к образу, опережающая, открытая и откровенная работа с ним определяют и соответствующий взгляд на предыдущую историю культуры. Да, собственно, все предшествующие кардинальные осмысления и пересмотры культуры и ее параметров и ориентиров всегда совпадали с существенными культурными и эстетическими сломами, высветляя в работе и жизни предшественников черты и тенденции как существенные, до той поры укрытые от по-своему тенденциозных взглядов современников. Естественно, что в подобного рода переосмыслениях в порывах, иногда эстетически-искренних, нам свойственна универсализация частных, раздувание их до уровня космических (я говорю не только о данных моих усилиях! — а о чем же! — а о вообще нынешнем собрании и о всех подобных во всех подобных случаях по всем подобным поводам! — и что же? — да ничего: обычная история! просто надо об этом помнить, и я сейчас продолжу!).

Так вот, находясь в данный момент, очевидно, не в окончательной точке утверждения и сотворения образа Пастернака, мы должны (в качестве поучительного примера хотя бы) постоянно иметь перед глазами образ бедного Сальери, которого уже никакие комиссии ЦК и КГБ не смогут окончательно реабилитировать в наших глазах; или образ Св.Георгия, именем которого сотворялись и поныне сотворяются немало святых дел и неотложных чудес — вот так-то, господа!

Видимо, неложно умозрение, догадка или откровение Даниила Андреева в его «Розе мира» по поводу нашей равноправной совместной жизни в некоем реально-существующем уравнивающем пространстве с подобного рода образами, фантомами, где мы не более реальны, чем литературные герои или любимые игрушки, ставшие вместилищем, интегральной суммой (чем? — интегральной как бы суммой! — как это? — ну, как бы виртуальным объектом? — каким? —

ну, таким, какие мы есть сами, только в пределах как бы другой оптики) точкой пересечения и абсорбации направленных человеческих страстей, привязанности и глорификации.

В этом смысле весьма значительна наша нравственная и культурная ответственность в соответствии (оговоримся, отмеренно-допущенным нам способом и в отмеренно-допущенном нам объеме), соучастии в подобном сотворении подобных образов, так как впоследствии не только нам самим предстоит реально жить и соотноситься с ним (с Образом), но и Борису Леонидовичу, обитающему ныне в иных мирах, тоже придется с приятнью ли, со снисходительным ли пониманием наших, да и своих слабостей (понудивших нас поневоле ко многим, им самим при жизни полностью не осознаваемым, выводам и оценкам), с сочувственным ли приятием сего двойника, придется жить с ним, проклиная или прощая нас за подобного рода опасную, неизбежную, но и необходимую активность.

ПРИГОВ Дмитрий Александрович. Род. в 1940 г. в Москве. Окончил скульптурное отделение Моск. высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское). Работал архитектором. С 1972 г. на свободных хлебах. Главные работы: циклы инсталляций из газет, графический цикл «Бестиарий», серия манипулятивных и визуальных текстов. Художественное направление творчества — концептуализм. Работы представлены в Бернском музее, музее Людвига и др. Стипендиат Академии искусств Западного Берлина (DAAD). Член Союза художников СССР. Как поэт в СССР публикуется с 1989 г. (альманах «Зеркала»). Автор поэтической книги «Слезы геральдической души» («Московский рабочий», 1990).

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СОЛЖЕНИЦЫН СЕГОДНЯ

Честно говоря, многие годы я считал, что откровенный разговор о Солженицыне до времени неуместен, ибо он не просто отдельная личность или один из писателей, но и в определенной мере персонификация современной отечественной литературы, а может быть, и более того — всей нашей современной истории. По этой причине любой, даже сугубо эстетический разговор вокруг его творчества неизбежно перерос бы в идеологическую полемику, где внелитературные страсти, по естественной инерции сложившейся в нынешнем обществе ситуации, вообладают над профессиональной сутью обсуждаемого предмета. Разрушительные последствия подобной дискуссии для русской литературы нетрудно себе вообразить.

Но тут возникает другая опасность. Прежде всего для самого Солженицына. Поставленный вне критики, вне серьезного, взыскующего разговора о его творчестве, писатель незаметно для себя начинает терять нравственные ориентиры и качественные критерии, каким когда-то сам следовал, что, к сожалению, и происходит сегодня, судя по всему, с искренне уважаемым мною Александром Исаевичем Солженицыным.

Поэтому такой разговор необходим теперь уже во имя самого писателя, во имя его творческой судьбы, его, если так можно выразиться, гражданского будущего.

И в эмиграции, и в метрополии сложилось достаточно устойчивое убеждение, причем не только у людей пишущих, но и многих читателей, что Солженицын-прозаик и Солженицын-публицист — это два совершенно разных явления.

Я же считаю, что Солженицын равен себе в обеих этих ипостасях, со всеми вытекающими отсюда приобретениями и потерями. К публицистическим приобретениям, например, я отнес бы «Письмо вождям», «Гарвардскую речь» и «Наших плюралистов», а к досадным потерям «Как нам обустроить Россию».

Во многом горячо принимая ряд положений этой его последней работы (некоторые из них напрямую перекликаются с моей статьей десятилетней давности «Размышления о гармонической демократии», опубликованной в №21 «Континента» и в миланской газете «Иль Жорнале», а также с философским эссе покойного Дмитрия Панина «Как нам наладить Россию», тоже обнародованную несколькими годами ранее), я в то же время не могу не отметить ее крайней политической наивности, удручающего многословия и в некоторых частях весьма опасной нравственной бестактности. К примеру, убежден, что делить территории страны, сидя в комфортном вермонтском далеке, — это все равно что заливать керосином уже накаленные угли межнациональной вражды. Реакция на местах по отношению к этой его дележке только подтверждает эту мою нехитрую метафору.

То же самое и с прозой. Подлинно гениальные «Матренин двор» и «Архипелаг Гулаг» мирно соседствуют у Солженицына с весьма скромным по своим литературным достоинствам «Августом 14-го» и основательными, но без подлинного размаха «Раковым корпусом» и «Лениным в Цюрихе». Что же касается «Красного колеса», то это не просто очередная неудача. Это неудача сокрушительная. Тут за что ни возмись, все плохо. Историческая концепция выстроена задним умом, а в этом, как известно, мы все в высшей степени крепки. Герои почти на подбор функциональны, вместо полнокровных живых характеров — ходячие концепции. Любовные сцены — хоть святых выноси. Создается впечатление, что об этой материи вообще автор — отец троих детей — наслышан из литературных источников, причем не самого лучшего пошиба. Язык архаичен почти до анекдотичности. К тому же сочетание этого умопомрачительного воляпюка с псевдомодернистской стилистикой «а-ля Дос Пассос» (вспомните хотя бы наивно многозначительные «наплывы»!) порождает такую словесную мешанину, переварить которую едва ли в состоянии даже самая всеядная читательская аудитория.

Вообще, безусловный минус Солженицына, как, впрочем, многих прозаиков (в отличие от большинства беллетристов), — отсутствие достаточно объемного воображения. Он беспредельно силен лишь в материале, который пропустил

через себя, через свой имперический опыт. Свидетельство тому те же «Иван Денисович», «Матренин двор» и «Архипелаг Гулаг». Я убежден, что у него получилась бы неповторимая эпопея о Второй мировой войне, но, увы, его привлекла другая, к сожалению, мало подвластная ему тема.

И еще о языке. Язык, по моему глубокому убеждению, — естественно складывающийся организм. Радикальное насилие над языком не менее бессмысленно и трагично, чем насилие над человеческим обществом, над самой жизнью. А жизнь, как мудро заметил Борис Пастернак в своем восхитительном «Докторе Живаго», не надо переделывать, она сама себя переделывает. Так обстоит дело и с языком. Оставить после себя хотя бы одно новое слово, как это получилось у великого Достоевского со «стушевался» или у-посредственно-го Боборыкина с «интеллигенцией», — это уже означает остаться в истории литературы, конструировать почти всю словесную ткань своих книг из вымерших архаизмов и неподъемных словосочетаний — это вернейший способ авторских самопохорон по первому разряду. Если уж освобождаться от советского «новояза», то, по-моему, все-таки не по словарю Даля, а по «Сказке о царе Салтане» или по меньшей мере по чеховской «Каштанке». Ко всему прочему, насилие над языком мстит за себя самым грозным для пишущего образом — забвением.

При всех своих новаторских претензиях Солженицын так и выломился из русской литературной традиции и не породил сколько-нибудь заметных эпигонов, ибо для эпигонства он явно малопригоден, слишком огромны художнические задачи, которые ставит перед собой.

Его роль в нашей литературе и бытии иная: он задает обществу, нам всем неизмеримо более высокие нравственные и творческие критерии, чем те, из каких мы исходили до него. И только одно это искупает все его промахи и потери.

Без него немыслимо, к примеру, было бы такое явление, как «деревенская проза». Все наши деревенщики вышли из «Матрениного двора», как послепушкинская проза из гоголевской «Шинели», но все же их едва ли можно назвать его эпигонами, настолько они самобытны, подлинны во всех своих проявлениях: художническом, нравственном и гражданском. И конечно же в языковом. Вот уж кто действительно

не нуждается в помощи Даля, слова диктует им сама окружающая их языковая стихия.

Но без Солженицына не состоялось бы в нашей литературе (и не только в литературе!) и многое другое. Поэтому, предъявляя сегодня к нему столь нелюбезный счет, я тем не менее убежден, что благодаря Солженицыну русская литература, после столь долгого и трагического перерыва, вновь заняла подобающее ей место в ряду мировых литератур. Сколько серых мышей нынче на Востоке и Западе вот уже много лет хлопотливо хоронят нашу отечественную словесность! Правда, она, надо отдать ей справедливость, этого не замечает, живет себе и в ус не дует. И это тоже во многом благодаря Солженицыну.

НАША ПОЧТА

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Ваш ответ на трехстраничное письмо Семена Бадаша («Континент», №66) относительно моей статьи «Стремление Кремля к мировому господству и его глобальная стратегия» («Континент», №64) — краток, беспристрастен и убедителен. Однако позволю себе добавить ряд своих соображений, ибо я отношусь к спору со священным гераклитовым трепетом. Когда я читаю лекцию, я настаиваю на том, чтобы моя лекция длилась всего 20 минут, а 40 минут или 1 час 40 минут были бы посвящены рождающему истину спору.

Итак, о стремлении Кремля к мировому господству. Мне и моим читателям неизвестен на Западе ни один институт или представитель политико-культурного истеблешмента, который бы последовательно выдвигал этот тезис. Я же разрабатываю его в западной и русскоязычной прессе со дня моего приезда на Запад в 1972 г., а до этого я занимался им подпольно. Более того. Владимир Максимов, который любезно предоставил мне страницы своего журнала, — редкое исключение в нашу эпоху растущего всеобщего конформизма. Вероятно, свыше 99 процентов редакторов прессы всего мира полагало в 1988 г.: поскольку «все» утверждают, что афганские горцы-партизаны (муджахеды) опрокинут (и так уже почти развалившийся) марионеточный режим, как только последние советские войска выйдут из Афганистана 15 февраля 1989 г., то обратное утверждение Наврозова заведомо ложно, вредно и отвратительно, а посему его не следует ни в коем случае предавать гласности, и никакого спора тут быть не может. На Западе процветает любовь к массовому «вызову обществу». Например, многие девушки расхаживают в джинсах непременно с дыркой на правой — на текущую неделю! — штанине, многие молодые люди утверждали лет двадцать назад, что США — это фашистское государство, а многие художники вот уже добрых полвека наклеивают на свои произведения все, что попадется им под руку. Но издатель самой влиятельной на Западе газеты «Нью-Йорк таймс» прислал мне личное письмо, уверяющее меня, что сам бы он и рад меня печатать, да его подчиненные саботируют, а редактор самого влиятельного в США журнала книжных рецензий назвал меня «врагом общества (нет, не народа. — Л.Н.) № 1». Из чего можно заключить, что мое инакомыслие не относится к разряду столь любимой на Западе «массовой оригинальности», вызывает страх, неприязнь и желание обречь его на молчание, но скрыть при этом свое личное участие в этом сокрытии. Хотя в своем анализе с 1979 по 1989 г. происходящего в Афганистане оказался прав я, а «все» предсказывали обратное тому, что произошло, и советский марионеточный режим в Афганистане здравствует и два года спустя после

вывода советских войск (я пишу эти строки в марте 1991 г.), Бадаш и теперь заявляет, что, наоборот, были правы «все», а не я. Я же «игнорирую», что «советская армия... вышла из войны и убралась из Афганистана...».

Наоборот, именно я этого никогда не игнорировал. В своих колонках, статьях и выступлениях по радио (а изредка и по телевидению, которое, увы, настроено еще более конформистски) я всегда подчеркивал, что в стратегии ген.Валентина Варенникова (засекреченного вершителя судеб Афганистана) уже в 1979 г. было предусмотрено, что все советские войска покинут Афганистан после того, как будут подготовлены военно-разведывательные кадры марионеточного режима и построены укрепления, которые горцы-партизаны не смогут взять, хотя, разумеется, они будут прятаться в горах (горы и пустыни составляют 88% территории Афганистана), ведя оттуда обстрел и совершая набеги, как это делали горцы Кавказа, что не изменило факта его покорения Российской империей.

Конечно, следует учесть, что население Пакистана составляет свыше 100 000 миллионов, а послевоенного Афганистана лишь около 10 миллионов, и если будет беспрепятственно продолжаться начавшаяся в марте этого года интервенция регулярных войск Пакистана, то вряд ли Афганистан устоит в одиночку против Пакистана. Но это уже будет новая война — новая глава истории. А советская военная операция завершилась 15 февраля 1989 г.

Между прочим, Британская империя вообще не сумела покорить Афганистан, как не сумели справиться с партизанской войной в горах или густых лесах ни Наполеон, ни Гитлер, ни США (в джунглях Вьетнама). Тайно Горбачев знал, что операция в Афганистане — победа, ибо Варенников и иже с ним были осыпаны наградами и повышениями по службе еще до ухода советских войск из Афганистана. Так, с начала 1989 г. Варенников — главнокомандующий всеми сухопутными вооруженными силами СССР.

Точно так же «все» утверждали уже в 1988 г., что советская империя разваливается или почти уже развалилась, в то время как я утверждал (в частности, на страницах «Континента», что она, наоборот, стремится и успешно движется к мировому господству с помощью создания необратимого глобального военного превосходства. Однако мои критики-эмигранты не вступают со мной в спор на эту тему. В чем же тогда состоит их критика?

«Правдисты» мне говорили, что «Правда» при Сталине читалась сотрудниками более ста раз на предмет выявления «ошибок» (например, опечаток). Тем не менее миллионы «советских патриотов» читали советскую прессу на тот же предмет (добровольно и бесплатно). Найденная ими опечатка в «Комсомольской правде» (пропущенная буква «р») повела к аресту всех виновных. Не вступая со мной в спор по существу, Бадаш и другие критики-эмигранты ищут у меня «ошибки»,

причем в одном случае критик-эмигрант (возможно, после семи лет чтения моей колонки) нашел в ней опечатку (буква «е» вместо «у»), которая была допущена не по моей вине, но которой он посвятил целую разоблачительную статью в газете «Новое русское слово». Эти критики-эмигранты, разумеется, не рассчитывают, что меня арестуют, но им, видимо, представляется, что моральные последствия для меня столь же ужасны. Я ими разоблачен в глазах русскоязычных, в то время как они предстают как всезнающие и всевидящие учителя жизни, обличители, борцы за правду.

Обнаруженные Бадашем в моей статье «ошибки» не имеют к тезису статьи никакого отношения, а кроме того, они не являются ошибками. Наоборот, те, кто займется разбором утверждений самого Бадаша, обнаружат, что они не только не относятся к делу, но еще к тому же ошибочны и даже нелепы.

Например, согласно Бадашу, я утверждаю, что советский КАМАЗ — «самый большой в мире завод, производящий дизельные моторы», а оборудование для него поставили фирмы США еще при Брежневеве. «Сразу два ляпсуса!» — торжествует Бадаш. Во-первых, заявляет он, немецкая фирма «Даймлер-Бенц» ежегодно выпускает 550 тысяч грузовиков с дизельными моторами, а такое количество КАМАЗу никогда даже не снилось».

По этому поводу у меня состоялся полчасовой разговор с соответствующей фирмой в Штутгарте, который я записал на пленку, по своему журналистскому обыкновению. Фирма заверила меня в том, что цифра Бадаша — не просто ошибочна, а нелепа. Выпускает грузовики не «Даймлер-Бенц», а всемирно известная немецкая фирма «Мерседес-Бенц», все немецкие предприятия которой вместе взятые выпустили в прошлом году 156 900 грузовиков с дизельными моторами.

Но дело не только в этом. Читает ли Бадаш то, что он сам пишет? Ведь он пишет, что я утверждаю: КАМАЗ — «самый большой в мире завод, производящий дизельные моторы». Дизельные моторы, а не грузовики или яхты с дизельными моторами. Это не одно и то же. КАМАЗ начал выпускать в 1981 г. 250 000 дизельных моторов в год (помимо 150 000 грузовиков с дизельными моторами). Какая разница? А разница в том, что эти 250 000 дизелей можно тут же ставить на тягачи мобильных ракет, танки, БМП, бронетранспортеры и прочее. Конечно, «в случае войны» и «Мерседес-Бенц» начнет делать то же самое. Но суть моего тезиса заключается в том, что никакой войны с Западом Кремль никогда не допустит: он возьмет Запад «живьем» благодаря созданию необратимого глобального военного превосходства, с помощью, в частности, Гельмута Коля, который заключил с Кремлем «Договор о развитии широкомасштабного сотрудничества в области экономики, промышленности, науки и техники». Тут пахнет многими, в том числе секретными, КАМАЗами.

Второй мой «ляпсус» — мое утверждение, что оборудование для КАМАЗа было поставлено американскими фирмами, в то время как Бадаш заявляет, что нет, оно было поставлено французскими и итальянскими, а не американскими фирмами.

Я нигде никогда не утверждал, что западноевропейские фирмы не принимали участия в строительстве КАМАЗа. Но меня особенно интересовало участие в нем США, ибо США, а не Западная Европа — последний оплот противостояния глобальной советской мощи. Бадашу лень было заглянуть в любой справочник и убедиться в том, что да, фирмы США поставляли оборудование для КАМАЗа, причем в американских справочниках США — на первом месте, и дело идет об оборудовании стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. Из своей лени Бадаш создает аксиоматическую уверенность (нашел «сразу два ляпсуса»), близкую к торжеству «советского патриота», увидевшего, как ему показалось, сразу две опечатки в «Правде», но не заглянувшего в орфографический словарь.

Другая особенность моих критиков-эмигрантов — это уверенность, что объект критики должен быть ими уличен в пороках и в отсутствии добродетелей, и прежде всего — скромности, которая всегда являлась неотъемлемой чертой и рядовых советских комсомольцев, и вождей, будь то Ленин, Сталин или Горбачев, хотя через три года после смерти Сталина его скромность начала официально ставиться под сомнение. Бадаш видит отсутствие во мне скромности в том, что я пишу: «...замечательно умная американка, которая взяла у меня интервью по радио...» Для критика-эмигранта отсутствие скромности в объекте его критики заключается в следующем: объект критики позволяет себе то, что самому критику-эмигранту недоступно. Видимо, ни умные, ни глупые американки или немки не берут у Бадаша интервью. Поэтому мое упоминание интервью или даже моих статей в западной печати воспринимается им как глубоко его ранящее, а посему возмущительное и требующее разоблачения отсутствие скромности. Я наблюдал эту неодолимую тягу к скромности среди своих критиков-эмигрантов много раз, причем те критики-эмигранты, которые представлялись моим русскоязычным читателям самодовольными нахалами-обывателями, даже не желающими или не способными вникнуть в предмет спора, сами себе представлялись такими всесторонне и гармонично развитыми личностями, причем прежде всего необычайно красиво скромными.

Западные читатели или слушатели воспринимают список высказываний обо мне лиц, считающихся на Западе выдающимися, как визитную карточку, но многие жрецы русскоязычной прессы воспринимают этот список как список тягчайших личных оскорблений в их адрес.

С отсутствием скромности связан, согласно Бадашу, и сам, на его взгляд, несерьезный стиль моих статей, который «подходит для сред-

него американца», но «явно не пригоден» для серьезной прессы эмиграции (на ниве которой трудится Бадаш). Дело, однако, в том, что значительная часть эмигрантской прессы, как, например, статьи Бадаша, представляют собой пересказ западной прессы, предназначенной для «среднего американца» или «среднего немца». Причем стиль этого пересказа напоминает подчас не стиль «Правды» времен старого нэпа или нэпа нынешнего, а «Правды» 30—70-х гг.: та же «серьезность», то есть отсутствие остроты ума (и остроумия) вне «уголка юмора и сатиры». Вообще, выходящая на Западе русскоязычная пресса начинает отставать от советской прессы вроде еженедельника «Столица» во всех отношениях и превращаться в пособия по нахождению местных эмигрантских зубных врачей или увеселительных заведений. Получается «все наоборот». В «Правде» я нашел уважительную ссылку на Ницше и не совсем избитую выдержку из него, а в эмигрантской «Панораме» никогда не читавший Ницше эмигрант опубликовал статью, состоящую из всех относящихся к Ницше обличительных клише сталинского времени. Посему априорное презрение скромного Бадаша к «средним американцам» и их прессе никак не оправдано.

Кроме того, судя по его письму, Бадаш не может или не хочет понять сути того, что я пишу: возможно, страстный поиск ошибок в моей статье и пороков в моей личности затмил его ум или заслонил от него смысл мной изложенного. Например, Бадаш заявляет: «Касаясь столь серьезной политической темы, как глобальная стратегия Кремля, Л. Наврозов примешивает сюда и русофобию и антисемитизм».

Я утверждаю в своей статье, что в каждой социальной группе (например, нации) распространено чувство априорного превосходства над всеми «посторонними», причем обычно оно распространено среди наименее умных и наиболее бездарных членов группы. Например, чувство априорного превосходства над русскими (которое можно назвать русофобией (хотя «фобия» буквально означает страх, отвращение) распространено среди нерусских (подобно тому, как антисемитизм распространен среди христиан, мусульман и вообще неевреев). В мифе о том, что «русские» потерпели беспрецедентное поражение в Афганистане и горцы-партизаны опрокинут их режим в марте 1989 г., да и сама «русская империя» разваливается или уже почти развалилась, есть изрядная доля русофобии, опаснейшей для Запада: априорный миф, что «Иваны» — недочеловеки, низшая раса, мужичье, дикари, которых Западу и шапками незачем закидывать. Но на проверку оказывается, что «Иван», а именно засекреченный Валентин Варенников, справился с горно-партизанской войной, то есть оказался умнее Гитлера, Наполеона, правителей Британской империи и Пентагона в джунглях Вьетнама, не говоря о миллионах западных обывателей, которые и поныне верят, как Бадаш, что советская империя еле ноги унесла из Афганистана, и только вот падение ее марионеточного режима что-то задержалось на два годика. Как, впрочем, задержался и

развал самой советской империи, которую западные обыватели официально похоронили в 1988 г., обещав ей после ее распада или же воскресения в виде западной демократии щедрое доброхотное подаяние. К несчастью для обывателей-русофобов Запада, «Иваны» вроде ген. Варенникова или самого Горбачева настолько умны, что они сами поддерживают западный миф о своей глупости, поражении в Афганистане, бессилии, распаде, гражданской войне, кризисе и всеобщей смерти советского населения от голода, для спасения от которого необходимы лишь западная наука, техника, сотни миллиардов долларов вложений... Словом, много, много КАМАЗов.

Ваш Лев Наврозов

В журнал «Континент»

Дорогой Владимир Емельянович!

Моя любовь к Вашему творчеству, созданному от Бога талантом, как и глубокое уважение к Вашей общественной деятельности, Вам хорошо известны. Напомню хотя бы мою работу «Сила символики в романе Вл. Максимова «Семь дней творения»» к выходу 5-го юбилейного его издания. (Кстати, отправленная Максу Ройзу в Канаду для публикации в его «Нашей газете» рукопись пропала безвозвратно и неизвестно, была ли опубликована.)

Однако крайне удивил (да и не только меня, о чем ниже) комментарий редакции «Континента» к моему письму (в №66) с критикой малоаргументированной и довольно легкомысленной статьи Л. Наврозова «Стремление Кремля к мировому господству и его глобальная стратегия», опубликованной в «Континенте», №64.

Посудите сами:

1. В своем письме я подверг критике многократно повторяющиеся утверждения Л. Наврозова о «блестящей победе Советской армии в Афганистане», когда всему миру известно, что из этой преступной войны она вышла с позором, не сумев за 9 лет боев одолеть афганского Сопротивления. А там и по сей день идут кровавые бои и Сопротивление не идет ни на какие предлагаемые ему компромиссы. В письме я писал, что просоветский режим в Кабуле в конечном счете обречен. В комментарии редакции акцент делается не по существу факта — позорного выхода из войны, а в виде оговорки, что, мол, прогнозы о быстром падении кабульского режима — не оправдались. И это все! Выходит, что редакция «Континента» соглашается с Л. Наврозовым о «победе Советской армии» в этой войне.

2. О терроре Сталина в комментарии к моему письму редакция пишет, что он (Сталин) «придал террористическому беспределу большевиков внешне законную форму». Следует вопрос, что, редакция «Континента» считает «внешне законной» форму сталинского террора? Процессы 37—38-х годов в Колонном зале Дома Союзов или закрытые трибуналы под председательством Уншлихта на Никольской улице с

последующим втихую расстрелом сотен людей в подвалах Лубянки? Может быть, редакция к этому своему определению относит без суда расстрелы в 1949—1950 годах видных деятелей еврейской культуры по т.н. «делу Еврейского антифашистского комитета» (ЕАК), о котором лишь недавно появилось краткое сообщение в «Известиях ЦК КПСС» (№12), что без суда было расстреляно 15 человек и еще 110 человек были расстреляны или осуждены на длительные сроки заключения. Или редакция «Континента» относит к «законным формам» апогей сталинского антисемитизма в январе 1953 года по делу «еврейских врачей — убийц в белых халатах»? (Между прочим, половина из них были не евреями, а чистокровными русскими, в том числе академики Анихин и Парин, профессора Василенко, Виноградов, Егоров, Майоров и другие.) Наконец, может быть, редакция «Континента» «законной формой» сталинского террора считает миллионы постановлений ОСО, по которым это же число людей отправлялось на расстрел и на длительные сроки заключения (без суда и трибуналов) заочно! Становится стыдно и неловко за столь нелепое редакцией определение сталинского террора.

3. По поводу «нейтральной Германии» комментарий редакции построен по типу «Если бы да кабы...». Так, редакция задается вопросом: «Что будет с современной Германией, если, придя на очередных выборах к власти, эта партия (Социал-демократическая) приведет свои ЗАМЫСЛЫ в жизнь?» Еще раз приходится поражаться, неужели редакции «Континента» неизвестно, что за 13 лет правления СДП в ФРГ (с 1969 по 1982 год) канцлерами Брандтом, а затем Шмидтом, ни они, ни президиум СДП ни разу не поднимал вопроса о нейтралитете Германии. Первый из них, начав проводить «новую осполитик», заключив с Советским Союзом в 1970 году первый договор, всегда оставался сторонником пребывания ФРГ в НАТО. Второй постоянно ратовал за сближение ФРГ с США и другими союзниками по Атлантическому союзу. О нейтралитете Германии периодически заявляла лишь советская сторона, начиная с первого предложения Сталина в 1952 году объединить обе части Германии на этом условии. СДП Германии поддержала международный договор «4+2» по статусу объединенной Германии, двусторонний договор Германии с Советским Союзом «О добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве» (не о дружбе!!) и договор о выводе советских войск из бывшей ГДР. Сейчас СДП поддерживает требование германского правительства выдачи, для предания справедливому суду, вывезенного советскими органами бывшего генсека СЕПГ Хонеккера по делу о его многочисленных преступлениях. Таким образом, события даже последних полутора лет еще раз опровергают подобный комментарий редакции «Континента». Ко всему этому редакции должно быть известно, что в правительствах многих земель при правлении СДП федерации оставались христианские демократы и христианские социалисты, которые в Бундесрате никогда не допустили бы «нейтралитета Германии». А постоянное желание

советской стороны «нейтрализовать» Германию связано с отрывом последней от НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями, а мощные партии ХДС и ХСС не допустили бы этого никогда.

4. В аналогичном ключе «если бы да кабы...» следует комментарий редакции и по поводу традиционного нейтралитета Швейцарии. В своем письме я опровергал утверждение Л.Наврозова, что эта страна якобы находится «под дулом советского пистолета». Редакция «Континента» пишет: «Да и что оедалось бы от нейтралитета Швейцарии, если б Гитлер победил?» Кого? Советский Союз? По мнению редакции выходит, что последний является вроде бы каким-то гарантом нейтральной Швейцарии. Полно! Ведь задолго до войны с Советским Союзом, победив и захватив большинство стран Европы, Гитлеру ничего не стоило захватить и маленькую безоружную, соседнюю с Германией Швейцарию. Однако он этого не сделал. Здесь комментарий редакции «Континента» явно не вяжется с элементарной логикой.

5. И последнее. Опровергая в своем письме очередное неверное утверждение Л.Наврозова о том, что КАМАЗ якобы является самым большим в мире производителем грузовиков, я привел пример германского автоконцерна «Даймлер-Бенц», выпускающего ежегодно полмиллиона подобных дизельных грузовиков, что КАМАЗу никогда такая производительность и не снилась. И здесь комментарий редакции обходит существо вопроса, и вместо того, чтобы честно заявить об ошибке Л.Наврозова, ограничивается лишь тем, что «не важно, кто из западных фирм поставлял оборудование КАМАЗу».

Не хочется думать и допускать мысль, что этот комментарий написан, дорогой Владимир Емельянович, Вашей рукой — рукой реалиста, прекрасно знающего и умеющего трезво анализировать прошлое и настоящее. Если же этот комментарий написан одним из Ваших порученцев, то последний оказал «Континенту» «медвежью услугу», он оказался не на той высоте, на которой мы привыкли видеть Ваше детище, а только лишь скомпрометировал его. Некоторые известные Вам литераторы и публицисты Русского Зарубежья о моем письме в один голос говорили, что вообще не стоило бы обращать внимания на всем известную постоянную несерьезность и легкомысленность Л.Наврозова, в частности и на упомянутую его статью в «Континенте», №64, а о комментарии редакции к моему письму говорили, что он сродни самой его статье. Игнорируя в моем письме существо самих фактов в критике статьи Л.Наврозова, ссылки редакции на пафос и эмоциональность письма кажутся явно несостоятельными.

Мне думается, что это письмо Вы побоитесь и не захотите предать гласности. В таком случае считайте его личным, но не написать его Вам в канун моего 70-летия, из которых 60 лет было прожито на нашей неудачливой родине, я просто не мог.

*С уважением Семен Бадаш.
Апрель 1991 года. ФРГ.*

«СЖИТЬ СЕБЯ В ЛЮДСКОЙ БЕДЕ»

Как часто поэты оказываются пророками собственной судьбы...

Спасибо, южный город очужденья,
за равнодушный, праздный твой уют.
Я ощутил до богооткровенья,
что я погиб. Что лето — не спасенье.
Что воробы и солнце не спасут.

Эти стихи написаны Ильей Габеем за пять с лишним лет до гибели. А эти — за девять:

Был год. Был подлый жесткий год
сплошных: «А помнишь?»
Год — забот
ненужных, жалких, как гостинцы.
Год не невзгод — когда б невзгод!
Год ощущенья: загостился...

В последней — и, наверное, лучшей — поэме «Выбранные места» — воображаемой переписке с друзьями из кемеровского лагеря, где он отбывал определенный судом срок, звучит трагическо:

...Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.
Мне остается пробавляться ныне
Запавшей по случайности латынью
Memento mori. Помни о конце.

Конец пришел через два года. И лишь через семнадцать лет после трагической гибели стихи Ильи Габая стали доходить до читателя. В московском издательстве «Прометей» вышел сборник под названием «Посох» (1990 г.) — на деньги, собранные друзьями, и тут же вслед за ним в Иерусалиме появилась книга, в которую вошли не только стихи, но и публицистика, письма, воспоминания об Илье Габее — объемистый том на прекрасной бумаге, в прекрасном полиграфическом исполнении (особенно впечатляющем на фоне, прямо скажем, далекого от полиграфического идеала московского сборника). Теперь и «Континент» предоставляет свои страницы для информации об этом замечательном человеке и поэте.

Через семнадцать лет после гибели. Ни для кого не секрет, что раньше на родине поэта ни одной его строчки опубликовать было невозможно. Хотя в списках стихи, как и публицистика, конечно, ходили. И друзья Ильи Габая ежегодно — в день его рождения и в день смерти — проводили домашние вечера памяти, пока не пришло время и подобный вечер удалось провести в Доме культуры завода «Серп и молот» (см. «Огонек», 1989, №21). Обидны и несправедливы слова, заключающие иерусалимский сборник: «Москва и москвичи живут без Ильи, все спешат перестроить, и им недосуг вспоминать о тех, кто ломался, не умея перестраиваться». Не хочется останавливаться на претензиях наших к иерусалимскому изданию. Сборник вышел наконец — и это замечательно.

Вернемся к нашей — прометеевской — книжечке. Напечатанная на оберточной бумаге, тиражом 5 тысяч экземпляров, она довольно быстро разошлась, минуя книготорговую сеть. И любопытно, наибольшим успехом, по нашим предварительным наблюдениям, пользуется в среде молодежи — у тех, кто в годы создания стихотворений и поэм Ильи Габая либо еще не родился, либо был слишком мал... Стихи кажутся написанными сегодня, сейчас. Разве не о сегодняшних поисках они? И сомнениях? И о честолубиях, тщеславиях?

Есть страх из страхов: не прилгнуть,
Не слицедействовать б! Известно ж,
Как легок до Голгофы путь,
Когда уверен, что воскреснешь.

Да не простятся никому
Иль мне хотя бы не простятся
Соблазн сезонного страдальца,
Соблазн героя на миру!

Аллюзии так и напрашиваются, и начинаешь думать и о новых радикалах, и о борьбе амбиций — возможно, чистых, бескорыстных, и все же амбиций, которыми так богаты последние годы нашей — всей страны — жизни. Но все эти аллюзии лишь частично проясняют, что же заложено в этих и в других стихах Ильи Габая. «Самым полным сводом противоречивых раздумий, вопросов, которые на разный лад задает себе в наше время и в наших условиях душа совестливого и мыслящего человека» назвал их друг и, наверное, первый

исследователь его творчества Марк Харитонов. «Но ответов они не дают», — писал он.

Какие ответы?

Но коль ты ревниво всевидящ,
Всеведущ, то ты — не поэт.

Мы-то привыкли к образу поэта, у которого «отверзлись вещие зеницы», чтобы обозреть вселенную, поэта-эхо, отзывающегося на все звуки мира. Своеобразный вызов ставшим общепринятыми образом, представлениям — в духе Габая. В стихотворении 1962 года «На темы поэзии» (не вошедшем в сборник), сравнивая истинного поэта со стрелком по подвижной мишени, он писал:

Покойный стрелял в нее. Если бы точно.
Но точность — скорее спортсменам с руки.

А еще раньше, в студенческие годы (1959 г.), Габай бросил вызов хрестоматийному горьковскому афоризму:

...А вы все славу курите
летающим над пропастью!
Летают даже курицы.
Попробуйте — поползайте!

Но это не оригинальничанье и уж конечно не эпатаж. Здесь скорее отражается внутренняя работа, постоянное искание истины — во всей ее сложности и многогранности. И неудивительно, что рядом с этими «вызывающими» строками — многочисленные реминисценции, даже прямые цитаты из классиков, чаще всего — из А.С.Пушкина. И наряду с поэтом-слепцом, образ которого Габай выводит из пленительной гомеровской слепоты, он целую поэму посвящает пушкинским пророкам — библейским волхвам.

Когда листаешь прометеевский сборник (составитель М.С.Харитонов), воочию видишь, как рос и мужал талант Ильи Габая от ранних — студенческих стихотворений до «Волхвов» и «Выбранных мест». Но основные нравственные императивы оставались незыблемыми. Может быть, несколько прямолинейно сформулированные в самом раннем из вошедших в сборник стихов («Чужое горе», 1957) строки:

Но я хотел бы, чтобы боль чужая
Жила во мне щемящей сердце болью —

стали программой всего творчества, всей жизни Ильи Габая. Это кредо усложнялось, углублялось...

Сжить себя в людской беде.

В такой драматически заостренной форме предстало оно в «Книге Иова». И наверное, эти слова можно сделать эпиграфом и к стихам, и ко всей правозащитной деятельности Габая. Но слова эти — результат драматических раздумий, драматических поисков. Поиски и раздумья — тоже постоянная, углубляющаяся от стихотворения к стихотворению черта Габая.

...и вечный посох, вечная котомка

на сморщенных страницах старых книг, —

писал он в поэме «Волхвы».

Вечный посох — и в его стихах. Трудно представить более удачное название для сборника — «Посох». И понятно, почему в стихах и поэмах так много вопросов. Они мучают нас и сейчас, заставляют мучиться чуть ли не с той же силой, как они мучили поэта. И ответов найти, наверное, невозможно — если, конечно, не поддаваться на соблазн простых решений, о которых писал Габай в той же «Книге Иова»:

Слова! Слова!.. Весь этот хлам —

Не соучастье ль, друг Гораций,

В постыдной смене декораций

И париков — без смены драм?

По сути, все поэтическое творчество Ильи Габая — огромный и мучительный внутренний монолог, «быть или не быть» мыслящего и совестливого человека наших дней. Наверное, здесь надо говорить о сверхчувствительной совестливости или — словами самого же Габая из заключительной речи на суде — «нравственной стерильности».

Внутренний монолог... Но ведь у него были стихи и на исторические и на библейские темы. В них появлялись исторические (пусть не названные по именам) и библейские (названные по именам) персонажи. И речь шла об их деяниях, о том, как они «жили, мучились, страдали, а не свершали действия напоказ» (даже если эти «деяния» им приписывались легендами). Но и в этих стихах дистанция между автором (лирическим героем) и эпическим (историческим, библейским) персонажем сокращалась, сужалась — и автор (лирический герой), для себя

разрешая мучительные проблемы, обращался к этим персонажам на ты:

Зачем ты это сделала, Юдифь?
Из злобы? Из коварства? Для идеи?
Или для счастья робких иудеев,
которые ликуют, не простив
тебе своей трусливости, Юдифь?

.....
Чтобы оставить борозду в преданьях?
Или чтоб стать праматерью предательств...

.....
На мрачный подвиг от доуки зарясь?
А может, восхищение и зависть
в нас, неспособных к подвигам, вселив,
ты нас звала к оружию, Юдифь?
(«Юдифь»)

Пришельцы на земле Египетской
и из земли чужан ушельцы!
Куда ведут вас? К счастью? К гибели?
На пьедестал? На дно ущелья?
(«Зарубабель»)

Так что мы оставим, в неизвестности канув?
.....
...не будет точить нас раскаянье
за то, что мы предали книги, за праздность
обычных невзгод, за обычность пути?
(«Волхвы»)

Вопросы... Вопросы... Вопросы...
И сомненья... Сомненья... Сомненья...
...И вытерпеть — пилатство.
И святотатство — если не стерпеть.

.....
Не вытерпеть — на злобе и неверье
построить мир, где каждый чист и сыт.
А вытерпеть — за счет чужих обид,
чужого крика и чужой потери.

.....
Но нет пути: стерпеть или не стерпеть —
как выбор меж пилатством и кощунством.
(«В последний раз в именье родовом»)

Это внутренний монолог героини-народницы. В ней легко узнаешь Софью Перовскую (автор имени не называет). Но это и внутренний монолог самого автора — даже не лирического героя, а именно автора (если их можно различить).

«Стерпеть или не стерпеть?» «Быть или не быть?»

Для Габая, активного правозащитника, не стояло, кажется, вопроса: «Смириться под ударами судьбы или лучше оказать сопротивление?» И тем не менее трудно утверждать, что он не был рефлексирующим интеллигентом. Одну из глав последней поэмы он назвал «Сомнение», характеризовал себя в ней «бедным нетчиком в час вселенских битв», утверждал:

... испытание пагубой и порчей,
Проверка унижением и стыдом
Не для моей отнюдь тщедушной почвы.

Он понимал гибельность выбранного пути — и все же пошел по этому пути.

«Не вытерпеть!» Илья Габай шел на демонстрации, обращался с письмами к интеллигенции, участвовал в создании «Хроники текущих событий», боролся — как мог! — за права крымских татар и чехословацкого народа, задушенного советскими танками, за всех узников совести.

«Не вытерпеть!» В этом не только героическое — в этом и трагическое начало. Не вытерпев бесконечной травли со стороны органов КГБ, которым хотелось ДОБИТЬся раскаяния — ДОБИТЬ диссидента, ослабленного годами тюрьмы, лагеря и унижительных поисков любой работы, 20 октября 1973 года Илья Габай кончает жизнь самоубийством — он выбросился из окна своей квартиры с одиннадцатого этажа. Ему только-только исполнилось 38 лет.

В своем последнем слове на суде он заявил:

«Сознание своей невиновности, убежденности в своей правоте исключают для меня возможность просить о смягчении приговора. Я верю в конечное торжество справедливости и здравого смысла и уверен, что приговор рано или поздно будет отменен временем».

Это время пришло. И литературные произведения И. Габая пробивают дорогу к читателю. Наши скромные замечки о них — лишь начало размышлений, начало разДУМий о его совсем непростых поэтических ДУМах.

Л. Я. Зиман

Иллюзия, что возможности литературной критики у нас на родине небывало расширились (нет на сегодняшний день ни запретных тем, ни запретных имен), по-моему, начинает проходить, ослабевать. То есть фатальные-то, кондовые запреты расшатались, но им на смену скоро возводятся новые — и такое ощущение, будто их быстро возводим мы сами, будто они уже были готовы, воздвигнуты внутри нас. Ну, в самом деле, уместен ли сейчас — во всяком случае, в приличном либеральном журнале — *критический* отзыв об эмигрировавшем писателе, изгнанном советской властью? Автор такого отзыва как бы автоматически сдвигается в общественном сознании вправо... Или: как писать критику на религиозную поэзию? Да, это делает, конечно, И.Шайтанов, и делает деликатно и умно, ничьих чувств, кажется, не оскорбляя, но все же ощущение определенной неуместности, частичной недозволенности такого поступка сохраняется. И это еще не самые острые углы, о которые ушибается человек, пишущий о сегодняшней литературе.

Широкая публикация стихов и статей Юрия Кублановского, поэта-эмигранта, религиозного писателя, одновременно побуждает и написать о нем, и быть придирчивой — во-первых, потому, что он талантлив и его поэзия выдерживает самый трезвый и холодный анализ. Во-вторых, потому, что надо все ж таки бороться с собой и, так сказать, выдавливать из себя по капле раба — нужны ли нам сегодня запреты, ставшие каким-то «обратным общим местом», по существу, продолжающим ортодоксальные запреты вчерашнего дня?

И наконец, третье, важнейшее для меня лично. Я была знакома с Ю.Кублановским довольно уже давно, в самом начале семидесятых годов, то есть после того, как он уже побывал членом прославленного ныне СМОГа (Самого Молодого Общества Гениев), но еще до того, как он принял участие

¹ Юрий Кублановский. Оттиск. Стихи. — М.: Прометей. МГПИ им. В.И.Ленина. 1990.

Юрий Кублановский. Журнально-газетные публикации 1990 года.

в альманахе «Метрополь», а через какое-то время был вынужден эмигрировать... Одним словом, до того, как он стал печататься сначала на Западе, а потом (то есть в последние годы, и весьма широко) — у нас в России. Тогда, то есть восемнадцать лет назад, я читала его стихи в машинописи или слышала в авторском исполнении среди самых причудливых компаний, в самых невообразимых, чадных и дымных московских помещениях. Этот эффект обретения некогда хорошо знакомого человека словно бы в инобытии, печатаемым и прославляемым журналами, которые по понятным причинам прежде и знать его не хотели, сильнее всего побуждает меня написать о поэтических публикациях Ю. Кублановского — но и, кроме того, попытаться сделать это без скоропалительного восторга, от которого никому ни жарко, ни холодно.

Если начать издалека и спросить: чего мы ждем от поэтического образа? — то самый быстрый, поспешный ответ будет, видимо, такой: конечно, проникновенности, но и точности. Да, в самом деле, мы испытываем радостно-удовлетворительное чувство, когда видим, как плотно и чисто охватывает художественный, словесный образ некое хорошо нам известное жизненное явление. Заключенное в этот магический контур, явление действительно предстает знакомым, но новым, узнаваемым, но иным и свежим. Возвращаясь к поэзии Ю. Кублановского, замечу: его стихи остаются стихами при том, что слово его неточно, приблизительно, образ лишен этой желанной узнаваемости, как бы размыт и чуть смазан по краям. «Крепкого рисунка» тут нет; есть небрежная, быстрая, мутноватая, пастозная живопись. Но из массы неточных, случайных, как будто бы вслепую положенных мазков поэту удастся, надо сознаться, создать картину, наделенную глубиной, перспективой, отмеченную каким-то только ей присущим мрачным уютом (это почти каламбур, но так оно и есть), населенную навеки ей принадлежащими героями. Так, в «Памяти друга» (посвященной, надо полагать, покойному Леониду Губанову) читаем:

Весть, как могла, добиралась сама:
стала просторней родная тюрьма.

Перекрестясь, басурман
брал недотраченный молью треух,
вострил под сальными космами слух,
прятал тетради в карман
и — к электричке.

На даче одна
заросль шаров золотых зелена,
держится там до конца...

...В лаковых недрах парижских трущоб
припоминаю убожество, гроб,
черный лавсан и рубаху.
Видим и сами — что он недалек,
твой под холодной землей огонек,
и поспешаем без страху.

Я сказала о «мрачном уюте» и думаю, не ошиблась: мир Кублановского, тот, который он смог воссоздать как свой, как принадлежащий ему кусок поэтической территории — это мир советской провинции, еще хранящей последние простывающие следы старого быта, мир дачных поселков, предместий. Словом, таких мест, где герой Кублановского прекрасно освоился и где он все же не дома. Тут-то и возникает присущая именно этому поэту чрезвычайно русская лирическая нота, которую, воспринятую на слух, отчего-то хочется назвать «длинной и сырой», «сиротливой» (для глаз же ее появление, как правило, бывает отмечено появлением, более или менее частым, гласной «у» в строке или строфе):

Я один пройду меж кусковских пихт
на голландский пруд сквозь сырой туман.
Будет мне о чем расспросить у них
в октябре, топыря вином карман.

Потому и сутолки похорон
я не видел и не спешу туда,
где в высоких терниях грай ворон
над всего однажды сказавшей «да».

Или:

...В средневековых руинах
над виноградниками
к ночи затих голубиный
спор со стервятниками...

И в розмариновом мраке
предупреждающий
все ослепительный бакен
тускло мерцающий.

Собственно, определение «сырая» возникает не случайно и не совсем уж подсознательно. Это — и положительное и отрицательное определение некоторых особенностей поэтики Кублановского. Ведь недаром в одной из своих последних статей он написал: «Когда есть что сказать, когда автор талантлив — это как бы «само по себе» формообразует поэтику. «Форму» как таковую нельзя головно придумать... «несовершенство» романа Кормера — тоже в отечественной традиции. Русский роман в принципе несовершенен, до конца не отделан и сыроват».

Неотделанность, незавершенность представляются Кублановскому приемом, освященным традицией. Я не уверена, что эта и впрямь интересная теоретическая посылка так уж абсолютно верна. Во всяком случае, слабость стихов Кублановского сказывается именно и только там, где неотделанность и небрежность превращаются в доминанту, где они уже не желают быть приемом и претендуют на господство в стихе, подминают под себя весь замысел.

Возьмем текст, в котором собственная нота, без всякого сомнения, возникает:

Надо встать, да пойти, да купить
настоящей отравы бутылку,
карамели какой — закусить,
чтобы стало лицу и затылку
сразу весело, жарко...

Дальше идет строка, которая ужестораживает своей инородностью:

...А то
в шарф упрятать простывшую выю.

Тут неуместно противопоставление «а то»: ведь следующая строка во всех смыслах продолжает предыдущие. «Выя» — слово из иного лексического ряда. Цитированное четверостишие завершается словами, которые, будучи хоть чуть-чуть не на месте, хоть капельку пересдобренными пафосом, как по волшебству теряют искренность, представляются декоративно-риторическими и уж чуть ли не лебядкин-

скими — по неожиданности их появления в данном контексте, от которых прямо вздрагиваешь:

...Все я думаю: «Братья! За что изувечили нашу Россию?»

Та же рыхлость, торопливость, недостроенность, что ли, стиха видится подчас и там, где Кублановский касается самой дорогой ему темы, там, где он вводит приметы религиозного быта... Скороговорка, торопливое проборматывание слов, наспех разместившихся в строке:

Если уже из придела
ставшее было мельчать (? — Е.С.)
вынесли косное тело...

Или:

Любимый отец Иоанн
раскачивал паникадило,
и ладана теплый туман
вдыхать обязательно было.

Паникадило раскачивать невозможно, так как это — церковная люстра; слово, лишь созвучное искомому слову «кадило». Вот еще:

...преподобному отче Корнилию
отрубил самодержец главу.

«Отче» в данном контексте неупотребимо; это звательный падеж, который тут использован незаконно вместо нормативного в настоящем случае дательного.

Можно было бы перечислять еще, но перечисление небрежностей ничего уже не прибавит. Гораздо важнее другое, парадоксальное явление поэтики Кублановского. Сыроватая, не вполне проработанная словесная масса,двигаемая определенной тягой к алогизму, к темноте высказывания (но всегда, впрочем, удерживаемая какой-то силой от перехода в прямую заушь):

...как начнет просыпаться брусчатая
с платяным недоходным нутром,
от болотного гнуса зачатая
второпях миродержцем Петром
молодая столица империи, —
там останется только ползти
к алтарю в золотом оперении,
захрипев новобрачной «прости» —

эта масса крепится на очень жестком и прочном каркасе, на каком-то подобии кристаллической решетки. Этот каркас — четко прописанный поэтический ритм. Не знаю, в чем тут дело, но есть много поэтов (в том числе и крупных), у которых ритм не играет решающей роли, он как бы мало ощутим, погружен в словесную толщу. Кублановский — другое дело. Он — поэт ритма, и, может быть, его слабости и неточности объяснимы тем, что им моментами овладевает властно и сильно пульсирующий ритм, заставляющий порой проговаривать случайные слова, укладывающиеся в его сетку. Иными словами: важнее чередование стоп, чем даже их лексическое наполнение:

Над Шатле, куда по осени
в крысий карцер без окон
на солому грозно бросили
стратотерпицу Манон...

(Можно предположить, что ритмическая четкость как-то связана с четким и логическим способом мышления, присущим Кублановскому — и, в частности, Кублановскому-публицисту и критику, что и доказали его литературные статьи).

Но и в счастливые поэтические минуты противоречия гасятся, сменяются согласованностью, когда присущая поэту нота приобретает широкое и незатрудненное звучание:

Этого домика нет. Только сад поредевший
напротив...
И разноцветный витраж уцелевшего
чудом окошка,
и с червоточиной пробы за завтраком
чайная ложка!
...Или лото в перехваченном туго кисете,
ставим бочонки на цифры, закрытые в клетки.
А за окном в темноте уподобились Раю
заиндевелые ветви и звезд ледяная рассада.
Этого домика нету. Но верую и понимаю:
он достоянье не волжского — Божьего града.

И убогий уют, и драматизм этой полунощной, по терминологии XIX века, российской жизни, в которой рядом растут «на огороде смородина», малина «с белым кинжальчиком в сердце» и «звезд ледяная рассада», доступны перу Кублановского. А это уже большое, может быть, очень большое достижение.

И еще одно, напоследок. В поэзии Кублановского можно встретить и отзвук Бродского:

Я сжимал здесь руку Елены М.
лет пятнадцать с лишком тому назад
в год, когда почти пустовал престол...—

и Ахматовой:

и сад, оставшийся
неисправимо летним...—

и даже значительно младшей его О. Николаевой (в частности, «Этого домика нет...» созвучно ее стихотворению «В брачной одежде...»). Я думаю, что из вышесказанного нужно сделать только один вывод: этот поэт, со всем, что в нем есть, неотделим от общего развития современной русской поэзии двадцатого века. А его нота принадлежит ее многоголосию.

Елена Степанян

КОРОТКО О КНИГАХ

БУТАФОРСКАЯ ТВЕРДЬ¹

Имя московского поэта Ивана Жданова в сознании любителя поэзии образца 80-х годов если не легендарно, то, во всяком случае, мифологично. По крайней мере, очень долго оно было окружено разными мифологическими версиями, в которые почему-то охотно верилось. Например, что Иван вырос в позабытой Богом алтайской деревне и был последним, одиннадцатым по счету, ребенком в крестьянской семье. Его имя ассоциировалось как бы с воплощенным Школьником из некрасовского стихотворения, у которого «сон свершился наяву».

На самом деле, детей в семье имелось значительно меньше, да и сама семья была не крестьянской, а интеллигентской, учительской. Но эта легенда, возникшая почти из ничего, была очень популярна. Она, с одной стороны, подогревала и без того большой интерес читающей публики к стихам Ивана Жданова — бесспорно, ярким и требующим внимательного и искушенного прочтения. Сколько было сломано всевозможных копий — будущих левых и будущих правых — в самом начале 80-х годов, когда в Москве вышла первая его книжка — и до последнего времени единственная. (Она, кстати, тут же сделалась раритетом.)

Впрочем, копыя ломались не только по поводу собственно стихов Жданова. Вместе с Еременко и Парщиковым (а в представлении некоторых критиков, насколько я помню, с Ильей Кутиком) он принадлежал к направлению метаметафористов. Название абсолютно неудобопроизносимое. Столь же, на мой взгляд, неудобопроизносимы в один ряд и все эти имена: столь различны все четверо как по характеру и степени дарования, так и по принципам поэтики.

Я действительно не понимаю, что общего между Еременко, соединившим в своих стихах гаерство и вольность аллюзий с подлинным надрывом, — и весьма условными, придуманными конструкциями Парщикова. Между виртуозными одами Кутика, как бы слегка утомленными собственной роскошью, — и стихами Жданова... Может быть, то, что все эти поэты имеют в виду, кроме прямого смысла, информативного уровня стихов, еще какой-то уровень и смысл? Но ведь это естественное пожелание стихам вообще...

Вернемся к легенде. Итак, с одной стороны, внимание, заинтригованность, восторг. Все, на что способен благодарный любитель изящной словесности. С другой стороны, эта легенда по-своему объясняла

¹ Иван Жданов. Неразменное небо. — М., «Современник», 1990.

то, на что не могли не обратить внимания самые пылкие поклонники поэзии Жданова. Стихи в его первой книге «Портрет» были, что называется, очень неровными.

Лучшие стихи в этой книге были прекрасно безыскусны и просты, почти формульны. Совсем по Кольриджу: «Лучшие слова в лучшем порядке».

Вот и выключили свет
В красной ветке клена...

До Жданова так не говорил никто. А это, не менее знаменитое, про птицу:

Когда умирает птица,
В ней плачет усталая пуля,
Которая так хотела
Всего лишь летать, как птица.

Так бесхитростно и по-своему сказал Жданов о том, о чем до него писал практически каждый поэт. Он не побоялся показаться наивным или банальным — и не показался таким. Случай, согласитесь, редкий.

Но были в первой книге Жданова, замечательной, в общем-то, книге, и иные стихи. Они производили впечатление монотонной многословности, какой-то специальной, искусственной сложности. Слово кто-то другой их написал.

И вот, восемь лет спустя, вышла вторая книга Ивана Жданова — «Неразменное небо». И что же?

Несмотря на сложность того, о чем эти стихи, они удивляют — теперь уже все — чисто мелодической бедностью, какой-то, не в обиду автору будь сказано, интонацией шарманки. Эта интонация не то что не помогает понять суть и смысл этих стихов, а зачастую глушит их прихотливый звук. Кажется, что, если поменять местами строки или строфы или вообще прочесть подряд два стихотворения, написанных излюбленным размером Жданова — пятистопным анапестом, — впечатление не изменится.

Впрочем, кроме стихов, про которые понятно, что это стихи, есть в книжке тексты, больше напоминающие философические отступления в духе Борхеса или Кортасара. Очевидно, они здесь для того, чтобы как-то объяснить затененный, заглушенный смысл стихотворений.

Но Бог с ними, с отступлениями. Читая «Неразменное небо», я вдруг вспомнила одну штуку, которая в раннем детстве была у нас дома. Кусок дерева, вросший в камень, или окаменелое дерево? Оно вызывало у меня чувство неосознанной досады. Дерево так дерево. Камень так камень.

Такое же впечатление оставляет и излюбленное Иваном Ждановым нарочитое сочетание абстрактного и конкретного — в одной строфе, строке, словосочетании:

Крутятся в построениях своих,
произвольных, как смерть,
молекулы ветра свивались в пластмассовый свод,
тебя поглощала его бутафорская твердь,
как воды потопа, текущие наоборот.

Но, может быть, иные читатели найдут новую книгу Жданова лучшей, чем прежняя?

Я же надеюсь, что «прекрасная ясность», присущая его дарованию, возобладает над его же построениями — произвольными ли, подчиненными ли некоему логическому закону.

Ленинград

Светлана Иванова

БОРИС ВАХТИН, ПИСАТЕЛЬ ¹

Семидесятилетнее странствие русской литературы в поисках за утраченным временем так же далеко от завершения, как и пять лет назад. Разве что багажа стало побольше — книг, имен, названий, — да ведь в пути от этого не легче. Правда, с другой стороны, от части имущества мы постепенно избавляемся: многие мифы, легенды, особенно последних двадцати-тридцати лет, рассеиваются, так сказать, при свете гласности. О том, например, что в столах у печатавшихся писателей хранятся непечатавшиеся шедевры. Или о том, что в развершемся под ногами андерграунде обнаружатся в целостности и сохранности лучшие традиции русской литературы. Вообще все многочисленные мифы, которыми обросло поколение шестидесятых.

Вообще-то их немного жаль — этих мифов. Я помню, как увлекательно звучали десять—пятнадцать лет назад рассказы о начале шестидесятых, о чтениях и турнирах поэтов, о поездках в Комарово к Ахматовой, о сборниках, где в те, еще досамиздатовские, времена печатались все или почти все, а их было немало, этих всех. В самом деле, количество талантов, наводнивших — город наш тогда еще не был защищен от наводнений — в начале шестидесятых ленинградскую литературу, способно было поразить воображение. Правда, и тогда, когда мы слушали эти рассказы, текстов, их подтверждающих, было не так уж много. Слишком часто слышали мы о каком-нибудь невыразительном стихотворце с кротким взглядом, что он был надеждой русской поэзии, первым (после Бродского или перед Бродским) поэтом Ленинграда. Или о том, что такой-то, работающий где-то за городом и переставший писать, сочинял когда-то замечательные рассказы. Но и

¹ Борис Вахтин. Так сложилась жизнь моя. Л., 1990.

сейчас, когда страницы ленинградских (и не только ленинградских) журналов заполнены теми же авторами, доказательств, подтверждающих шестидесятнические мифы, не прибавилось.

Я не хочу сказать, что одна Нобелевская премия на одну генерацию ленинградских писателей слишком мало, но, видимо, все-таки по-настоящему крупных талантов было в то время не больше, чем всегда. Поэтому нечего особенно удивляться тому, с какой легкостью многие из ленинградских шестидесятников уместились в свое время на широких просторах разрешенно-казенного или в малогабаритных, как хрущевские квартиры, пространствах разрешенно-честного. Равно как и тому, что по другую сторону цензурной границы оказалось тоже не слишком-то много. Ни комаровский озон, ни углекислый газ прокуренных подвалов не смогли ни помочь, ни помешать посредственности остаться посредственностью. Поэтому куда интереснее (как, впрочем, и всегда) говорить и думать не о них, а о людях и дарованиях действительно крупных, о тех, кто вышел из шестидесятых своей дорогой, не в смысле наличия или отсутствия членского билета СП, а в смысле верности своему таланту, своей литературной судьбе. Много ли таких имен? Немного. Много ли среди них бесспорных, таких, с которыми согласятся все? Наверное, еще меньше. Бродский, Шварц, Аронзон? Кто еще?

Для меня в этом списке бесспорно еще одно имя. Это Борис Борисович Вахтин. Собственно говоря, выход книжки его прозы «Так сложилась жизнь моя» и послужил отправной точкой для этих заметок.

Это вторая книга Вахтина. Первая, тоже, к сожалению, посмертная, вышла в 1986 году. По тогдашним временам в нее не попали как раз основные рассказы и повести писателя. Так что для тех, кто ничего не знал, не читал и не слышал о Вахтине, она могла пройти незамеченной. Но среди людей, серьезно интересующихся литературой, таких не было. Вся основная проза Вахтина была известна по самиздату, по зарубежным журналам. Сам он, человек необыкновенно яркий, одаренный и колоритный, до ранней своей, в пятьдесят один год, смерти оставался одним из самых интересных людей в ленинградской литературной среде. Я, к сожалению, его не знал. Но в данном случае истинный масштаб личности, встающей из рассказов, воспоминаний, легенд, не вызывает у меня сомнений. Потому что убеждает в этом одно: очевидное и очень высокое качество созданной им литературы. Равно как и не вызывает сомнений его репутация честнейшего и порядочнейшего человека, одного из немногих, кто выбрал путь официальной литературы (для Вахтина это были переводы, китаистика, что-то еще) и ничем себя не запятнал.

Удел профессионального литератора не был, по всей видимости, для него в тягость. Прозу же, главную свою прозу, он писал не часто и не помногу. По крайней мере, вся или почти вся она собрана сейчас в этой небольшой книжке: шесть повестей, несколько маленьких

рассказов. Все они датированы: самые ранние — 59—64-м, самые поздние — 80-м. Так что сборник этот является в каком-то смысле и внутренней историей писателя Бориса Вахтина.

Начиналась она с трех маленьких повестей: «Летчик Тютчев, испытатель», «Аббакасов — удивленные глаза» и «Ванька Каин» — повестей нежных, трагичных и легких. Они возникли — и когда! в самом начале шестидесятых — именно на том пути, где ждали новую русскую прозу, быть может, лучшие из ее открытий: романы Саши Соколова, ерофеевские «Москва — Петушки». Во времена, когда одна простота заменялась другой, проза Вахтина за внешней нарочитой, «лубочной», фольклорной простотой открывала мир удивительно осмысленный, сложный и объемный. Ни с кем не борющаяся, ничего никому не доказывающая, проза Вахтина возвращала литературе свободу, память, язык — вещи, и тогда и теперь редкие и дорогие.

Даже если бы Вахтин не написал ничего, кроме этой маленькой трилогии, он навсегда остался бы в русской литературе, открыв в ней пути, которыми многие с благодарностью следуют. Есть, например, в Ленинграде самиздатский в недавнем прошлом, а ныне становящийся легальным журнал «Сумерки»: редакция просто написала имя Вахтина на своем, так сказать, литературном знамени и почти в каждом номере посвящает ему несколько материалов. Мы же, перевернув последнюю страницу трилогии, следуем дальше творческой историей писателя и с горечью, так, по крайней мере, кажется мне, замечаем, что все-таки это история оскудения и утрат, а не обретения и расцвета.

Проза Вахтина, оставаясь еще блестящей и уверенной в «Одной счастливой деревне», уже там начинает чуть тускнеть и блекнуть, а в «Дубленке» (напечатанной в свое время в «Метрополе», но особой славы, в отличие от остальных авторов альманаха, писателю не принесшей) превращается уже просто в добротную бытовую прозу шестидесятых—семидесятых. Сама по себе не лишенная остроумия, идея вариации на гоголевскую «Шинель» не спасает ни упростившийся до обычного «интеллигентского письма» язык, ни фельетонизированную советскую действительность. Мы чувствуем, что писатель каким-то роковым образом уклонился от естественной логики своего развития, и, размышляя над этим, невольно обращаемся к его биографии.

Знаем ли мы о нем что-нибудь, что позволило бы объяснить эту эволюцию? Можем ли судить о нем по тем многочисленным примерам, когда люди губили свои, пусть и несоизмеримо меньшие таланты литературной поденщиной и конформизмом? Неужели и Вахтин, ничем не запятнавший своего имени, нигде не уронивший свою честь писателя, не смог пронести в сохранности свой глубокий мир по душным коридорам издательств и писательских домов? Знал ли он сам об этом? А если знал, то нашел ли бы возможность выбрать еще раз и что-то

изменить в своей судьбе? К сожалению, на последний вопрос ответа мы не получим никогда. Остальные же ответы найдутся и помогут, быть может, нам разобраться в нашей недавней истории.

А пока закроем эту книгу с благодарностью и радостью. С радостью, что она все-таки вышла. Что написанные тридцать лет назад повести не поскущели и не потускнели. В одной из них, «Аббакасове», есть смешное и горькое рассуждение о том, что посмертно все мы будем реабилитированы и посмертно всё у нас у всех будет хорошо. У тебя всё посмертно всё хорошо? Всё в порядке посмертно. В данном случае безо всякой горечи, с радостью можно сказать, что посмертно у писателя Бориса Вахтина всё хорошо.

Ленинград

Дмитрий Закс

ЗОНА¹

Это один из первых на советской почве — и, может быть, на чересчур советской, не только географически — опытов составления книги стихов поэтов, погибших или отсидевших свое в ГУЛАГе. Составитель сборника Николай Домовитов (сам себя представивший на страницах сборника, пожалуй, несоразмерно широко), безусловно, одушевлялся благородной целью: издать «произведения поэтов, ставших жертвами чудовищного произвола». Однако совершенно очевидно, что у составителя не было ясных принципов отбора — как имен, так и стихотворений каждого поэта.

В отношении имен (их в сборнике 28), в общем, господствует принцип, выраженный в предисловии составителя: «С особой жестокостью каток сталинских репрессий прошелся по рядам советских писателей». За пределы «сталинских репрессий» составитель выходит только в случае Юлия Даниэля (отчасти — Анны Барковой, которая сидела и при Сталине, и при Хрущеве, а вышла в 65-м, в год ареста Даниэля); за пределы же «советских писателей» — лишь несколько чаще. Между тем, за последние 35 лет (считая от XX съезда) русские поэты, никогда не имевшие отношения ни к каким советским писательским организациям, продолжали не только сидеть, но и погибать — в тюрьмах и лагерях, как Валентин Соколов (Зэка) и Юрий Галансков, безвременной послелагерной смертью, как Илья Габай или Вадим Делоне. Возразят, что это-де не вершины поэзии, но, тем более, трудно считать «вершинами» очень многих авторов сборника (того же Анатолия Жигулина, стихам которого уделена восьмая — ! — часть объема книги).

¹ Стихи. Сост. Н. Домовитов. Пермь, Пермское кн. изд-во, 1990.

Пристрастие к «советской» поэзии приводит на страницы сборника такие классические образцы соцреализма, как бодряческая «Песня о встречном» Бориса Корнилова или «Хорошая девочка Лида» Ярослава Смелякова, выглядящие в таком сборнике неуместно. У Наума Коржавина и то составитель ухитрился найти лишь такое сочинение, в котором поэт пишет хоть о лагерях, но почти с правильной партийной позиции.

В общем, с какой точки зрения ни поглядеть (зэка, поэта, читателя), сборник удовлетворения не приносит.

Н.Г.

ПОПРАВКА

В статье Витторио Страда «ПОСТКОММУНИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ И СССР» (№67) допущена ошибка.

Начало последнего абзаца на стр. 168 следует читать: «В ходе тысячелетия Россия прошла три основные фазы исторического развития: средневековую, послепетровскую и послеоктябрьскую».

НОВОЕ ПЛАТЬЕ ЛИТЕРАТУРЫ

И в новом платье,
да в старом разуме.
(Русская пословица)

Странная вещь, непонятная вещь: прилавки Дома книги завалены «Вестником новой литературы», еле-еле разошелся второй номер, первый — и ныне там.

Невостребованной оказалась та самая словесность, о которой столько лет молчала официальная печать, та самая, на ночь данная, всегда желанная, дорогая именно необычностью, новизной своего языка (за которую в основном и попала в опалу, ибо политики и «антисоветской пропаганды» обычно чуждалась). Только теперь становится окончательно ясно, что новизна эта действительно создавалась еще и из невидимой ткани, из колебаний заряженного запретом воздуха, и едва эти незримые нити были выдернуты — стало новое платье непоправимо ветшать.

А дело в том, что, являясь постмодернистским «отсеком» литературного подполья, «новая литература» оказалась совершенно особенным образом развернута в быт, так что условия ее существования незаметно срослись с ней, сделались ее неотделимой частью. Постепенно было создано нечто вроде «хронотопа» «новой литературы»: ее время — безвременье застоя, ее пространство — душный кухонный уют, ее форма — замусоленные листочки самиздата (вариант — сверкающие белизной страницы эмигрантских изданий). Удивительно ли, что выброшенные из привычной среды обитания на прилавки центральных магазинов, сброшюрованные в книги с 50-тысячным тиражом, «оголенные» тексты начали задыхаться?

Спертым воздухом свободы
как дышать, когда еще вчера
было так просторно, пусто и знакомо?

(Виктор Кривулин — «Вестник новой лит-ры», №1)

И еще одну существенную поправку внесла эпоха гласности в судьбу андерграунда: очутившись на поверхности, он стремительно стал приобретать черты законченного, свершившегося литературного явления. Перед нами замкнутая система, просто-предлагающая принять (или не принять) себя целиком; без недоумений, возражений и прений — единогласно. Смысловая структура «Вестников» особенно усиливает это впечатление: отказ от диалога с читателем проявляется здесь в том, что слово художника поступает к нам как бы не из первых рук, несвежим, разделанным и откомментированным.

После «ораторов» на сцену выходят Александр Степанов, Ивор Северин (№1), Дмитрий Пригов, Михаил Рекшин, Ольга Сedaкова (№2) и на хорошем профессиональном уровне объясняют только что услышанное, излагают историю, указывают перспективы «новой литературы». Помимо авторов публицистических материалов, Ивана Кавелина (№1), Владимира Голлербаха (№2) и Алексея Черкассова (№1, №2), размышляющих о судьбах России, совсем избежать разговора о текстах «Вестника» удалось только Владиславу Инову, раскрывающему причины создания мифа о Высоцком и Вениамину Иофе, которому принадлежит рецензия на книгу Максимилиана Волошина о Сурикове, а также полная тонких и остроумных наблюдений статья, посвященная литературной флоре.

При этом описание сливается с самоописанием, портрет — с автопортретом. Так, творчество Виктора Кривулина часто оборачивается подлинным литературоведением в стихах и прозе.

...На кухне вымыты тарелки.

Никто не помнит ничего.

Но чем же гости виноваты,
что их душевный разговор
из раковины, из цитаты
не выплеснется на простор
речной волны...

(«Конец», №1)

Что это, как не емкая характеристика постмодернизма (а значит, и авторов «Вестника»)? Ответив, «платье», предложенное постмодернистами литературе, все же не рассыпалось в прах именно оттого, что сшито было не из одной невидимой, но и из вполне осязаемой словесной ткани — свойства ее обозначены В.Кривулиным предельно четко. Эмоциональная атмосфера стихотворения задана уже заглавием — ощущение Конца, все кончилось — кончился старый мир, кончилась старая литература. «Душевный разговор» гостей не может выплеснуться «из цитаты», цитирует Пастернака сам В.Кривулин, постоянно прибегают к цитатному и другие авторы «Вестника».

Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
Когда не в шутку занемог,
Москва, спаленная пожаром,
И лучше выдумать не мог, —

это стихи вымышленного поэта Инторенцо, героя романа Ф.Эрскина «Рос и я». Подобный прием использует и Всеволод Некрасов, при этом остроумно оживляя механическое сочетание классических цитат неожиданным введением еще одного (наряду с пушкинским) лирического героя.

Я помню чудное мгновенье
Невы державное теченье
Люблю тебя Петра творенье

Кто написал стихотворенье
Я написал стихотворенье

Понятно, что подобное цитирование, лишаящее цитату всякой контекстной информации и придающее ей статус обычной избитой фразы, означает не продолжение традиции, а разрыв с ней. Цитата в «Вестнике», как правило, — лишний повод подчеркнуть, что «никто не помнит ничего», что произошел отказ от культурной памяти. Отказ, однако, мнимый.

Иначе «разговор» гостей не замыкался бы в такой степени на «раковине», то есть на «мусорной», «неприличной», в прошлом запретной тематике. Сексуальные размышления туалетчицы Любы у Петра Кожевникова, влюбившийся в памятник гомосексуалист у Евгения Попова (№1), рассказец Виктора Ерофеева (№1), витиеватое описание полового акта Дмитрием Приговым (№1), эротические сцены в романе Ф.Эрскина; даже в интеллектуальной прозе Виктора Кривулина кокетливо мелькнет матерное словцо (№2). Подобное единодушие настораживает и зарождает сомнения в том, что перед нами осуществляется «тематически-экзистенциальная свобода» (выражение Александра Степанова). Ведь свободный человек ничего не боится, основа всякого творчества — бесстрашие, а в пристрастии авторов «Вестника» к одной и той же «новой» теме ясно просвечивает страх перед «старой» литературой, опасение случайно совпасть с ней, лихорадочный поиск «незанятых» территорий. Не «никто не помнит ничего», нет, все всё помнят, но «кто старое помянет»...

Выразительной картинкой, иллюстрирующей механизм обновления постмодернистами литературы (к счастью, используемый ими не всегда), мог бы послужить рассказ Е. Попова «Глаз божий» (№1). Его герой, «полоумный» каменотес Николай Климас, обнаруживает «глаз божий», правда, смотрит глаз не сверху, а снизу, из-под дощатого тротуара; приятели Климаса соглашаются пойти посмотреть на него. «К своему ужасу, мы увидели, что глаз действительно наличествовал в сучке деревянного тротуара близ новостройки. Глаз был карий, с поволокой. Глаз моргал. Климас снова закричал, перекрестился, а Киштаханов, склонный к материализму, заглянул под тротуар и изумленно спросил:

— Эй, мужик! Ты как ухитрился под тротуар взлезть?

— Цыц вы! Увидели, так и не мешайте мне, суки! Я девчонкам под юбки смотрю, они многие ходят без трусов, — прошипел глаз». Вот так. Не Бог, а «половой извращенец», не небо, а земля; кто был ничем, тот станет всем. Однако утверждать, что перевертыванье всего с ног на голову — единственный способ, с помощью которого в «Вестнике» достигается эффект новизны, — несправедливо. На существование иных, более тонких средств и приемов нам указывает (а частично и показывает их) опять-таки В.Кривулин.

Исследование «нового» искусства продолжает его роман «Шмон», с блеском воссоздающий атмосферу «душевного разговора», который ведут «пять безымянных собеседников в тупичке коммунального коридора». Общие знакомые и их истории, известные посвященным в заку-

лисную литературную жизнь; Сахаров и Леня Аронзон, топоры и бродский, набоков и веничка, евгений абрамович баратынский и фет — интеллектуально-насыщена, разнообразна и чуть вычурна беседа... Но между тем автор не дает забыть, что ведется-то она не на свету, а в кухонном полумраке — даже у слов головы опущены: в романе нет заглавных букв, все имена собственные, за редчайшим исключением, пишутся со строчной; построен «Шмон» как одно бесконечное предложение; не с начала начатое и на полуслове оборванное, разок только выскокит здесь как бы ненароком поставленная точка.

И конечно, и здесь не удерживается В.Кривулин от косвенного описания собственного метода: один из пяти собеседников ведет пере­сказ «не то романа, не то повести или просто записок местного автора», применившего к пошехонскому нашему культурному бытию прием «остранения» <...>, не то роман, не то мемуары с того света, куда герой попадает после легкой условно-литературной смерти, и Тот-Свет — все тот же зимне-осенний, насквозь облитературенный ленинград, попытка заглянуть в нашу жизнь с той стороны жизни, через замочную скважину смерти...» С проницательностью филолога вновь нащупывает В.Кривулин центральные смысловые узлы «новолитературной» прозы и отчасти поэзии: **ОСТРАНЕНИЕ** и **СМЕРТЬ**. Их соседство неслучайно — демонстрация приема «остранения» выглядит особенно выигрышно на материалах *темы* смерти.

Характерно почти дословное совпадение процитированного отрывка с трактовкой И.Севериным «Ладьи темных странствий» Бориса Кудрякова (№1), понятой критиком как «вариации в слове о жизни после смерти». «Действительно, — отмечает И.Северин, — те вырастающие из жизни слова картины, то, что возникает из потока авторской речи, более всего, пожалуй, напоминает воспоминания рассказчика о жизни, которой он уже не причастен, ибо находится «не по сю, а по ту» сторону существования. <...> И вот рассказчик как бы сидит у полупрозрачной, полуматовой стены, что отделяет действительную жизнь от человека, некогда жившего, а теперь переселившегося в мир иной, и вспоминает о том, что было».

«Новая литература» заранее посмеивается над простодушным читателем, склонным к слишком непосредственным толкованиям, и ускользает от чересчур строгой интерпретации. Тот же И.Северин, например, в своей обстоятельной статье «Новая литература» 70—80-х» недаром так часто заменяет прямой литературоведческий анализ метафорой — то уподобит поэтику Д.Пригова строительству дома из обломков погибшего корабля, то «круговорот рифм» Вс.Некрасова сравнит с «танцем одних ножек, закрытых по щиколотку и выше непроницаемым пологом». «Тот свет» — термин достаточно условный, тоже приближающийся к метафоре и, уж во всяком случае, никак не связанный христианским учением о вечной жизни. В «Вестнике» «тот свет» — скорее, вечная смерть, холод, пустота, ничто. По Игорю Бурихину (№2) и Бог — «может

быть, любовь, а может — и Ничто Из Слов», а в рассказе Юрия Мамлеева «Сельская жизнь» это «ничто», наступающее после смерти, делается вообще физически ощутимо: «Кончил он жизнь свою тяжело и противоестественно. <...> А как совсем уже помирал, в агонии, то вдруг стал мочиться, да так весь в мочу и вышел. Смотрит жена, а на смертном одре пусто, только матрац весь пропитан терпкой, словно каменной мочой. И такой тяжелый, словно Матвей туда ушел» (№2).

Для наблюдателя, идущего путем остранения, более удобной точки отсчета, чем «тот свет», не найти, однако из могильного холода и мрака и мир видится расколотым, остывшим, пустым. И тут не важно уже, какой конкретный объект избирается для наблюдения. У В.Кривулина это — литературная жизнь, у Б.Кудрякова — человеческое сознание, точнее подсознание: «Как червь во флейте задремал у истоков антимира; хотелось продлить сон — жаль расставаться с Пустотой: тонны тооноклокотов: оратория тертаротрат. Свет лопнул — роды глаз. Долго, до последних отжатий слезных желез, вопрошает искатель шей»; у Ф.Эрскина — история России: «Очередная полоса репрессий развернулась после злодейского умерщвления в Угличе приемного сына предыдущего правителя Дмитрия Крупского. Никто не верил официальному сообщению о несчастном случае, слишком очевидна была борьба за престол: несмотря на малолетство, Дмитрий Крупский был любимцем партии, и его фамильный герб и девиз «Бороться, искать, найти и не сдаваться», невзирая на очевидную двусмысленность, был присвоен воронежским отделом ворошиловских стрелков». Сюжетный хаос, сознательно заданный автором, незаметно и уже независимо от автора перетекает в хаос стилистический — роман «Рос и я» написан языком претенциозным, но мало-выразительным, загроможденным канцелярскими оборотами.

Вариацией на тему «История и смерть» является и стихотворная подборка Елены Шварц — «Историческая шкатулка», где на «том свете» оказывается не сам поэт, а его персонажи — княгиня Дашкова, Павел, Екатерина с одним из своих фаворитов, Достоевский... И их удаленность во времени как бы оправдывает внутреннюю удаленность автора от своих героев, которые, однажды умерев, навсегда перестали быть для него живыми, превратившись в экспонаты экзотической коллекции. А экспонаты можно «рассматривать», «вертеть», любоваться и только сопереживать им нельзя.

Из шкатулки их достану —
Из тьмы навозной, из алмазной —
Хотя бы Грозного,
Дьяка, приказных.
Я рассмотрю их, поверчу,
Булавкою пощечку —
Какие куколки,

Марионетки!
Да были вы вправду,
Детки?

Желание стоять к изображаемому миру не лицом, а чуть-чуть боком, глядеть на него не прямо, а искоса выражается и в нарочитых грамматических вольностях, допускаемых Е.Шварц: не «туловище», а «тулово», не «стряхивает», а «стряхает», не «заживет», а «заживется», не «на острове», а «на острову».

Тема смерти существенна и для Е.Попова: уже упоминавшийся нами гомосексуалист кончил тем, что, взбравшись на полюбившийся ему памятник, «полетел вниз с указанной высоты, где внизу, прилетев, еще несколько секунд копошился в луже собственной крови с уходящим сознанием: среди собственных костей, мертвеющего мяса».

Сохраняя относительную независимость от официальных доктрин, «новая литература» тем не менее вполне — по-своему — идеологизирована. Тяга «вестниковцев» к отстранению, выключению своего авторского «я» из текста — не что иное, как следование жесткой идеологической установке, наиболее определенно выраженной в нашумевшей статье Виктора Ерофеева, справившего «поминки по советской литературе» и выразившего надежду на то, что «в России, традиционно богатой талантами, появится новая литература, которая будет не больше, но и не меньше, чем литература» (ЛГ, 1990, №27). Пытаясь поставить себя не против, но вне религии, философии, социологии, «новая литература» сразу же наткнулась на крупное препятствие — «старый» язык. Потому что прежде, чем литература может стать не больше и не меньше, чем литература, язык должен стать не больше и не меньше, чем язык, язык должен освободиться от внутренней сопричастности социологии, философии, религии.

Первым шагом на пути к отрыву языка от породившей его реальности становится попытка нейтрализовать низовой и «высокий» лексический пласт. Игорь Бурихин включает в свои стихи слова из церковнославянского, постоянно сплавляя христианские понятия, символы и аксиомы с физиологией, намереваясь таким образом снизить их, взорвать ореол сакральности. С той же целью Д.Пригов вводит в поэму «Махроть всяя Руси» другой сакральный язык — мат, что, по-видимому, призвано из речевой практики ввести его в литературный обиход и тем самым лишить кричащей экспрессивности.

В стороне от этой борьбы с языком, с установившейся в нем иерархией и законами стоит, как ни странно, Вс.Некрасов, потому что, несмотря на нетрадиционную форму его поэзии, пафос ее состоит в борьбе за традиционный русский язык, обесмысленный, обезличенный за семьдесят лет, искаленный бесконечными морочащими эпитетами и нечленораздельными словообразованиями:

О красивый
Счастливый
Народный
Свободный
Великий
Могучий
в одну кучу

(«Стихи из журнала»,
М, 1989)

Обыгрывает штампы советского языкового мышления и Д. Пригов, в итоге оказываясь ближе все же к Некрасову, нежели Бурихину.

Только двух произведений «Вестника» проблема обновления поэтики и языка, кажется, не коснулась вовсе, и читатель, привыкший к реалистической манере письма, раскрыв отдел «Воспоминания. Публикации», отдохнет душой. Его встретят здесь мемуары Маргариты Волошиной «Зеленая змея. История одной жизни», повествующие о литературных нравах дореволюционных и нескольких послереволюционных российских лет, и «Записки попа» отца Василия. Казалось бы, при чем же тут «новая» литература? И если факт помещения воспоминаний М. Волошиной в «Вестник *новой* литературы», и в самом деле спорен, то «Записки попа» — произведение действительно *новое*. Новизна, как правило, осуществляемая авторами «Вестника» за счет необычности темы и приема, здесь просачивается и на более глубокий уровень — перед нами образец *нового* сознания.

Само оформление публикации «Записок попа» ставит их на границе между жизнью и литературой, между подлинным документом и мистификацией. «Записки» предваряются свидетельством человека, лично знакомого с отцом Василием, написанный им портрет отца Василия точно бы призван убедить читателя в достоверности персонажа — вот, поглядите, какой он живой, настоящий: одарен «огромной физической силой, ростом, голосом (телосложением он напоминал известный тип Гришки Распутина)», умеет пить водку, курить, ездить на такси. Да разве может такой человек быть придуман? Однако на всякий случай, дабы не бросились расторопные читатели его разыскивать, добавляется, что отца Василия «уже нет среди нас». Как мы видим, — классическая литературная схема! Сочинитель сих записей умер, а я, скромный издатель, предоставляю его на благосклонный суд публики...

Плохо верится и в то, что священник может так последовательно избегать разговора о предмете самой христианской веры — о Церкви, о Христе, что священник не помнит слова общеизвестных молитв. То пропустит союз: «Да воскреснет Бог, расточатся врази Его», то добавит лишний, но выпустит словечко и запятую: «Еще молимся о милости, жизни, мире и здравии, спасении, прощении...» вместо «Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, прощении...» То припи-

шет акафисту лишний икос, утверждая, что входит в акатринадцать икосов, тогда как на самом деле — всего двенадцать. Но может быть, в этих местах просто неразборчива была магнитофонная запись, просто плохо расшифровали (по версии издателей отец Василий наговорил свои воспоминания на магнитофон)? Как бы то ни было — ошибки эти вполне вписываются в тональность повествования и в облик повествователя, в целом лишенного черт пастыря и монаха.

Нет смысла выяснять, был ли, не был такой отец Василий — важно, что образ его, увы, жизненно достоверен. Семидесятилетнюю брешь в одночасье не залатать, нынешнее священство выросло в атеистической стране, стаж его в православной жизни очень часто отнюдь не равен возрасту. И этот вопрос, вопрос о переименности и опасности стилизации под «старую» веру, остро поставлен в интервью с Константином Ивановым (№1): «Нет сейчас таких людей, которые сегодня устроены по-старому и могли бы вот так, искренне и глубоко, оставаясь самими собой, не выпендриваясь, не произведя высший пилотаж, без всяких изысков и изощрений, а вот так фундаментально, как раньше, верить, верить, как учит Церковь. Тогда была преемственность, а это и есть жизнь Церкви. Она прервана, вырвана с корнем, а древо Церкви искусственно не насадишь». Утверждение, что «так фундаментально, как раньше», сегодня верить нельзя, таит долю преувеличения — исключения существовали, существуют и, хочется надеяться, будут существовать. Но общего «правила» они, к сожалению, не опровергают — и поэтому становится возможна ситуация, не без самолюбования описанная рассказчиком, когда отец Василий (тогда еще будущий) называет первую священническую награду, набедренник, — «глупой заплатой» и «фигней».

Поэтому (вполне в духе «нового» сознания) Владимир Голлербах в статье «Две параллели» с такой легкостью уподобляет христианство, запрещающее хулу на Духа, сакрализованной идеологии советского общества, и в этом сопоставлении несопоставимого он не одинок — только ленивый не поминает сегодня Евангелие, не цитирует мимоходом Спасителя, не приводит для вящей убедительности какой-нибудь сюжет из Священной истории, и не важно, об экономике, проституции или лаке для волос идет речь. Знание азбуки еще не означает умения читать. Иван Кавелин, например, в статье «Имя несвободы» подробно раскрывает расхожую идею о том, что марксизм оттого и пришелся России впору, что центральные свои положения заимствовал у православия, но красивее сопоставление его христианских и марксистских взглядов построено на полном забвении того, что если марксизм и религия, то религия земли, подменившая религию неба, что если марксизм и отражение христианства, то отражение в кривом дьявольском зеркале.

НАША АНКЕТА

«КАРФАГЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН»

*Беседу с писателем Олегом Волковым ведет
журналист Виталий Амурский*

— Олег Васильевич, публикация на русском языке во Франции¹, а позднее в СССР вашей книги «Погружение во мглу» явилась своего рода сюрпризом. Несмотря на то, что к настоящему времени появилось немало работ, посвященных советским лагерям сталинской эпохи (Запад к ним уже относительно привык, да и в России они постепенно заполняют ранее запретную лакуну), работа ваша по своему масштабу событий, по исполнению заставила вспомнить Шаламова, Солженицына... В самом деле, оставить в общей сложности 27 лет жизни за колючей проволокой, за тюремными решетками, в ссылках, и не оказаться сломленным духом, не утратить высокой культуры — удалось не каждому.

— Я, конечно, никогда не надеялся, что эти воспоминания будут напечатаны при моей жизни и вообще доживу до того времени, когда можно будет говорить всю правду о прошлом. Однако вот Бог привел увидеть. То, что мной написано, — это долг. Я считал необходимым рассказать потомкам не только об ужасах лагерей и тюрем, но — и это очень важно — напомнить, как из провозглашенных принципов добра, светлых порывов возникло нечто совершенно обратное. Писал я «Погружение во мглу» с семьдесят седьмого года, закончил в семьдесят девятом. Писал и торопился, боясь не успеть закончить эту работу. Разные имелись опасения. Вы знаете, прецеденты были... У того же Солженицына

¹ Перевод на французский язык сейчас вышел во Франции под названием «Les Tenebres». Ed. Jean-Claude LATTES, 1991, PARIS.

отбирались рукописи, и кончилось это драматически. Мне нужно было в этом отношении соблюдать осторожность.

— *Не этим ли объясняется ваше отсутствие в диссидентском движении, которое в тот период испытывало очень большие трудности и — понятное дело — нуждалось в поддержке людей с высокой репутацией...*

— Отчасти так. Но вообще я не был подготовлен к какой-то активной деятельности такого рода. Помимо того, мне казалось, что даже за письменным столом в уединении я занимался делом, которое не только мне по плечу, но которое также в будущем окажет большую услугу моей стране. Требовалось восстановить прожитое, сделать это честно. Никакой перспективы «гласности», никаких «перестроек» тогда не предвиделось. Теперь действительно стали открываться такие страшные вещи, о которых десятилетиями у нас старались умолчать. Тогда же, в годы «застоя», работа в таком направлении была связана с риском. Я сказал, что мне было важно донести до потомков собственный опыт пережитого, дать этому обобщение на широком фоне. Меня заботило поведать о многом: о мучениях, которые выпали на долю наших крестьян, — они, думаю, пострадали больше всех; о том, как полностью уничтожалась деревня, где преследовались не только кулаки, но, по сути дела, все настоящие труженики, как уничтожалась наша лучшая интеллигенция, тысячи и тысячи безымянных людей, не участвовавших ни в каких политических акциях.

— *При этом, как мне кажется, вы не только стремились изложить трагедию как один из ее очевидцев, но нередко как историк. То есть словно опасаясь, что ваше собственное «я» даст себя знать в оценке действительности.*

— Вы правы, по возможности я стремился к тому, чтобы дать такую оценку беспристрастно. Наверное, это частично сказалось на характере книги. Мне казалось, что нужно по возможности отодвинуться от того, о чем идет речь, взглянуть на нее как бы со стороны, с высоты. Так, допустим, можно взглянуть на какой-нибудь пейзаж. Беспристрастность вообще очень сложная вещь, когда рассказываешь о том, что

пережил, испытал. Элементы личной ущемленности иногда могут помешать в точной оценке, в объективности.

— *Хотя, как вы заметили, в лагерях и тюрьмах были тысячи и тысячи людей, не виновных ни в чем, людей интеллигентных — сама атмосфера реальной обстановки, в которой они (и вы в том числе) оказались, влияла. Менялись привычки, менялся — не в лучшую сторону — язык и т.п. Но, рисуя этот быт, передавая его, вы все же избежали употребления жаргона. Может быть, следовало все-таки сохранить в какой-то мере этот специфичный привкус ГУЛАГа?*

— Для меня язык, на котором я пишу, говорю, — это язык моего детства. Язык начала века, язык дома, в котором я вырос и воспитывался. Если я не вводил в текст какие-то блатные слова, тюремный жаргон, как это сделал Солженицын, то лишь потому, что это мне было чуждо. Знаете, несмотря на многие годы, которые я провел в заключении (а там, разумеется, можно было послушаться чего угодно!), я так и не научился блатному жаргону.

— *Читая «Погружение во мглу», в самом деле, постоянно ощущаешь, что в том аду, который был вокруг, — вас и таких людей, как вы, спасала в первую очередь культура...*

— Это совершенно справедливо. Нас нередко выручала прошлая, полученная еще до революции, культура. Благодаря ей я не мог уподобиться утратившим человеческий облик людям, творившим насилия. Культура, религия во многих случаях помогали сохранить совесть, не упасть духом.

— *Тем не менее, основы этого ада закладывались людьми отнюдь не бескультурными. Сейчас, правда, в СССР уже начали делаться попытки показать, что подлинный террор, создание лагерной системы начались отнюдь не в сталинскую эпоху, а при Ленине. Хотя официальный тезис построен на том, чтобы свалить все преступления именно на усатого вождя. Ваш взгляд на это?*

— Я пришел к твердому убеждению, что никакой демаркационной линии между тем, что делал и завещал делать Ленин, и тем, что совершил Сталин, провести нельзя. Сталин лишь увеличил масштабы. Подлинное отсутствие правосудия

началось с 1917 года, с самого начала революции, когда была создана ВЧК. Именно при Ленине, в среде его окружения, сложилось убеждение, что самый надежный метод правления — это грубое насилие и устрашение. Для Ленина и той группы большевиков, которые прожили многие годы за границей, в эмиграции, понятие о русском народе, о других народах огромной страны было совершенно абстрактным. Пришедшие вооруженными, со своей фанатической преданностью материалистическому учению, совершенно не проверенному на опыте, они с ходу начали проводить свои идеи в жизнь. Они не понимали и не стремились понять какие-то существующие в людях принципы милосердия, сострадания... Все это сразу же начало изгоняться. Именно при Ленине начался террор, началось разрушение церквей, преследование священнослужителей, интеллигенции, надругательство над нравственными ценностями. Точнее, подлинные нравственные ценности были подменены новым «моральным кодексом». Конечно, Сталин не был родоначальником всего этого. Поэтому, когда сегодня, например, хотят отделить от него Бухарина и многих других представителей ленинской «гвардии», я не могу согласиться с этим. Все они были повязаны одной веревкой, делать отличия нельзя.

— *Можно догадаться, какое волнение вы испытывали в тот осенний день 1990 года, когда открывали в Москве на площади Дзержинского — Лубянской площади вблизи здания КГБ, вблизи памятника «железному Феликсу» плиту, привезенную с Соловков в честь жертв узников ГУЛАГа...*

— Да, при открытии этого памятника мне была предложена честь разрезать символическую ленточку. Там же, обращаясь к присутствующим, я сказал, что это только начало, необходимо сделать следующий шаг. Несовместимо на одной и той же площади оставлять два памятника — палачу и жертвам. Они не могут, не должны быть вместе. Надо делать выбор. Но вот что поразительно, хотя у нас в печати появилась свобода слова, — газеты никак не отметили этого моего выступления. Оно осталось словно незамеченным. Хотя то, что я сказал, было совершенно логично: нельзя сидеть сразу на двух стульях. Думаю, нужно поторопиться, чтобы

убрать повсюду обломки марксистско-ленинского мусора, все то, что еще символизирует идеи зла.

— *Олег Васильевич, давайте вернемся к вашему творчеству. Тут мне хотелось бы вспомнить, что вам принадлежит не только мемуарная книга «Погружение во мглу», но также много других произведений, где делается попытка воссоздать облик прошлой России, ее добрых традиций. В этом отношении, допустим, сборник «Далекое и близкое» может служить примером такого рода. Тени Толстого, Тургенева, Соколова-Микитова, Шаляпина, создателей Московского университета и многих других замечательных людей словно оживают под вашим пером. Каковы внутренние истоки вашего творчества?*

— Если уж говорить о том, что мною написано, следует в первую очередь отметить, что я лишен выдумки. Пишу только о пережитом и запомнившемся. Фабула у меня всегда автобиографична. Если речь идет о людях, то о тех, которых встречал или духовную связь с которыми ощущал; если о приключениях, то о таких, где в основе были реальные происшествия. Это присутствует во всех моих книгах, которых опубликовано десятка полтора.

Первые мои вещи содержат много воспоминаний об усадьбной жизни накануне событий семнадцатого года, о резком вторжении нового в устоявшийся веками строй. Поскольку очень скоро обнаружилось, что правду писать нельзя (я имею в виду тот начальный период своего творчества), вернее — нельзя публиковать, надо было прибегать к эзопову языку. Так свои первые сибирские впечатления я приписал не ссыльному, а добровольно завербовавшемуся на прииски человеку. Если в тех первых своих книгах я старался запечатлеть нравы и порядки прошлого, то впоследствии переключился на современную тему защиты природы. Вернее, наглядевшись вдоволь на хищническое отношение к ее дарам на Севере, — перешел к публицистике. Одна из таких важных для меня книг так и называется: «Чур, заповедано!» Уничтожаемая тайга, уничтожаемый Байкал — все это тревожило меня, и, естественно, я включился в кампанию по защите этих краев, этого озера. Впрочем, иллюзий не было — с самого начала делалось очевидным, что наши хозяйствен-

ники меньше всего склонны думать о благосостоянии природы, действуют по поговорке: «После нас хоть потоп!» Я понимал — плетью обуха не перешибешь. Как-то остыл, понемногу отошел от такой публицистики. Но поскольку речь зашла об истоках моего творчества, то, разумеется, об этом тоже следует знать. Впрочем, не только экология входила в круг моих забот, интересов. Я принимал также участие в работе по охране памятников архитектуры — написал две книги о Москве, закончил труд о родном мне Петербурге... Тема десятилетий политического произвола — особо важная для меня, но мы уже вспомнили об этом, говоря о «Погружении во мглу».

— *Олег Васильевич, скажите, пожалуйста, а чем объясняется то обстоятельство, что вы как бы обошли вниманием Набокова? Это, если хотите, вопрос-дополнение к тому перечню известных людей, которых я частично упомянул выше...*

— О писателе Набокове я действительно, как вы заметили, упоминаю мало, хотя сидел с ним на одной школьной скамье в Тенишевском училище. Тут сказываются некоторые особые обстоятельства. По условиям своей жизни Набоков резко выделялся из общей ученической среды, не сходиллся с товарищами. Он принадлежал к очень состоятельной семье, приверженной западным обычаям, к одноклассникам относился свысока. Не располагал к дружбе. Этот его снобизм и препятствовал сближению. По рассказам встречавшихся с ним (когда он уже был в эмиграции) земляков, он и там не изменил своих качеств, стал писателем подлинно интернациональным. То есть как бы лишенным глубоких корней. Мне кажется, что это ощущается даже в его книге «Другие берега». Так что, не ставя под сомнение его талант вообще, я просто никогда не чувствовал с этим человеком каких-либо особых отношений. Он не притягивал меня к себе.

— *А каково ваше отношение к современным русским авторам, к современной литературе?*

— Непростительно мало и плохо знаю современных писателей. С годами все меньше удается выкроить времени на чтение «для души». В этом, кстати, отчасти повинен и переход

наших издательств на микроскопический шрифт — читать сделалось физически утомительно... Но все же не хочу вовсе уйти от ответа на ваш вопрос. Так, Василия Белова ставил очень высоко в пору деревенских рассказов, то есть в пору его относительно раннего творчества. Его «экскурс» в Париж понравился значительно меньше. Ценю наших писателей-сибиряков, как, разумеется, и авторов, правдиво раскрывающих лагерную тему.

— *При мысли о России, об огромной коммунистической империи, которая вступила в фазу развала, хаоса и смуты, возникает желание спросить: каков процент в писателе и человеке Болкове пессимизма и оптимизма?*

— Тут однозначно не ответишь. Во всяком случае, я не принадлежу к тем, кто считает ликвидацию экономического хаоса и разрешения бытовых проблем возвращением к благополучию. Слов нет — разорение страны и полное крушение программ, объявленных спасительными, — хозяйственная катастрофа. Требуются коренные мероприятия, без отказа от авантюрных программ не обойтись. Однако одного возрождения экономики недостаточно: самое великое зло таится в утрате веры в добро, в нравственное начало жизни, в девальвации понятия совести, в потере христианских начал. Мы одичали и ожесточились, забыли о чести и братолюбии, без которых не может быть здорового, благополучного общества. С 1917 года продолжается насилие и жестокость, мы уже забыли, что значит жить по совести. Только при восстановлении нравственного начала жизни последует и достойное устройство экономических и хозяйственных проблем. Насколько же, при мысли о будущем России я сейчас пессимист и оптимист? Пожалуй, пятьдесят процентов на пятьдесят. Все очень и очень смутно и неясно. Когда-то я надеялся, что доживу до времени, когда дела и вещи известной эпохи будут называться «сталинщиной». Это случилось. Теперь надеюсь дожить до времени, когда станут также говорить о «ленинщине».

— *В вашем кабинете в свое время был маленький шутиливый лозунг-символ, вдохновлявший вас к работе... Но этот текст вы, как я слышал, сменили. Пожалуйста, несколько слов об этом...*

— Действительно, много лет на моем рабочем столе был листок с надписью: «Вставайте, ваша светлость, вас ждут великие дела!» Это известная забавная фраза, которой слуга Сен-Симона будил своего хозяина. Но с того времени, когда в стране началась «перестройка», когда начался глубокий пересмотр нашей отечественной истории, старых прогнивших основ, возникли предпосылки для полного отказа от всех форм насилия, лжи и т.п. — мне подумалось, что настольный свой лозунг я должен обновить. Так, где-то году в восемьдесят пятом я написал и поставил перед собой латинские слова, принадлежавшие Катону Старшему: «*Delenda Carthago*». По-русски это означает: «Карфаген должен быть разрушен». Надеюсь, что именно так и будет в отношении Карфагена коммунистического, и мой вклад в это окажется небесполезным.

Март, 1991 г.

От редакции: Обратив внимание на календарное указание, когда была сделана эта беседа, читатель, очевидно, не удивится, что отдельные высказывания О.В.Волкова — в частности, о памятнике в Москве «железному Феликсу», снесенному 22 августа 1991 г., или «Карфагена коммунистического» — после трагикомического путча приобрели форму прошедшего времени, стали реальностью. Возникает вопрос: стоило ли в таком случае публиковать эту беседу? В самом деле, мы живем в эпоху, когда не только журнальные, но даже газетные публикации нередко устаревают к моменту их появления на свет. Тем не менее, на наш взгляд, в целом размышления, а тем более отдельные воспоминания писателя, прямого участника и свидетеля многих тяжелейших событий истории современной России, не утратили своей актуальности. Потребуется еще немалые усилия, пройдут еще, возможно, годы, чтобы раны прошлого за lànhились, чтобы нынешние российские раны также оказались забытыми. В этом отношении мы рассматриваем данную публикацию как один из многочисленных документов, помогающих лучше понять психологию российских интеллигентов, демократов, чаяния и духовные корни которых тоталитарный режим не смог обрубить до конца. Без сохранения в памяти дня вчерашнего — не может быть решено проблем сегодняшних и завтрашних.

Фотография на первой странице обложки D.Lattes

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

«Я НЕ СТРУСИЛ, Д'АРТАНЬЯН!»

Эта строка из одного стихотворения Льва Друскина, написанного в начале шестидесятых. Она — ключ ко всему, что пронес поэт через восемь книг стихов, через шестьдесят лет жизни в Петербурге... Сорок лет творчества и человеческой несгибаемости этого поэта, который, даже стихи читая, не повышал голоса... Вопреки всему сохранил он романтическую твердость в неизменном отношении к фундаментальным ценностям, ко всему, на что посягали (да и сейчас продолжают посягать) последыши ленинской мафии. Самые тупые, самые опасные из них — ровесники поэта. (Друскин родился в 1921 году.) Среди ровесников его, среди этого поколения воинствующих обскурантов, поэтов почти нет. Есть «сталинские соколы», есть «славные комсомольцы тридцатых», есть «рабочие поэты», «поэты-фронтовики» — есть еще с десятков крикливых, политически-рекламных прозвищ — но поэтов нет! Лучшие из тогдашних юных — погибли, как Ю.Инге, умерли от ран, как С.Гудзенко, были обречены молчать до начала шестидесятых, как Чичибабин или Галич... И вот, как ни ищи, — кроме Друскина, только Левитанского да, может быть, Самойлова отыщешь в толпе тех, кого лермонтовскими словами определить: «жадною толпой стоящие у трона» и так далее... И поныне — все эти Ваншенкины, Луконины, Наровчатовы (не важно, кто из них еще жив, а кто нет — прок и от тех и от этих один)...

Безграмотность этого сталинского поколения была воинствующей и считалась открыто главным достоинством. Поэзия ушла из их «нового мира» как песок сквозь пальцы, и толпы идеологов и критиков стали срочно искать корни этой псевдопоэзии, гордившейся тем, что она возникла на пустом месте (расчищенном чекистами и пролеткультом). Эта «литература» не русская, а безнационально советская — и по содержанию, «по форме» оказалась кентавром, слепленным из перепевов маяковистого горланства-главарства и пушкиноподобных ямбов.

И вот — среди этого поколения возникали, все же — и даже выживали поэты! И только тот, кто вопреки «требованиям эпохи» остался человеком культуры, тот, кто не рядился в спецовку слесаря, а остался самим собой, только тот — не поддавшийся потоку серости — остался человеком Духа, а значит — поэтом. И его, разумеется, критика соцреализма старательно замалчивала.

А он — десятилетиями живя в полуподпольном состоянии, в самые мертвые, самые мертвящие времена оставался собой, не мог превратиться в носорога...

С детства лишенный возможности передвигаться, поэт в кресле на колесах видел больше и точнее, чем иные, объездившие полмира по путевкам СП, ЦК, ВЦС... и прочих аббревиатур.

Если попытаться найти главное слово Друскина, то слово это — **ВЕРНОСТЬ**. Себе. Поэзии. Другьям. Истине...

Он часто не верил очевидному — ибо мерил мерками традиционной, старинной Чести. Ведь это она не дает бесам превратить мир в ад! Что им помешало бы, если прошлое — лишь клочок бумаги? Лишь мемуары, а не живой дух человека? И не важно, бесы ли, узлловские марсиане, но если груз вековых, неизменных ценностей выброшен — возникает обычный земной ад, создаваемый и охраняемый всеми, кто разрушил мир духа «до основания, а затем...»:

Раскаленные сполохи мечутся
Над треножниками марсиан.
Никогда не предам человечества
И тебя никогда не предам...

Каждая мелочь для поэта имеет глубинный смысл, содержит неведомое, без которого мир обнищает. Духовная традиция становится действием, оживая в человеческом поведении в соответствии с такими старинными (говорят, ходульными?) категориями, как противостояние злу и приспособленчеству. В самые страшные годы начинавшие свое творчество молодые поэты Петербурга, те, кто потом, в 56-м, громко о себе заявили, приходили к Льву Савельевичу, черпали у него нравственную стойкость и силу, приходили как к Учителю, хотя этим словом никто его не называл... У Друскина дверь не закрывалась десятилетиями. Не только поэты — актеры, музыканты, философы... И как говорит у Булгакова Коровьев, «и никто, представьте, не донес!».

Восьмая книга стихов Льва Друскина была рассыпана по указанию КГБ. Книгу мемуаров, позднее изданную в Лондоне под названием «Спасенная книга», искали не раз, и в результате этих обысков и преследований поэту пришлось эмигрировать. С 1980 года и до самой смерти он жил в старинном университетском городе Тюбингене...

К нам из Штутгарта звонят
(Белый град стучит по крыше),
Я волнуюсь, я не слышу...
Кто к нам едет? как я рад!
А вчера звонил в Париж,
Я опять друзей увижу...

.....
Лишь Москва и Ленинград,
Два пожараща, два рая,
Слез прощальных не стирая,
Как убитые молчат.

До последних лет жизни этот обрыв связи с почвой и прошлым давил поэта, и лишь в последние два-три года стали и звонить и появляться те, с кем он уже не чаял повидаться.

«Спасенная книга» беспокоила литературную бюрократию СССР не меньше, наверное, чем годовую юную бюрократию труд летописца Пимена... Но вскоре после этой книги вышел том «Избранного», в который вошли все восемь книг Друскина, его поэмы «Реквием» и «Заплачу о неверии своем» и все новые стихи, публиковавшиеся в «Континенте», «Гранях», «Стране и мире», «Стрельце»... В этой книге, названной «У неба на виду», — стихи за сорок лет творчества... В числе сборников, вошедших в этот итоговый том, есть и «Рассыпанная книга». Прочтя ее, понимаешь, каким спокойным мужеством надо было обладать, чтобы такую бескомпромиссную и пронзительную лирику принести в какой-нибудь «Сов.пис.»! Гордостью и верностью дышат эти стихи.

А в одном из самых ранних стихотворений, вспоминая, как его, умирающего, в поезде вывозят из блокады, поэт говорит: «Только очень надо постараться, // Чтобы слез не видели моих». И вот через сорок лет в поэме «Заплачу о неверии своем» он пишет:

Он Бог, он судия,
Я копошусь внизу,
Но даже к Богу я
Как червь не поползу.

В силу этой гордости — нет, не гордыни, именно гордости, когда одному Шипачеву дозволено было свыше публиковать лирикообразные пошлости, предписывавшие правила социалистической любви, когда Симонов шарахался от одного слова «лирика», словно никогда не писал ничего такого, вдруг появился — не в печати, в тетрадках у студенток — поэт Лев Друскин. Появился именно как лирик, чистый лирик. Стихи эти, ходившие по рукам тогда, не включил поэт ни в одну из своих книг, но они, эти стихи, стали началом начал петербургского самиздата. Хотя и название это — самиздат — еще не изобрел тогда Н.Глазков... Итак — в злом, беспознтом 1948 году — стихи:

Колеса грохот рвали на части,
Метался за окнами снег,
Когда я украл твоё светлое счастье,
Далекий, чужой человек.

.....
Мне ветер навеял нелепые бредни,
Кружась над весенней Невой,
Смеется тот, кто смеется последний.
Мой праздник сегодня — а твой?

.....

И счастье мое все бледней, все бесследней,
И, щуря глаза из-под век,
В лицо мне смеется, смеется последним
Далекий чужой человек...

Наверное, наивно для двадцатисемилетнего тогда поэта, но откровенно до боли, и в те ханжеские времена, на фоне монопольной шипачевской комсомольско-лирической пошлятины вдруг услышать простые строки о любви! Это был, как ни странно сегодня такое представить, гром среди неба, по-сталински ясного. «Утро нашей родины» явно было омрачено этой крамоллой. Ведь всерьез звучал лихой официальный лозунг: «Кто изменяет жене, тот изменяет родине» (и наоборот, кажется, тоже)... И хотя стихи эти никогда не публиковались, но привожу я их тут затем, чтобы те, кто не жил в те годы, почувствовали всю «преступность» поэта, посмеявшегося в те беспозтные времена быть собой.

А когда стали выходить книги Друскина, то несмотря на то, что читателей у них всегда хватало, критика старалась замалчивать поэта, несмотря даже на то, что тогдашний босс писателей в Ленинграде А.Прокофьев барски бросил фразу: «Дайте парню жить...» В результате поэту стали «подкидывать переводы», но критика щедрее не стала — уж очень чужим он всегда был официальному духу советской литературы.

Но главное — в пятидесятых годах дом поэта стал действительно Домом Поэта — можно было говорить о стихах «по гамбургскому счету» так, словно СССР нет за стеной... И — говоря по-булгаковски — «Ни один, представьте, не побежал доносить, ни один!».

Стихи Друскина тянули тревожным поиском тайны бытия. И чем наивнее выглядели строки, тем дольше о них думать хотелось. И так, пожалуй, вот уже сорок лет подряд. А начинал Друскин тоже с тревоги о тайне:

...И мучило, и мучит до сих пор:
Что ждет меня за этим поворотом?

Это — сороковые годы, а вот из стихов восьмидесятых годов:

Даже если вправду нет тебя, Владыка,
Упаси от раны, удержи от крика!

Это строки из поэмы «Заплачу о неверии своем». Я думаю, что эта поэма — главное произведение Друскина. Многие его более ранние стихи выглядят как бы эскизами к этой замечательной философской поэме. Суть ее — не названная, не процитированная даже молитва мытаря, которая в Евангелии звучит так: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И все! Это парадоксальное выражение отражает всю парадоксальность человеческой личности, в нем Вера и Сомнение слиты нераздельно. И поэма свидетельствует, что всегда религиозное чувство глубже в исканиях, чем в утверждении, которое безапелляционностью

всегда сродни сухой догме. Бог в поэме — то грозный, непостижимый, всевластный, как Ягве Ветхого завета, то — просто измученный человек, каким предстал в Гефсиманском саду Спаситель... От грома над Содомом и Гоморрой и до моления о чаше...

Рояль дышал и вздрагивал под пылью,
И в этот час один лишь я и знал,
Как плакал Бог от страха и бессилья
И голову на клавиши ронял.

Тайна бытия не только в богоисканиях — она и в том, что Время — все же есть Вечность, и мы пред ней бессильны...

Нет, никогда календарю
Я не скажу «благодарю».
Часы запроу, будильник спрячу,
Куплю билет втридорога,
Уеду к черту на рога
И брошусь в травы и заплачу...

Эти стихи из «Рассыпанной книги», которая так и не увидела света, хотя годы-то были уже семидесятые... Восьмая книга поэта была рассыпана, уничтожена цензурой на стадии набора...

Ведь еще проскакивали и заполняли иные журналы все те же рабские, маяковские «лозунги-рифмы», ведь еще кто-то печатал строки о том, как «Мы» (ох это замятинское «Мы»!) «покоряем пространство и время»... А тихая лирика ломала и ломает все эти луколинско-исаевские ходули.

Гордой безнадежностью звучат строки, развивающие один из фаустовских мотивов:

Верни мне все — и то, что ложно,
И мой порыв, и мой испуг...

.....
Я знаю, что на что меняю —
Отдай мне молодость мою!

Неисчерпаемость тайн, которые должен человек увидеть за свою жизнь, — вот один из главных мотивов поэзии Друскина. «В этом мире даже Пушкин кое-что недоглядел».

Творчество — нечто существующее само по себе, нечто не поддающееся никаким властям и никаким противникам. Его нельзя бросить, нельзя изменить его характер...

Выступают сверчки, с них сбивают очки,
Им ломают пюпитры и скрипки,
Но они поправляют свои поджачки
И опять надевают улыбки.

Это — о верности искусству. Но в поэзии Льва Друскина мотив верности вообще из основных. «А крепость все стреляла и стреляла».

Обреченная крепость. Вот она — гордость и верность («Но даже к Богу я как червь не поползу!») Остается быть всегда собой. Но это для поэта и означает быть. Просто быть. Ибо если ты — уже не ты, ведь т е б я нет, это уже кто-то... «А что т а м ?» Этот гамлетовский мотив свойствен Друскину в степени не меньшей, чем Кушнеру. Верность своей памяти и тому, что вдохновляло в юности:

Опускаю я торжественную руку,
Как на Библию, на детский тот роман:
Я не струсил, я не струсил, д'Артаньян!

Когда шпаги в руках — ничего не страшно. Когда душа остается собой, она позволяет проникать в тайны.

И надо мной, над краем суши
В смешенье вод и облаков
Парят стремительные души
Давно погибших моряков.

Для кого-то это только чайки, но поэт слышит: они спрашивают друг дружку: «Ты — чья душа? Ты — чья душа?» И видеть, слышать это — дано только тому, кто, говоря словами поэта из его мемуаров («Спасенная книга»), «по ночам просыпается, потому что боится забыть приснившуюся фразу»... Вот потому-то поэт и не должен верить очевидности и проникать за ее заслон. Мерить жизнь не внешним, а внутренним взглядом на все, внутренней мерой, честью старинного бытия, без которой легко обесценивается все минутное, все нынешнее... И чувство корней ведет человека вдоль истории в завтра, и корни не обрываются.

А я несу свой крест по Иудее
И ни р чем на свете не жалею,
И пот слепит, и жажда горло ест,
И жгут мне спину оводы и плети,
Но мученики двух тысячелетий
Плечами подпирают этот крест.

Василий Бетаки

Объединившись на основе консенсуса в Комитет «Национальное согласие» («Римское движение»), двадцать пять непохожих по взглядам общественных деятелей, писателей, журналистов, художников из СССР и Русского Зарубежья руководствовались общей озабоченностью за судьбу Отечества. Мы разные, но какой-то второй родины, — погибни, не дай Бог, единственная, — у нас нет и никогда не будет. Сейчас, когда разваливается тоталитарная империя, только все мы, соединив многомиллионные усилия, способны не дать погибнуть под обломками и самой стране. Сейчас, в дни грозящей Отечеству катастрофы, его спасение и возрождение не может остаться лишь поприщем для амбиций тех или иных политиков, — это кровное дело всего нашего народа, и живущего на родной земле, и раскиданного волею судеб по всему белому свету.

В случае окончательного провала перестройки Горбачева станет отчетливо видна бесплодность попытки правительства втиснуть общенациональную задачу в прокрустово ложе партийно-политических программ. Если зайдут в тупик реформы Ельцина, то и это только выявит, что невозможно поднять гигантскую страну, опираясь на слабые силы вновь образовавшихся радикалов и используя лишь способы, достаточные для цивилизованного Запада, не знавшего тотального уничтожения культурных, демократических структур. Одним объявлением свободы и классической реформой сверху не возродить Отечество, за 70 лет разрушенное до самого основания.

Однако, задумываясь о будущем страны, мы уже имеем перед собой и необыкновенные, успешные примеры Объединенной Германии, ориентация Китая в своих реформах на Тайвань доказывает: ни одно партийное знамя не выдержит колоссальной посттоталитарной нагрузки, однако спасение нации всей объединенной нации — по силам; потому-то, в надежде на глубинные сыновьи чувства, задействуя витальные силы народа, можно рассчитывать, что и наша страна выберется когда-нибудь из тяжелой, почти смертельной болезни.

Да, надо отдавать отчет, что у нас нет ни своей ФРГ, ни Тайваня. Однако есть еще и в самой стране здоровые головы, а кроме того, живы и здравствуют миллионы сыновей и дочерей, изгнанные в разные годы тоталитарным государством и, к счастью для Отчизны, не позабывшие ее на чужбине.

Отечеству во имя будущего требуется духовное воссоединение поверх всяческих «измов» и границ — с опорой как на народные силы, сохранившиеся в метрополии, так и на поддержку нашей эмиграции всех поколений.

Комитет «Национальное согласие» («Римское движение»), исходя из этой идеи, рассматривает как органичное целое весь русскоязычный

мир, существующий и на территории нынешнего СССР, и за его пределами.

Основы нашей независимости в восстановлении социокультурного слоя, гарантия, что сложится со временем цивилизованное общество и отстроится (а не «перестроится»!) демократические государства — в укреплении еще слабых молодых демократических структур, драматически возникших и пытающихся устоять на почти голом камне.

Этому и содействует «Римское движение», цивилизаторская деятельность и гуманитарные цели которого собрали таких непохожих людей, как писатель, Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в Люксембурге Ч.Айтматов и поэт, Нобелевский лауреат И.Бродский, главные редакторы крупнейших в СССР журналов и газет Е.Аверин, Г.Бакланов, А.Дементьев, С.Залыгин, В.Крупин, писатель В.Астафьев, поэт Н.Коржавин, академик, председатель Советского фонда культуры Д.Лихачев, правозащитники В.Буковский, Н.Горбаневская, Л.Плющ, главный редактор «Комсомольской правды», самой большой ежедневной газеты мира, В.Фронин, художники Э.Неизвестный и М.Шемякин и др. Президентами «Римского движения» избраны народный писатель Белоруссии Василь Быков и главный редактор журнала «Континент» русский писатель Владимир Максимов.

В настоящее время создается Совет содействия деятельности «Римского движения», куда приглашены крупные политические деятели, а также ученые с мировыми именами — В.Бакатин, Ю.Осипьян, Н.Петраков, С.Шаталин, Г.Явлинский, А.Яковлев и др.

Наш Комитет стремится стать тем прочным мостом, который бы послужил воссоединению нации и ее расцвету. Уникальный опыт Вашей жизни, Ваши советы и проекты, моральная и материальная поддержка, Ваша практичность и энергия — все это, безусловно, поможет нашему Отечеству удержаться и не сползти в бездну.

I. В числе программ «Римского движения» — создание совместных предприятий гуманитарного назначения (производство детского питания, детской одежды, медикаментов); организация сети образцовых ферм, на ее основе со временем обустройство целых экономически свободных аграрных районов; учреждение творческих неправительственных премий, поощряющих молодых талантливых соотечественников как в СССР, так и за рубежом.

При реализации всех этих проектов мы были бы рады найти в Вашем лице заинтересованных партнеров.

II. Комитет готов взять на себя посредничество в приобретении на родине земли, усадеб и домов — уроженцами России, Белоруссии, Украины и их потомками.

Помимо этого мы могли бы ходатайствовать о возвращении родовых поместий владельцам и их потомкам — с мыслью о создании здесь образцов цивилизации, культуры.

Мы предлагаем Вам участвовать в налаживании семейных и дружеских отношений посредством переписки, обмена визитами.

«Римское движение» готовит еще один важный проект — учреждение Культурного Центра «Русский дом» — с собственной гостиницей, рестораном, салоном. Здесь бы Вы могли остановиться отдохнуть, принять гостей, поработать, чувствуя себя не чужим человеком, а хозяином в собственной стране.

Реализация всех этих замыслов зависит во многом и от Вас, соотечественники.

III. «Римское движение» готовит проекты ряда музеев, цель которых — воссоздать подлинную историю страны, обратить нацию к ее духовному началу, традициям; в ряду их — музей меценатов, покровителей российской культуры; музей российского предпринимательства; галерея древних родов России; выставка-музей «Россияне в изгнании» и др.

Наш Комитет, при поддержке самой популярной в СССР телепрограммы «Взгляд», берется за создание телевидеокомпании «Отечество», которая могла бы стать постоянным каналом информации между нами.

Мы рассчитываем на Ваши предложения. Мы ждем самых разнообразных заказов — от создания видеофильмов о Вашей родине до видеописем родственникам и друзьям в России; от видеоконцертных программ по Вашим заявкам до рекламы Вашей продукции или продукции и технологий интересующих Вас и производимых в нашей стране.

В планах Комитета, при формировании достаточного финансового фонда, — создание независимой телерадиокомпании и независимой газеты; Ваши проекты помогут нам поставить эти предприятия на ноги, что обеспечит нашу независимость от партий и от государства, будут способствовать восстановлению исторической памяти, возрождению нашей Отчизны.

Александр Афанасьев,

политический обозреватель «Комсомольской правды», исполнительный директор Комитета «Национальное согласие» («Римское движение»)

Наш адрес: г.Москва, ул.«Правда», д.24, 6-й этаж,

Комитат «Национальное согласие».

Наши телефоны: в Москве 257-24-78,

в Париже 45-00-67-58, в Вашингтоне (202)-362-7855.

Наш факс в Москве: 257-22-62.

Наш счет в Москве: № 1609938, «Согласие»,

в Краснопресненском отделении ЖОБ г.Москвы 1400201144.

КОНТИНЕНТ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

На 1 год (4 номера) — 27 руб. 80 коп.

На 6 мес. (2 номера) — 13 руб. 90 коп.

Цена 1 номера — 6 руб. 95 коп.

Пересылка за счет подписчика

Желаю оформить подписку,
начиная с № _____ по № _____

Имя, отчество, фамилия _____

Адрес _____

Оплату произвожу наложенным платежом

Платеж оформляется в отделении связи
при получении каждого номера.

Заполненный талон просим направлять
по адресу: 111397, Москва, а/я 14.

КОНТИНЕНТ — CONTINENT
Годовая подписка (4 номера)
Abonnement pour 1 an (4 numéros)

Фамилия (Название учреждения) (Nom ou établissement):

.....
.....

Адрес (Adresse):

.....
.....

Оплату произвожу (Je fais le paiement):
приложенным чеком во франках (par chèque en francs)
почтовым переводом (par mandat postal)
банковским переводом (par ordre bancaire)

Стоимость годовой подписки (Prix d'abonnement annuel):
200 francs fr. — 60 DM — 32 \$ USA (air mail — 40 \$)

Заполненный талон просим направлять по адресу
(Veuillez envoyer votre talon rempli à l'adresse):

Association des Amis de la revue «Continent»,
16bis rue Lauriston, 75116 Paris, France

Платеж — по тому же адресу или в банк
(Payement à la même adresse ou à la banque):

Les Amis de la revue «Continent», compte 3.726130.8,
Société Générale, Agence Kléber, 45 av. Kléber,
75116 Paris, France

Для подписчиков в США и Канаде
(For the subscribers in USA and Canada):

Continent—USA, Edward D. Lozansky
3001 Veazey Terrace, N.W., Washington, D.C. 20008,
USA

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходившей в 1890 — 1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи пойдет на закупку одноразовых шприцев и других медикаментов для передачи Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненные золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание осуществится в 1990 — 1994. Стоимость тома \$28. Пересылка в США и Канаду \$0.99 за том, в другие страны \$1.99 за том. Оплата подписки может производиться потомно по мере выхода. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30% скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит \$1600 плюс \$56 (в США и Канаде) или \$113 (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton, MA 02159, USA. FAX (617) 489-6255. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеуказанные благотворительные цели.

УЖЕ ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ТОМОВ

Подписано в печать 15.11.91. Формат 70×100/32.

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.

Печ. л. 12. Усл. печ. л. 17,25.

Тираж 100 000 экз. Зак. 1568.

1-й завод 15 000 экз. Цена 6 руб. 95 коп.

Кино-издательский консорциум «АВЕРС».
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 12а.

Оригинал-макет изготовлен

А/О «Сложные программные системы (СПС)»
г. Москва. Тел.: 462-15-45

Тираж отпечатан и изготовлен Московской
типографией № 4 Министерства печати и массовой
информации РСФСР.

129041, Москва, Б. Переяславская, 46.

